Л. ТРОЦКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

Т. VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Л. ТРОЦКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

СЕРИЯ II

ПЕРЕД ИСТОРИЧЕСКИМ РУБЕЖОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Л. ТРОЦКИЙ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ VIII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1926 * ЛЕНИНГРАД

1-я ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА - ПЯТНИЦКАЯ, 71

Главлит № 57596
Гиз. 15955 Тип 20 000

ОТ АВТОРА

Содержание настоящего тома охарактеризовано в предисловии редактора И. М. Павлова, которому, как и сотрудникам его, выражаю сердечную свою благодарность за проделанную над этой книгой работу

Л. Троцкий.

ОТ РЕДАКЦИИ

Материалы, вошедшие в настоящий том, разделены нами на два больших отдела: «Международное рабочее движение» и «Революция и контр-революция в России».

Первый отдел охватывает собой последние шесть лет существования II Интернационала до мировой войны (1909—1914), период войны и крах II Интернационала и период зарождения III Интернационала.

Второй отдел начинается с эпохи третье-июньской реакции в России и кончается 1925 годом, включая таким образом годы войны и пролетарской революции, борцам которой посвящен последний раздел.

Содержание тома определяется его названием — «Политические силуэты». Это — статьи и очерки преимущественно о *лицах*. Эпоха освещается в них лишь попутно, в той мере, в какой это необходимо для понимания политической и общественной роли характеризуемых деятелей.

Статья о К. Либкнехте и Р. Люксембург представляет собой основательно переработанную автором для этого тома стенограмму его речи на заседании Петроградского Совета 18 января 1919 года.

Статья, посвященная памяти М. С. Глазмана, печатается впервые.

Само собою разумеется, что различие в тоне статей, написанных до и после Октября, обусловлено различием эпох, в которые они писались. При чтении статей, относящихся к периоду до Октября 1917 г., читатель должен, кроме того, иметь в виду цензурные условия, которыми был стеснен автор, писавший для легальных и полулегальных изданий того времени.

Примечания дают лишь фактические сведения о событиях, лицах, политических течениях и т. п., упоминаемых в тексте. Оценка их дана в тексте самим автором.

В работе над томом существенную помощь оказали т.т. В. Зурабов, М. Любимов и И. Румер. Этим товарищам Редакция выражает свою благодарность.

7 мая 1926 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Международное рабочее движение

1. ВТОРОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

ПАВЕЛ ЗИНГЕР

Зингер умер *), Павла Зингера нет больше с нами, могучая фигура в рабочем Интернационале сошла со сцены. Редеют ряды славных ветеранов, стоявших у колыбели международной социал-демократии...

Богатый еврейский купец по происхождению, демократ по взглядам, молодой Зингер скоро повернулся спиною к вырождающейся буржуазной демократии Германии и свои силы, как и свои материальные средства, свое время, как и свои таланты — всю жизнь свою он отдал демократии пролетарской. Уже с конца 60-х годов его симпатии — на стороне социал-демократии. Но он долго держится в тени. Только в начале 80-х годов, в эпоху жестоких полицейских гонений на социалистов, когда многие робкие «попутчики», как и у нас в эпоху контр-революции, порывали с рабочей партией и уходили к своим присным, Зингер, наоборот, окончательно расторг свои связи с буржуазным обществом и активно вступил в ряды его смертельных врагов. Рука об руку с Бебелем и Либкнехтом [1]), он руководит работой тех, которые камень за камнем складывают могущественнейшую крепость пролетариата, сильнейшую в мире политическую партию, — германскую социал-демократию. Он неутомимый организатор партии и ее прессы, член Центрального Комитета, гласный берлинского муниципалитета (городской думы), депутат рейхстага (парламента), председатель социал-демократической парламентской фракции, наконец, бессменный председатель съездов

*) 18 (31) января 1911 г. *Ред.*

германской социал-демократии и международных социалистических конгрессов, — Красный Президент.

Он твердо знал и учил других, что всякое дело нужно делать хорошо. Для него не существовало мелочей, когда дело шло об интересах пролетариата: «мелочь» — только часть великого целого. Во всякую работу свою он вносил ту нравственную серьезность, которая вытекает из сознания важности совершаемого дела. Зингер понимал, как немногие, что для класса, подымающегося с низин жизни на вершины исторического творчества, важна каждая позиция, где бы он мог окопаться, развернуть свое знамя и укрепиться для своего дальнейшего движения — вперед и выше. Как депутат, Зингер является лучшим знатоком механики парламентаризма; как гласный муниципалитета, он лучший знаток городского хозяйства. Наконец, он лучший председатель во всем Интернационале, спокойный, внимательный, беспристрастный, ничего не упускающий. И при всем этом глубоком и тщательном внимании своем к деталям, ко всем колесам и винтикам буржуазного общественного механизма, Зингер никогда не терял из глаз общих задач движения. Наоборот: детали он всегда использовал именно в интересах целого, а целым для него, как для истинного марксиста в политике, было завоевание пролетариатом государственной власти во имя социальной революции. Зингер был и оставался решительным противником оппортунистического реформизма, он был пролетарским революционером до мозга костей...

Благородной тщательности во всех отраслях партийной работы; неутомимости в выполнении партийного долга; искусству революционного использования всех возможностей, открываемых нам буржуазным строем, — этому нам, русским социал-демократам, придется еще долго и прилежно учиться у великого покойника.

Но это еще не весь Зингер. Революционер и партиец, Зингер умел не только бороться за свое мнение, но и подчинять его верховному завету партийного единства. Все знали, что в любом организационном конфликте Зингер, как председатель ЦК, Зингер, как председатель съезда, Зингер, как председатель парламентской фракции, никогда не склонит, под влиянием личной симпатии, весов партийного решения в неправую сторону. Партийное право, общее для всех, честность и справедливость в партийных отношениях Зингер соблюдал неутомимо.

На этом зиждился его несокрушимый нравственный авторитет: честность есть политическая сила, она покоряет. А без нравственного авторитета нет пролетарского вождя: ибо не механической дисциплиной, а свободной нравственной связью связан пролетарский союз... С течением времени Красный Президент стал как бы воплощением права пролетарской демократии, живым символом единства пролетарской армии. И в этой области Зингер для нас, русских, которым еще только предстоит вырабатывать свою партийную мораль, останется прекрасным нравственным образцом.

Павел Зингер умер 67 лет, сотни тысяч берлинских пролетариев проводили его прах в могилу, а дело его духа будет жить в сердцах миллионов.

«Правда» № 18—19,
29 января 1911 г.

АВСТРИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ

У ГРОБА ФРАНЦА ШУМАЙЕРА

Природа дала ему пламенный, никогда не угасавший темперамент, священную способность снова и снова возмущаться, любить, ненавидеть и проклинать. *Происхождение* дало ему кровную, никогда не ослабевавшую связь со страдающей и борющейся массой. *Партия* дала ему понимание условий освобождения пролетариата. Все вместе создало эту прекрасную личность, известную и ценимую, а теперь оплакиваемую далеко за пределами Вены и Австрии.

Рабочий класс нуждается в вождях самого различного склада. Выходцы из буржуазных классов, которые порвали со старыми общественными узами, которые внутренно перестроили себя, которые отождествили смысл своей жизни с движением и ростом рабочего класса, — такие вожди играют большую роль в истории рабочего класса. Сперва великие утописты — Сен-Симон, Фурье, Оуэн [2], — затем основоположники научного социализма — Маркс, Энгельс, Лассаль [3] — вышли из буржуазных классов. Разве можно себе представить нашу немецкую партию — в ее развитии — без Либкнехта, без Зингера? Или без Каутского? Австрийскую социал-демократию — без Виктора

Адлера *)? Французский социализм — без Лафарга, Жореса *) и Геда [4])? Русскую социал-демократию — без Плеханова *).

Через этих блестящих диссидентов имущие классы — помимо своей воли — возвращают пролетариату частицу той научной культуры, которую они накопили вековыми усилиями во тьме погрязавших народных масс. И пролетариат может гордиться, что его историческая миссия, как могущественный магнит, притягивает к нему благородные умы и сильные характеры из имущих классов. Но пока руководство политической борьбой находится в руках *только* этих вождей, рабочие не могут освободиться от чувства, что они все еще находятся под политической опекой. Уверенное самосознание и классовая гордость проникают их в полной мере только тогда, когда они в первый ряд руководящих выдвигают снизу своих собственных людей, выросших вместе с ними и в своей личности воплощающих все политические и духовные завоевания рабочего класса. В таких вождей пролетариат глядится, как в зеркало, в котором он видит лучшие стороны своего классового *я*.

Для венского пролетариата — насколько я могу судить о нем по пятилетним наблюдениям — таким классовым зеркалом был прежде всего Франц Шумайер.

Встречаться с Шумайером на личной почве мне приходилось очень мало. Но я не раз слышал его на народных собраниях, в парламенте и на партийных съездах. А достаточно было несколько раз видеть и слышать Шумайера, чтобы знать его. Ибо он меньше всего походил на замкнутую в себе «загадочную» натуру. Он был человек действия, схватки, призыва, улицы, натиска, — он воплощал собою действие и в действии раскрывался. Про него можно сказать словами греческого философа, что он *все свое носил с собою*. Оттого, слушая его, мы воспринимали не только его мысли в облачении живых слов, всегда метких, всегда своих, — мы видели *всего Шумайера в действии*, в атлетической борьбе за душу его аудитории.

Когда за спиной этой прекрасной, из энергии и дерзновения созданной фигуры представляешь себе другую, темную и жалкую фигуру «христианско-социального» убийцы с браунингом в руке, трагический смысл совершившегося потрясает с ног до головы [5]).

*) О Каутском, В. Адлере, Жоресе, Плеханове см. в этом томе статьи на стр. 44, 7, 16, 20, 56, 62 и 65. *Ред.*

Какие непосредственные мотивы руководили убийцей, этот вопрос мы оставляем в стороне. Но кто такой этот несчастный — не как личность, а как тип, — мы знаем: он тоже пролетарий, но *отщепенец*, классовый *перебежчик*. Он не хотел итти вместе со своим классом по его великому историческому пути. Во враждебных исторических силах — государстве, церкви и капитале,— которых существование зиждется на физическом закабалении и духовном отупении масс, — убийца искал союзников против своего класса, когда тот стремился наложить на него свою коллективную дисциплину. Ветхие предрассудки, которые окружают колыбель пролетариата, инстинкты рабства, жалкий эгоизм соединились в этом отщепенце, — он олицетворял собой все худшее в прошлом трудящихся масс, как Шумайер олицетворял лучшие черты их будущего. И вот это темное рабское прошлое в бешеной судороге восстает против будущего.

Кто знает? Может и в этом отступнике жила внутренняя гноящаяся рана, сознание своей отверженности, — и презрение к себе превращалось в слепую ненависть, в смертельную зависть ко всему тому, что есть в социалистическом движении высокого и прекрасного, — к его презрению ко всем унаследованным суевериям, к его свободе от всех инстинктов рабства, к его нравственной отваге, к его жизнерадостной уверенности в своей победе. И дикая ненависть разрядила браунинг.

Что сделают теперь они, стражи порядка и закона, с убийцей, который тоже считал себя ведь человеком порядка и закона, это нам, в конце концов, все равно. На этом пути мы нравственного удовлетворения не найдем. Нам остается предоставить мертвым хоронить мертвеца.

А Франц Шумайер остается с нами. Мы похороним лишь то, что было в нем смертного. Но дух его живет в наших сердцах— непримиримый дух революционного трибуна.

«Луч» № 32,
8 февраля 1913 г.

ВИКТОР АДЛЕР

Австрия дала рабочему движению двух замечательных и в то же время по складу своего мышления глубоко противоположных деятелей: Виктора Адлера и Карла Каутского. И это не случайность. Не случайность, что эта нескладная страна, где не только «ремесло политического пророка», но и работа

политического обобщения крайне затруднена, выдвинула двух социалистов, из которых один несравненен в своей способности учитывать эмпирические, временные и личные комбинации политического развития и делать их исходными моментами *политического действия*, а другой не знает себе равного по способности выделять из эмпирического хаоса истории ее *общие, основные* тенденции. Каутского нередко обвиняют в «догматизме», в упрощении действительности, как Адлера — в чрезмерном преклонении пред ее деталями; одного — в том, что он моментами из-за леса не видит деревьев, другого — в том, что от него деревья подчас заслоняют лес...

Превращая, по немецкому выражению, нужду в добродетель, Адлер сумел из злосчастных австрийских условий извлечь свое политическое преимущество: он развил до совершенства свою богатую политическую интуицию, выработал в себе превосходный глазомер, сделал тактическую импровизацию важнейшим залогом политического успеха... «Кто сказал А, должен сказать Б», — утверждает известная формула последовательности. «Ничего нет ошибочнее этой мысли в политике», — возражает Адлер. Единой и абсолютной тактики, которую можно было бы теоретически предопределить, не существует. Политика не наука, а искусство. Она оставляет свободу выбора между несколькими возможностями, она требует свободного исследования путей, находчивости, гибкости, творчества.

Чтобы в этой Австрии, где политика так долго вращалась в заколдованном кругу повторяющихся национальных конфликтов, научиться заглядывать далеко вперед, нужно было почти физическим усилием мысли устранять с поля своего зрения все частное, второстепенное, случайное, повторяющееся, все, что составляет пищу для политического *сегодня*, нужно было держать в постоянном напряжении способность абстракции. По этому пути пошло развитие Каутского. И это опять-таки не случайность, что Адлер всеми корнями своими сросся с Австрией, которую он не устает проклинать, а полу-чех — полунемец Каутский оказался вынужден порвать со своей родиной и перекочевать в Германию, с ее могучим автоматизмом социального развития.

Адлер активно выступил на путь партийной политики в первой половине 80-х годов, когда рабочее движение, сдавленное тисками исключительных законов, раздиралось борьбою двух

фракций: «радикалов» и «умеренных». Эта борьба отражала трудности приспособления социально-непримиримого класса к политически-правовым нормам лже-конституционного государства. Одна фракция — «радикалов» — совершенно отвергала «игру в парламентаризм», борьбу за реформы, использование «легальных» методов сплочения и действия. Превращая классовую непримиримость пролетариата в голую анархическую фразу о грядущем «великом дне», радикалы в своей «подготовительной» работе сбивались на практику фабричного террора и экспроприаций. Другая группа отражала потребность в приспособлении слабого еще передового слоя рабочих к условиям тогдашнего австрийского права или бесправия. Это были легалисты и реформисты во что бы то ни стало. Их основной чертой был оппортунизм слабости. Они стремились прислониться ко всякой «благожелательной» силе: к национальной демократии, как и к «социально-реформаторскому» министерству. Порвав с немецкой демократией, в рядах которой он впервые вступил на политический путь, Адлер поставил в 1886 г. легальную газету «Gleichheit» («Равенство»), первую социал-демократическую газету на почве Австрии. Несмотря на господство исключительных законов, газета сразу взяла боевой тон. «Радикальные» рабочие отнеслись к ней на первых порах недоверчиво: она была легальна, на ней лежала печать дьявола. Чуя в Адлере большого политического мастера и опаснейшего врага, правительство попустительствовало газете, желая таким путем окончательно скомпрометировать ее и ее редактора в глазах рабочих. Адлер взял еще более решительный тон. Правительство с хитрой миной терпело. С той находчивостью, которая всегда позволяла Адлеру оценивать все стороны положения и извлекать из него все, что оно может дать, он предпринял поразительное в своем роде единоборство с полицией: от номера к номеру он брал в своей газете все более решительный тон, сознательно испытывая размеры терпения венских Макиавелли и размеры их глупости. Между тем, лед недоверия рабочих был сломлен. Инстинкт подсказал им, что в этой легально-газетной оболочке скрывается частица их собственной души. Фанатическая вражда радикалов и умеренных была разрежена, крайности обоих течений преодолены, почва для объединения подготовлена. На рождестве 1888 г. собрался партийный съезд в Гайнфельде, принявший выработанную Адлером программу и окончательно примиривший оба

крыла. Доисторический период австрийского рабочего движения закончился, началась история. В 1889 г. правительство, наконец, спохватывается и закрывает «Gleichheit». Но уже поздно, — рабочая газета успела стать необходимостью. Адлер основывает «Arbeiter-Zeitung», существующую до сего дня. Эти две газеты, отметим мимоходом, поглотили полностью очень значительное личное состояние Адлера.

С конца 80-х годов Адлер — признанный и неоспоримый вождь австрийской социал-демократии. Вождь — слово двусмысленное. Вожди не только «ведут» за собой массы, но и сами идут за ними. «С давних пор, — сказал Адлер на одном из съездов, — я сосредоточивал свое внимание не только на мыслях, но и на настроениях массы». Итти за массами так же трудно, как и вести их. В конце концов, это одно и то же. Нужно не только обладать даром подслушивать массы, но и уметь их смутные запросы переводить на язык политического сознания и отчетливых требований. Глубокая и всесторонняя связь с массой — главная сила Адлера, и этой нравственной связью он больше всего дорожил на всем своем политическом пути. «Я согласен скорее, — говорит он, — ошибаться *вместе* с рабочими, чем быть правым — *против* них».

Вождь современной европейской рабочей партии является средоточием могущественного организационного аппарата. Как всякий механизм, этот последний сам по себе инертен: не творит энергии, а лишь дает ей целесообразное применение. И в то же время ставит ей нередко препятствия. Во всех больших исторических действиях активность массы должна будет прежде всего преодолеть мертвую инерцию социал-демократической организации. Так, живая сила пара должна преодолеть косность самой машины, прежде чем придет в движение маховое колесо.

Аппарат связывает вождей с массой и в то же время отделяет их от нее. Он преломляет ее настроение, сдерживает ее порывы и в то же время расщепляет руководящие идеи вождей. В его составе, рядом с живыми воплощениями энергии и идеализма молодого класса, немалое место занимают элементы, которые, с одной стороны, сами слишком далеко отстоят от массы, чтобы непосредственно ощущать биение ее пульса, а с другой, недостаточно богаты историческим захватом мысли, чтоб обозревать движение в его целом. В его составе, рядом с прекрас-

ными самородками, немало бюрократов, не только в техническом, но и в интеллектуальном смысле, немало ограниченных резонеров и комнатных умников, склонных свои маленькие идеи противопоставлять «предрассудкам» исторического развития.

По искусству преодолевать центробежные тенденции и держать в живой связи разные мнения, симпатии, навыки, темпераменты Адлер не знает себе равного. Он действует не только давлением массы, но и силой личного превосходства, средствами внутренней дипломатии, психологического уловления человеков. Он пускает в ход не одну только мягкость, но и жесткость; не только увещевает и покоряет обаянием, но и убивает иронией. Молодые австрийские политики могли бы об этом многое порассказать, особенно из тех, которые вступают в партию с твердым убеждением, что приблизительное знакомство с римским правом дает человеку неотъемлемое право руководить судьбами рабочего класса.

Адлер не только свободен от всякого фанатизма формы, от фетишизма слов, но он, — что гораздо хуже, — крайне неуважительно относится ко всяким принципиальным постановлениям и резолюциям. Он считает, что одну и ту же мысль можно выразить разно, и он держится того мнения, что можно поступиться четвертью собственной мысли ради того, чтобы объединить партию на остальных трех четвертях. Если это не проходит, он примиряется и на двух третях и даже на одной. «Если я войду в партийную историю, как баснословный оптимист, как человек, которому в высшей степени безразлично (dem es Wurst ist), выразился ли он так или этак, то это обстоятельство меня нимало не стесняет». Он весьма умеет итти на компромисс и умеет заставить своих партийных противников пойти ему навстречу. Не только на австрийских съездах, но и на международных конгрессах он играет поэтому большую роль. Его не раз упрекали в том, что свое мнение он вырабатывает лишь после того, как выслушает всех ораторов. И в этом есть своя доля правды. Адлер при всех условиях неутомимо ищет примирительных формул, нимало не заботясь о том, «выразился ли он так или иначе».

Адлер — не теоретик ни по качеству своей психологии, ни по роду своих занятий. Он — политик с головы до ног. Он сам не раз с гордостью называл себя агитатором. Но чем больше росла партия, чем сложнее становились ее задачи, тем больше

времени и сил отнимала работа верховного руководства. Сюда входит многое: и произнесение последнего слова по очередным вопросам тактики, и направление парламентской работы фракции, и сложные административно-финансовые предприятия (рабочие дома, типографии и пр.), и, наконец, вся та закулисная работа переговоров, соглашений, увещаний, перемещений, без которой не живет никакая человеческая организация, особенно австрийская. Адлер естественно и незаметно отодвинулся от журналистики, — а он превосходный по тонкой выразительности и меткости политический публицист! — и все больше и больше вынужден был ограничивать свою непосредственную агитацию в массах... Параллельно с этим шло его полное оппортунистическое перерождение.

Стремление схватить за горло каждый исторический момент, исчерпать до дна все возможности каждой политической ситуации сближают Адлера с Жоресом. Но за этим сходством какая огромная разница! «Мы, немцы, — говорил Адлер в одной из комиссий штуттгартского конгресса, — не имеем склонности к декоративной политике, к которой у вас, французов, великая слабость... Да, да, Вальян *),—ответил он на возглас с места,— я знаю, что вы — француз с немецкой душой, но и вы вынуждены говорить на языке вашей родины». Отвращение к декоративности составляет очень важную черту в психологическом облике Адлера. Его ум чрезвычайно конкретен и безжалостно проницателен. Сильные аналитические умы — в противоположность синтетическим — обычно склонны бывают к скептицизму, от которого они защищаются — если обладают ею — иронией. А Виктор Адлер обладает этим даром в высшей мере.

«Ремесло пророка — неблагодарное ремесло, а в Австрии особенно». Это постоянный припев адлеровских речей. На том же штуттгартском конгрессе (1907 г.) [6] некий представитель австралийских профессиональных союзов, оказавшийся мистиком (с англо-саксами это бывает!), в заключение своей речи любезно сообщил аудитории, что ему было недавно видение насчет безошибочного пришествия социальной революции в 1910 году. При передаче этой речи на два других языка переводчик француз великодушно замял прорицание, а честный немец откровенно заявил, что под конец речи была великая чепуха. Этот эпизод

---

*) О Вальяне см. в этом томе статью «Отходит эпоха» на стр. 49. *Ред.*

вызвал много смеху. «Как угодно, — резюмировал Адлер свое впечатление в кулуарах, — мне лично политические предсказания на основе апокалипсиса приятнее, чем пророчества на основе материалистического понимания истории»... Это была, разумеется, шутка. Однако же, не только шутка, а и нечто большее: все тот же скептицизм по части возможности политического прогноза в этой стране, где все карты так хаотически перемешаны игрою исторического процесса и бестолковостью правящих.

Врач-психиатр по первоначальной своей специальности и притом хороший психиатр, Адлер не раз говаривал в своем выразительном стиле: «Может быть, именно то обстоятельство, что я своевременно научился обращаться с обитателями психиатрических больниц, подготовило меня к общению с австрийскими политическими деятелями». И теперь еще, когда политическое положение в «этой» Австрии начинает ему казаться безнадежным, Адлер снимает, по его словам, с полки какое-нибудь психиатрическое исследование и, освежив на нем свое знакомство с душевным миром сумасшедших, облегченно откладывает книгу в сторону: «Нет, еще не все потеряно»...

Оратор Адлер совсем особенный. Кто ждет от оратора живописных образов, могучего голоса, разнообразия жестов, бурного пафоса, тот пусть слушает Жореса. Кто требует от оратора изысканной законченности стиля и такой же законченности жеста, пусть слушает Вандервельде [7]. Адлер не даст ни того, ни другого. У него хороший, внутренний голос, но не сильный, и притом голосом своим Адлер не владеет: неэкономно расточает его и под конец речи хрипит и кашляет. Жесты его не богаты, хотя и очень выразительны. Нужно еще прибавить, что Адлер довольно сильно заикается, особенно в начале речи. Но в то же время это один из самых замечательных ораторов Европы. В его речах, как во всей его личности и деятельности, внешне-декоративный элемент сведен к минимуму. Шаблон или трафарет, хотя бы и самый изысканный, ему совершенно чужд. Каждая его речь индивидуальна. Он не *по поводу* данного случая развивает готовые общие положения, а разворачивает *внутреннюю логику* каждого случая. Он любит личную характеристику и характеристику своеобразия момента, и когда он говорит, он размышляет. Он не просто заносит лицо или явление в известную политическую категорию, он стоит перед своим объектом,

как аналитик-естествоиспытатель (нередко, как психиатр), медленно поворачивает объект вокруг его оси и рассказывает, что он нашел в нем. Если этот объект — живое лицо, политический противник, то у него во время этой операции должно быть ощущение, что его поджаривают со всех сторон на вертеле. Сильнейшее орудие Адлера — его ирония, глубокая, ибо исполненная нравственного содержания, и в то же время общедоступная, житейски-меткая. Как оратор-полемист, Адлер недосягаем. Он не пренебрегает, разумеется, и случайным, второстепенным промахом противника, но главная его задача всегда — вскрыть основную, капитальную глупость в поведении враждебной партии или правительства. Именно *глупость*. Адлер редко дает себе труд гласно разбираться в объективных исторических противоречиях, заложенных в положении партий и политиков. Для этого он сам слишком политик, слишком субъективен, слишком мало чувствует себя историком. Он берет политику, как она есть, как живую работу живых людей, от которых он считает себя вправе требовать разума и мужества, и он с удивительной находчивостью открывает им, что главная пружина их действий — глупость, да еще трусость. И когда он говорит, подбирая для своей мысли наиболее точные, убедительные и пригвождающие слова и сопровождая свою работу игрой лица, которое освещается вспышками иронии, тогда даже и органический дефект его речи кажется необходимостью: короткие паузы, уходящие на то, чтобы совладать с заиканьем, как бы приближают слушателя к творческой работе оратора, — точно материал упорствует, не сразу поддаваясь резцу.

Несравненный собеседник, Адлер в разговоре слушает не только слова и мысли, но и то подспудное, что движет человеком и вызывает его мысли и слова часто для того только, чтобы замаскировать себя. На этой внутренней клавиатуре Адлер играет несравненно. Оттого беседа с ним не только высшее наслаждение, но и постоянная тревога.

Первый раз мне довелось повстречаться с «доктором», — таково его популярное имя, — в 1902 г., в октябре, проездом из одной очень восточной губернии. Денег у меня хватило на дорогу только до Вены. После больших размышлений я отправился в редакцию «Arbeiter-Zeitung». Она помещалась тогда еще на Mariahilferstrasse в наемном доме (два года тому назад

газета перешла в великолепный собственный дом). День был воскресный, все стояло пусто.

— Можно ли видеть Адлера? — спросил я человека, спускавшегося по лестнице.

— Сегодня? Невозможно!

— Но у меня важное дело.

— Значит вам придется отложить его до понедельника.

— Но у меня очень важное дело.

— Если бы вы даже привезли весть о том, что в Петербурге убит русский царь, и это не давало бы вам права нарушать воскресный отдых доктора... У нас идут выборы в ландтаг, Адлер говорил вчера на семи собраниях, до четырех часов ночи он редактировал газету, а теперь, как видите, 9 часов утра.

В конце концов, я узнал все же адрес доктора и отправился к нему на квартиру. Ко мне вышел невысокого роста человек, сутуловатый, почти горбатый, с опухшими веками на усталом лице, которое с необыкновенной выразительностью говорило, что этот человек слишком умен, чтобы быть просто «добрым», но что он все же слишком добр, чтобы не найти смягчающих вашу вину обстоятельств.

— Извините, доктор, что я нарушил ваш воскресный отдых...

— Дальше, дальше..., — сказал он сурово, но на таких грудных нотах, которые не обескураживали, а поощряли.

— Я — русский...

— Ну, этого вам не нужно было еще особо мне сообщать, я уж имел время об этом догадаться...

Конфузясь и сбиваясь в немецком синтаксисе, я изложил в чем дело. При этом я чувствовал себя объектом быстрых, внимательных и уверенных наблюдений.

— Вот как? Так вам сказали в редакции? Не берите этого слишком всерьез. Если в России действительно случится что-либо подобное, вы можете позвонить ко мне и ночью...

Второй раз я увидел Адлера в феврале 1905 года, проездом в Петербург. Эмигрантский поток хлынул тогда обратно, в Россию. Адлер был целиком поглощен русскими делами: доставал для эмигрантов паспорта, деньги...

— Я получил только что, — сообщил он мне, — телеграмму от Аксельрода [8]), что Гапон [9]) приехал за-границу и объявил себя социал-демократом. Знаете, ему бы лучше вовсе не всплывать на поверхность после 9 января. Исчезни он, в истории осталась

бы красивая легенда. А в эмиграции он будет только комической фигурой. Знаете, — прибавил он, зажигая в глазах тот огонек, который смягчал жесткость его иронии, — таких людей лучше иметь историческими мучениками, чем товарищами по партии...

В течение шестилетнего пребывания в Вене мне не раз приходилось наблюдать Адлера вблизи, — как политика и вождя партии, как парламентария и народного оратора, как собеседника. И из всех впечатлений всегда выделялось одно основное — щедрой неистощимости его натуры, которая, непрерывно расходуя себя, в неприкосновенности сохраняет драгоценный основной капитал — человеческой личности «милостью божьей».

«Киевская Мысль» № 191,
13 июля 1913 г.

P. S. Психологическая характеристика В. Адлера не должна отождествляться с оценкой его политики. Одна из наиболее привлекательных фигур во Втором Интернационале, Виктор Адлер был, однако, насквозь проникнут теми реформистскими и националистскими тенденциями, которые погубили партии Второго Интернационала в момент решающего исторического испытания.

Апрель 1919 г.

ФРАНЦУЗСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

ЖОРЕС

Над современной политической Францией возвышаются две фигуры: Клемансо [10]) и Жореса.

Совсем не трудно было бы объяснить, как Клемансо на дне своей чернильницы журналиста нашел средства, которые позволили ему в конце концов овладеть судьбами Франции. Этот «непримиримый» радикал, этот грозный низвергатель министерств оказался на деле последним политическим ресурсом французской буржуазии: господство биржи он «облагораживает» знаменем и фразеологией радикализма. Здесь все ясно до последней степени.

Но Жорес? Что позволяет ему занимать так много места в политической жизни республики? Сила его партии? Конечно: вне своей партии Жорес был бы немыслим; однако же, нельзя отделаться от впечатления — особенно, если бросить взгляд на Германию, — что роль Жореса *переросла* действительные



ЖАН ЖОРЕС

силы его партии. Где же разгадка? В могуществе самой индивидуальности? Но обаяние личности довольно удовлетворительно объясняет события в пределах гостиной или будуара — на политической арене самые «титанические» личности остаются исполнительными органами социальных сил.

В *революционной традиции* кроется разгадка политической роли Жореса.

Что такое традиция? Вопрос, не столь простой, как кажется сразу. Где гнездится она: в материальных учреждениях? в индивидуальном сознании? На первый взгляд кажется: и там и здесь. А на поверку оказывается: где-то глубже — в сфере бессознательного.

В известный период революционные события овладевают Францией, насыщают ее воздух своими идеями, называют ее улицы своими именами и триединый лозунг свой запечатлевают на стенах ее общественных зданий — от Пантеона до каторжной тюрьмы. Но вот события в бешеной игре своих внутренних сил развернули все свое содержание, высоко поднялся и отхлынул последний вал — воцаряется реакция. Со злобной неутомимостью она вытравляет все воспоминания из учреждений, памятников, документов, из журналистики, из обихода речи и — что еще поразительнее — из общественного сознания. Забываются факты, даты, имена. Воцаряются мистика, эротика, цинизм. Где революционные традиции? Исчезли без следа... Но вот что-то незримое случилось, что-то сдвинулось, какой-то неведомый ток прошел через атмосферу Франции, — и ожило забытое, и воскресли мертвецы. И всю свою мощь обнаружили традиции... Где скрывались они? В таинственных хранилищах бессознательного, где-то в последних нервных волокнах, подвергшихся исторической переработке, которой уже не отменит и не устранит никакой декрет. Так из 1793 года выросли: 30-й, 48-й и 71-й [11]).

Невесомые, бесплотные, они, эти традиции, становятся, однако, реальным фактором политики, ибо способны облекаться в плоть. Даже в худшие дни свои упадший духом, растерзанный фракциями и сектами французский пролетариат стоял предостерегающей тенью над официальными отцами отечества. Вот почему непосредственное политическое влияние французских рабочих всегда было выше их организованности и их парламентского представительства. И этой исторической, из поколения в поколение идущей силой силен Жорес.

* * *

Но этот Жорес — носитель наследства — еще не весь Жорес. Другой стороною он стоит перед нами, как парламентарий третьей республики. Парламентарий с головы до ног! Его мир — избирательная сделка, парламентская трибуна, запрос, ораторская дуэль, закулисное соглашение, подчас — двусмысленный компромисс... Компромисс, против которого одинаково готовы протестовать и традиции, и цели — и прошлое, и будущее. Где психологический узел, который воедино связывает эти два лица?..

«Практический человек, — говорит Ренан в статье о Кузене, — необходимо должен быть низменным. Если у него возвышенные цели, то они только спутают его. Поэтому-то великие люди принимают участие в практической жизни лишь своими недостатками или мелкими качествами». В этих словах скептика-созерцателя, духовного эпикурейца, не трудно было бы найти ключ к противоречиям Жореса — еслиб только тут не было злостной клеветы на человека вообще, на Жореса в частности. Вся жизнь есть практика, есть творчество, есть делание. «Возвышенные цели» не могут спутывать практики, ибо они — лишь органы ее, и практика всегда сохраняет над ними свой высший контроль. Сказать, что практический человек — т.-е. *общественный* человек, по преимуществу — необходимо должен быть низменным, значит лишь раскрыть собственный нравственный цинизм, пугающийся своих практических выводов и потому исчерпывающий себя в идеалистических умозрениях.

Всей своей нравственной фигурой Жорес уничтожает ренановскую клевету на человека. Нетерпеливый действенный идеализм руководит им даже в самых рискованных его шагах.

В худшую пору мильеранизма (1902 г.) мне приходилось видеть Жореса рядом с Мильераном [12]) на трибуне — рука об руку — связанных, повидимому, полным единством средств и целей. Но безошибочное чувство говорило, что непроходимая пропасть разделяет их — этого зарвавшегося энтузиаста, бескорыстного и пламенного, и того парламентского карьериста, холодно-расчетливого. Есть что-то непреодолимо-убедительное, какая-то детски-атлетическая искренность в его фигуре, в его голосе, в его жесте...

На трибуне он кажется огромным, а между тем он ниже среднего роста. Коренастый, с туго сидящей на шее головой,

с выразительными, «играющими» скулами, с раздувающимися во время речи ноздрями, весь отдающийся потоку своей страсти — он и по внешности принадлежит к тому же человеческому типу, что Мирабо и Дантон [13]). Как оратор, он несравним и несравненен. В его речи нет той законченной изысканности, иногда раздражающей, которой блещет Вандервельде. В логической неотразимости он не сравнится с Бебелем. Ему чужда злая, ядом напоенная ирония Виктора Адлера. Но темперамента, но страсти, но подъема у него хватит на всех их...

Правда, иной русский черноземный человек и у Жореса открывает лишь искусную техническую выучку и псевдо-классическую декламацию. Но в этой оценке сказывается только бедность нашей отечественной культуры. У французов ораторская техника — общее наследство, которое они берут без усилий и вне которого они немыслимы, как «культурный» человек без платья. Всякий говорящий француз говорит хорошо. Но тем труднее французу быть великим оратором. А таков Жорес. Не его богатая техника, не огромный, поражающий, как чудо, голос его, не свободная щедрость его жестов, а *гениальная наивность его энтузиазма*—вот что роднит Жореса с массой и делает его тем, что он есть...

* * *

Но мы отошли в сторону от нашего вопроса: какой психологический узел связывает в Жоресе наследника прометеевских традиций с парламентским дельцом?

Что такое Жорес: оппортунист? революционер? И то и другое — в зависимости от политического момента — и притом с готовностью к последним выводам в обоих направлениях. Жорес — натура *действия*. Он всегда готов «венчать мысль короной исполнения»... Во время дела Дрейфуса [14]) Жорес сказал себе: «кто не схватит палача за руку, занесенную над жертвой, тот сам становится соучастником палача», — и, не спрашивая себя о политических результатах кампании, он кинулся в поток дрейфусиады. Его учитель, друг, впоследствии его непримиримый антагонист Гед сказал ему: «Жорес, я люблю вас потому, что у вас дело всегда следует за мыслью!».

В этом сила и слабость Жореса.

«Всякое время, — писал Гейне, — верит, что его борьба — самая важная из всех остальных. В этом собственно и состоит вера времени, в этой вере оно живет и умирает»...

У Жореса есть нечто сверх этой религии своего времени: у него есть пафос *момента*. Он не измеряет преходящей политической комбинации большим аршином исторических перспектив. Он весь, целиком — тут, в злобе дня сего. И в службе сему дню он не боится вступать в противоречие со своей большой целью. Свою страсть, энергию, талант он расходует с такой стихийной расточительностью, точно от каждого политического вопроса, стоящего на очереди, зависит исход великой борьбы двух миров.

В этом сила Жореса и в этом роковая слабость его. Его политика лишена пропорций, и часто деревья заслоняют от него лес.

«В делах людских бывает (говорит шекспировский Брут):
И свой прилив: воспользуешься им —
Он к счастью приведет; упустишь время —
Вся жизнь пройдет средь отмелей и бедствий».

По складу, по размаху своей натуры Жорес рожден для эпохи большого прилива. А развернуть свой талант ему довелось в период тягчайшей европейской реакции. Это не вина, а беда его. Но эта беда в свою очередь породила вину. Среди своих дарований Жорес не нашел одного: способности *ждать*. Не пассивно ждать у моря погоды, а в уверенном расчете на грядущий прибой собирать силы и готовить снасти. Он хотел немедленно перечеканить в звонкую монету практического успеха и великие традиции, и великие возможности. Оттого так часто попадал он в безвыходные противоречия «средь отмелей и бедствий» третьей республики...

Только слепец сопричислит Жореса к доктринерам политического компромисса. В эту политику он внес лишь свой талант, свою страсть, свою способность итти до конца, — но катехизиса он из нее не сделал. И при случае Жорес первым натянет на корабле своем большой парус и из песчаных отмелей выплывет в открытое море...

«Киевская Мысль» № 9,
9 января 1909 г.

ЖАН ЖОРЕС

Прошел год со дня смерти самого большого человека третьей республики. События, каких еще не было в истории, сейчас же нахлынули, как бы для того, чтобы смыть кровь Жореса другой кровью, отодвинуть от него внимание, захлестнуть самую память о нем. Но и самым большим событиям это удалось только

отчасти. В политической жизни Франции осталась большая пустота. Новые вожди пролетариата, отвечающие революционному характеру новой эпохи, еще не поднялись. Старые вожди только ярче заставляют вспоминать, что Жореса нет...

Война отодвинула назад не только отдельные фигуры, но и целую эпоху, — ту, в течение которой выросло и воспиталось руководящее ныне во всех областях жизни поколение. Сейчас эта отошедшая эпоха и привлекает нашу мысль упорством своих культурных накоплений, непрерывным ростом техники, науки, рабочих организаций, — и кажется в то же время мелкой и безличной в консерватизме своей политической жизни, в реформистских методах своей классовой борьбы.

После франко-прусской войны и Парижской Коммуны (1870—1871 г.г.) наступил период вооруженного мира и политической реакции. Европа, если не считать России, не знала ни войны, ни революции. Капитал могущественно развивался, перерастая рамки национальных государств, изливаясь на остальные страны, подчиняя себе колонии. Рабочий класс строил свои профессиональные союзы и свои социалистические партии. Однако вся борьба пролетариата в эту эпоху была проникнута духом реформизма, приспособления к существующему строю, к национальной промышленности и национальному государству. После опыта Парижской Коммуны европейский пролетариат ни разу не ставил практически, т.-е. революционно, вопроса о завоевании политической власти. Этот мирный, «органический» характер эпохи воспитал целое поколение пролетарских вождей, пропитанных насквозь недоверием к непосредственной революционной борьбе масс. Когда разразилась война и национальное государство выступило в поход во всеоружии своих сил, оно без труда поставило на колени большинство «социалистических» вождей. Эпоха Второго Интернационала закончилась, таким образом, жестоким крушением официальных социалистических партий. Они еще стоят, правда, как памятники прошлой эпохи, поддерживаемые косностью и... усилиями правительств. Но дух пролетарского социализма отлетел от них, и они обречены на слом. Рабочие массы, воспринявшие в прошлые десятилетия идеи социализма, только теперь, в страшных испытаниях войны, получают революционный закал. Мы вступаем в период небывалых революционных потрясений. Новые организации будут выдвинуты массой из своей среды, и новые вожди станут во главе ее.

Два величайших представителя Второго Интернационала сошли со сцены до наступления эпохи бурь и сотрясений: это Бебель и Жорес. Бебель умер глубоким стариком, сказав все, что мог сказать. Жорес был убит 55-ти лет, в расцвете своей творческой энергии. Пацифист и крайний противник политики русской дипломатии, Жорес до последней минуты боролся против вмешательства Франции в войну. В известных кругах считали, что «освободительная» война может открыть свое шествие не иначе, как перешагнув через труп Жореса. И в июле 1914 г. некий Вилен, ничтожный молодой реакционер, убил Жореса за столиком кафе. Кто направлял Вилена? Одни ли только французские империалисты? И нельзя ли, если внимательно поискать, открыть за спиной Вилена также и руку царской дипломатии? Этот вопрос нередко ставился в социалистических кругах. Когда европейская революция займется ликвидацией войны, она откроет нам попутно и тайну смерти Жореса...

* * *

Жорес родился 3 сентября 1859 г. в Кастре, южной провинции Лангедока, из которой вышли многие большие люди Франции: Гизо, Огюст Конт, Лафайет, Лаперуз, Ривароль и др. Смесь многочисленных рас, — отмечает биограф Жореса Раппопорт *), — наложила счастливый отпечаток на гений этой местности, которая еще в средние века была колыбелью ересей и свободной мысли.

Родительская семья Жореса принадлежала к средней буржуазии и вела постоянную борьбу за существование. Жорес нуждался даже в покровителе для окончания своих университетских занятий. В 1881 году он кончает курс нормальной школы. С 1881 г. до 1883 г. он состоит профессором в лицее для молодых девиц Альби, а затем переходит в тулузский университет и профессорствует там до 1885 г., когда его впервые выбирают депутатом в парламент. Ему было тогда всего лишь 26 лет. С этого времени и до дня смерти жизнь Жореса растворяется в политической борьбе и сливается с жизнью третьей республики.

В парламенте Жорес дебютировал по вопросам народного образования. «La Justice» («Справедливость»), тогдашняя газета радикала Клемансо, назвала первую речь Жореса «прекрасной»

---

*) Charles Rappoport. Jean Jaurès. L'Homme — Le Penseur — Le Socialiste. Paris 1915. Prix 5 francs. (Ш. Раппопорт. Жан Жорес. Человек — мыслитель — социалист).

и пожелала палате часто слышать «слово, столь красноречивое и столь полное содержания». Впоследствии Жоресу не раз приходилось обрушиваться всей силой своей речи на тигра — Клемансо.

С социализмом Жорес в эту первую эпоху своей деятельности был знаком чисто-теоретически и крайне неполно. Но каждое новое выступление все больше сближало его с рабочей партией. Безыдейность и развращенность буржуазных партий непримиримо отталкивали его.

С 1893 года Жорес окончательно примыкает к социалистическому движению и почти сразу занимает одно из первых мест в европейском социализме. В то же время он становится самой выдающейся фигурой в политической жизни Франции.

В 1894 году Жорес выступает в качестве защитника своего мало привлекательного друга Жеро Ришара, привлеченного к суду за оскорбление тогдашнего президента республики в статье «Долой Казимира». В своей судебной речи, которая была целиком подчинена политической цели, Жорес обнаружил по адресу Казимира Перье ту страшную силу действенного духа, которой имя — ненависть. В словах, напоенных беспощадностью, он охарактеризовал самого президента и его ближайших предков — ростовщиков, которые изменяли буржуазии для дворянства, дворянству для буржуазии, одной династии для другой, монархии для республики, всем вместе и каждому в отдельности, не изменяя только самим себе. Председатель суда счел необходимым воскликнуть: «Господин Жорес, вы заходите слишком далеко... вы сравниваете дом Перье с публичным домом». Жорес: «Я не сравниваю, а ставлю его ниже этого». Жеро Ришар был оправдан. Несколько дней спустя Казимир Перье подал в отставку. Перед общественным мнением Жорес сразу вырос на целую голову: все почувствовали грозную силу этого трибуна.

В деле Дрейфуса *) Жорес обнаружил себя во весь рост. У него был вначале, как и во всех вообще критических случаях общественной жизни, период сомнений и слабости, когда на него можно было влиять и справа, и слева. Под влиянием Геда и Вальяна, которые относились к дрейфусиаде, как к безразличной для пролетариата свалке капиталистических клик, Жорес

*) Дрейфус — французский офицер еврейского происхождения, которого военная и клерикальная антисемитская реакция ложно обвинила в государственной измене.

колебался впутаться в «дело». Решительный пример Золя [15]) выбил его из состояния неустойчивого равновесия, заразил и увлек. Раз приведенный в движение, Жорес уже шел до конца. Он любил о себе говорить: «Ago, quod ago» («делаю, что делаю»).

В деле Дрейфуса для Жореса резюмировалась и драматизировалась борьба против клерикализма, против реакции, против парламентского кумовства, против расовой ненависти и милитаристского ослепления, против закулисных интриг в генеральном штабе, против сервильности судей, — против всех низостей, которые может привести в движение могущественная партия реакции, чтобы добиться своей цели.

На анти-дрейфусара Мелина, который недавно снова всплыл, как министр, в «большом» бриановском министерстве, Жорес обрушивался всей тяжестью своего гнева: «Знаете ли вы, от чего мы страдаем все, от чего именно мы гибнем? Я скажу вам это за личной моей ответственностью: мы умираем все с тех пор, как открылось это дело, от полумер, от умолчаний, от экивоков, от лжи, от трусости. Да, от экивоков, лжи и трусости». — «Он уже не говорил, — рассказывает Рейнак, — он гремел с багровым лицом, с руками, протянутыми к министрам, которые протестовали, и к правой, которая выла». Это — Жорес!

В 1899 г. Жоресу удалось провозгласить единство социалистической партии. Но оно оказалось мимолетным. Участие социалиста Мильерана в министерстве, как вывод из политики левого блока, взорвало единство, и в 1900—1901 г. французский социализм снова раскололся на две партии. Жорес стал во главе одной из них — той, которая выдвинула из своей среды Мильерана. По существу своих воззрений Жорес был и оставался реформистом. Но он обладал удивительной способностью приспособления, — в том числе и к революционным тенденциям движения. Это он обнаруживал впоследствии не раз.

Жорес вошел в партию зрелым человеком, со сложившимся идеалистическим миросозерцанием... Это не мешало ему ввести свою могучую шею — Жорес отличался атлетическим сложением — в ярмо организационной дисциплины, — и он не раз имел необходимость и случай доказать, что умеет не только предписывать, но и повиноваться. Вернувшись с международного конгресса в Амстердаме [16]), где была осуждена политика растворения рабочей партии в левом блоке и участие социалистов в министерстве, Жорес открыто обрывает нить политики блока.

Тогдашний министр-президент, боевой антиклерикал Комб, предупредил Жореса, что разрыв коалиции заставит его уйти со сцены. Это не остановило Жореса. Комб вышел в отставку. Единство партии, слившейся из жоресистов и гедистов, было обеспечено. С этого момента жизнь Жореса окончательно сливается с жизнью объединенной партии, во главе которой он стал.

Убийство Жореса не было случайностью. Оно явилось заключительным звеном бешеной кампании ненависти, травли и клеветы, которую вели против него враги всех оттенков. «Можно было бы составить целые библиотеки из атак и клевет, направленных против Жореса». «Temps» («Время»), наиболее влиятельный орган Франции, поставлял ежедневно статью, а иногда и две в день, против политического трибуна. Но атаковать приходилось, главным образом, его идеи и методы его действий: как личность, он оставался почти неуязвим даже во Франции, где личная инсинуация является могущественнейшим орудием политической борьбы. Без намеков на немецкие деньги дело, однако, не обошлось... Жорес умер бедным человеком. 2 августа 1914 года «Temps» вынужден был признать «абсолютную честность» сраженного врага.

Я посетил летом 1915 г. знаменитое отныне кафе Кроассан, в двух шагах от редакции «L'Humanité»,— одно из чисто-парижских кафе: грязный пол в опилках, кожаные диваны, потертые стулья, мраморные столики, низкий потолок, свои специальные вина и блюда, — словом, то, что есть только в Париже. Мне указали диванчик у окна: на этом месте был убит револьверным выстрелом самый гениальный сын современной Франции.

Буржуазная родительская семья, школа, депутатство, буржуазный брак, дочь, которую мать водит к причастию, редакция газеты, руководство парламентской партией — в этих отнюдь не героических внешних рамках протекала жизнь исключительного напряжения, вулканической нравственной страсти.

Жореса не раз называли диктатором французского социализма, а в некоторые моменты справа его даже называли диктатором республики. Несомненно, что он играл во французском социализме ни с чем несравнимую роль. Но в его «диктатуре» не было ничего тиранического. Он господствовал без усилий: человек больших размеров, с могучим интеллектом, гениальным темпераментом, несравненной работоспособностью и голосом, звучащим, как чудо, Жорес силою вещей занимал первое место

на столь большой дистанции от второго и третьего, что не мог испытывать потребности подкреплять свою позицию путем закулисных манипуляций. В этой последней области великим мастером обнаружил себя уже тогда Пьер Ренодель [17]), нынешний «вождь» социал-патриотизма.

Размах натуры отвращал Жореса органически от всякого сектантства. После колебаний в ту и другую сторону он нащупывал тот пункт, который ему казался для данного момента решающим. Между этой практической точкой отправления и между своими идеалистическими построениями он, без насилия над собою, располагал те точки зрения, которые дополняли или ограничивали его собственную, примирял враждебные оттенки, растворял противоречивые аргументы — в далеко небезупречном единстве. Он господствовал поэтому не только на народных собраниях и на парламентской трибуне, — где аудиторию покоряла его неутолимая страсть, — но и на партийных съездах, где противоположности тенденций он растворял в расплывчатых перспективах и гибких формулах. По существу дела он был эклектик, но гениальный.

«Наш долг высок и ясен: всегда пропагандировать идею, всегда возбуждать и организовать энергию, всегда надеяться, всегда бороться до окончательной победы»... В этой динамике весь Жорес. Его творческая энергия бьет ключем во всех направлениях, возбуждает и организует энергию, толкает к борьбе.

Жорес излучал из себя, по меткому выражения Раппопорта [18]), великодушие и доброту. Но в то же время он в высокой мере владел талантом сосредоточенного гнева, — не того, который ослепляет, туманит мозг и доводит до политических судорог, — а того, который напрягает волю и подсказывает самые меткие характеристики, самые выразительные эпитеты, непосредственно бьющие в цель. Мы выше слышали его характеристику Перье. Нужно перечитать его речи и статьи против черных героев дрейфусиады! Вот как Жорес характеризовал одного из них, наименее ответственного: «Г. Брюнетьер, испытав себя в истории литературы на пустых конструктивных системах, ненадежных и хрупких, нашел наконец убежище под тяжеловесными сводами церкви, — теперь он пытается прикрыть это своего рода личное банкротство, провозглашая общее банкротство науки и свободы. Тщетно попытавшись извлечь из своих глубин что-либо похожее на мысль, он славословит авторитет со своего рода великолепным

самоунижением; потеряв в глазах молодых поколений всякий кредит, которым он злоупотреблял в известный момент при помощи своей способности к пустым обобщениям, он хочет умертвить свободную мысль, которая ускользает от него». Горе тому, на кого падала эта тяжелая рука!

Вступив в парламент в 1885 г., Жорес занял место на скамьях умеренной левой. Но переход его к социализму не был катастрофой или скачком. В первоначальной жоресовской «умеренности» были уже огромные источники действенного социального гуманизма, который легко развернулся в социалистическом направлении. С другой стороны, его социализм никогда не принимал резко очерченного классового характера и никогда не порывал с гуманитарными и естественно-историческими предпосылками, глубоко заложенными во французскую политическую мысль эпохой Великой Революции.

В 1889 г. Жорес обращается к депутатам со словами: «Разве же гений французской революции исчерпан? Разве же вы не могли бы найти в идеях революции средство дать ответ на все вопросы, которые поднимаются, на все проблемы, которые ставятся? Разве же революция не сохранила бессмертной добродетели (vertu), которая способна давать ответ на все изменяющиеся трудности, среди которых мы совершаем наш путь?» Здесь идеализм демократа еще совсем не затронут материалистической критикой. В дальнейшем Жорес многое усвоил из марксизма. Но чисто-демократическая подоплека его мышления сохранилась до конца.

Жорес выступил на политическую арену в самую глухую пору третьей республики, у которой тогда за плечами было всего каких-нибудь 15 лет существования. Не имея за собой крепких традиций, она имела перед собой могущественных врагов. Борьба за республику, за ее сохранение, за ее «очищение» была основной идеей Жореса во всей его работе. Он искал для республики более широкой социальной базы, он республику хотел вести к народу, чтобы народ организовать через республику и сделать, в конце концов, республиканское государство инструментом социалистического хозяйства. Социализм был для Жореса-демократа единственно надежным средством упрочения республики и единственно возможным ее завершением. В его сознании не было противоречия между буржуазной политикой и социализмом, — противоречия, отражающего исторический разрыв между пролетариатом и демократической буржуазией. В своем неутомимом

стремлении к идеалистическому синтезу Жорес выступал в первую эпоху как демократ, готовый усыновить социализм, в последнюю эпоху своей деятельности — как социалист, несущий ответственность за всю демократию.

«L'Humanité», «Человечность», — этим не случайным именем Жорес назвал созданную им газету. Социализм не был для него теоретическим выражением классовой борьбы пролетариата. Наоборот, пролетариат оставался в его глазах исторической силой на службе права, свободы и человечности. Над пролетариатом он отводил большое место самостоятельной идее «человечности», которая у ординарных французских декламаторов остается пустым местом, а у Жореса заполнялась неподдельным и действенным идеализмом.

В политике Жорес соединял в себе способность к чрезвычайному идеалистическому отвлечению с сильным интуитивным ощущением действительности. Это сочетание проходит через всю его деятельность. Бесплотные идеи Справедливости и Добра идут у него рука об руку с эмпирической оценкой даже и второстепенных жизненных реальностей. При всем своем нравственном оптимизме Жорес прекрасно понимал обстоятельства и людей и умел пользоваться теми и другими. В нем было много здравого смысла. Его не раз называли хитрым крестьянином. Но его здравый смысл, уже благодаря одному своему масштабу, был чужд вульгарности. А главное — этот здравый смысл состоял на службе *идеи*.

Жорес был идеологом, глашатаем идеи — в том смысле, в каком полузабытый ныне Альфред Фулье говорил об «идеях-двигательницах» истории. Наполеон с презрением артиллериста отозвался об «идеологах» (самое слово принадлежит ему). Между тем сам Наполеон был идеологом нового милитаризма. Идеолог не просто приспособляется к реальности, он отвлекает от нее «идею» и эту идею доводит до последних выводов. В благоприятствующие ему эпохи это дает идеологу такие успехи, каких никогда не может иметь вульгарный практик; но это же подготовляет для него и головокружительные падения, когда объективные условия оборачиваются против него.

Доктринер застывает на теории, дух которой он умерщвляет. Оппортунист-«*практик*» усваивает себе известные навыки политического ремесла и после резкого перелома в обстановке чувствует себя, как ручной ткач, выкинутый за борт механическим

станком. *Идеолог* большого стиля бессилен только в тот момент, когда история идейно разоружает его, но он способен бывает быстро перевооружиться, овладеть идеей новой эпохи и оказаться на высоте.

Жорес был идеологом. От политической обстановки он отвлекал ее идею и на службе этой идеи никогда не останавливался на полпути. Так, в эпоху дела Дрейфуса он довел до последних выводов идею сотрудничества с буржуазной левой и со всей страстью поддерживал Мильерана, вульгарного политического эмпирика, в котором не было и нет ничего от идеологии, от ее мужества и полета. На этом пути Жорес забрался в политический тупик — с добровольной и бескорыстной ослепленностью идеолога, который готов закрыть глаза на факты, чтобы не отказаться от идеи-двигательницы.

С неподдельной идеологической страстью Жорес боролся против опасности европейской войны. В этой борьбе — как и во всякой другой, которую он вел — он применял и такие методы, которые глубоко противоречили классовому характеру его партии и многим его товарищам казались, по меньшей мере, рискованными. Он многое возлагал на себя самого, на свою личную силу, находчивость, импровизацию, и в кулуарах парламента он с преувеличенными надеждами настигал министров и дипломатов и прижимал их к стене тяжестью своей аргументации. Но кулуарные разговоры и воздействия сами по себе вовсе не вытекали из природы Жореса и совершенно не возводились им в систему: он был политическим идеологом, а не доктринером оппортунизма. На службе идее, которая владела им, он с одинаковой страстью способен был применять и самые оппортунистические, и самые революционные средства, и если эта идея отвечала характеру эпохи, он способен был достигнуть таких результатов, как никто. Но он же шел и навстречу катастрофическим поражениям. Как Наполеон, он в своей политике мог знать и Аустерлиц, и Ватерлоо [19]). Мировая война должна была поставить Жореса лицом к лицу с теми вопросами, которые раскололи европейский социализм на два непримиримых лагеря. Какую позицию занял бы он? Несомненно, патриотическую. Но он никогда пассивно не примирился бы с тем унижением французской социалистической партии, которое выпало ей на долю под руководством Геда, Ренoделя, Самба и Тома [20]). И у нас есть полное право предполагать, что в грядущей революции великий

трибун безошибочно определил бы свое место и развернул бы свои силы до конца.

Бессмысленный кусок свинца освободил Жореса от величайшего политического испытания.

Жорес — воплощение личной силы. Духовный облик его вполне отвечал его физическому складу: изящество и грация, как самостоятельные качества, были ему чужды, — зато его речи и действиям была прирождена та высшая красота, которая отличает проявления уверенной в себе творческой силы. Если прозрачную ясность и изысканность формы считать исчерпывающими чертами французского духа, то Жорес может показаться мало характерным для Франции. Но на самом деле он в высокой степени француз. Наряду с Вольтером и Буало, наряду с Анатолем Франсом — в литературе, героями старой Жиронды или нынешними Вивиани и Дешанелем — в политике, Франция знала Раблэ, Бальзака, Золя — в литературе, Мирабо, Дантона и Жореса — в политике. Это — раса людей с могучей физической и духовной мускулатурой, с действенным бесстрашием, с великой силой страсти, с сосредоточенной волей. Это — атлетический тип. Достаточно было услышать зевесовский голос Жореса и увидеть его озаренное внутренними лучами мясистое лицо, властный нос, упорную, не гибкую шею, чтобы сказать себе: Ecce homo! (вот человек!)

Главной силой Жореса, как оратора, являлось то же, что составляло его силу, как политика: напряженная, во-вне устремленная страсть, воля к действию. В ораторском творчестве Жореса нет ничего самодовлеющего, — он не оратор, он больше того: искусство слова для него не цель, а средство к цели. Оттого, будучи самым могучим оратором, — может быть, наиболее могучим из всех, каких рождало человечество, — он стоит *над* ораторским искусством, он всегда выше своей речи, как мастер выше своего орудия...

Золя был художником — он начал с натуралистической школы морального бесстрастия — и вдруг прорвался громом своего письма «J'accuse» («Я обвиняю»). В нем заложена была могучая моральная сила, которая находила свое выражение в его титаническом творчестве, но была по существу шире художества: это была *человеческая* сила, разрушающая и созидающая. Так и с Жоресом. В его ораторском искусстве, в его политике, со всеми ее неизбежными условностями, раскрывалась царствен-

ная личность с настоящей, неподдельной нравственной мускулатурой, с упорной волей к борьбе и победе. Он выходил на трибуну не для того, чтобы освободить себя от образов или дать наиболее совершенное выражение кругу мыслей, а для того, чтобы сплотить разрозненные воли в единстве цели; в его речи нет латинского риторического искусства для искусства, — она всегда целесообразна, утилитарна: оттого именно она представляет собой высшую форму человеческого творчества. Жорес с одинаковой свободой пользуется и доводом разума, и художественным образом, и призывом к человеческим страстям. Он влияет одновременно на мысль, на эстетическое чувство и на волю, но все эти силы его ораторского, его политического, его человеческого гения подчинены главной его силе — воле к действию.

Я слышал Жореса на парижских народных собраниях, на международных конгрессах, в комиссиях конгрессов. И всегда я слушал его как бы в первый раз. Он не накоплял рутины, в основе никогда не повторялся, всегда сам снова находил себя, всегда заново мобилизовал разносторонние силы своего духа. При могучей силе, элементарной, как водопад, в нем было много мягкости, которая светилась как отблеск высшей культуры духа. Он обрушивал скалы, гремел, потрясал, но никогда не оглушал самого себя, всегда стоял на страже, чутко ловил ухом каждый отклик, подхватывал его, парировал возражения, иногда беспощадно, как ураган сметая сопротивление на пути, иногда великодушно и мягко — как наставник, как старший брат. Так тысячепудовый паровой молот может стереть в порошок каменную глыбу и может на десятую часть миллиметра утончить золотую пластинку.

Поль Лафарг, марксист и идейный противник Жореса, называл его человеко-дьяволом. Эту дьявольскую силу, — на самом деле подлинную «божественную» силу — в нем чувствовали все — и друзья, и враги. И враги нередко, как завороженные, выжидательно замирали перед потоком его речи, которая была облеченной в слово волей, точно пред стихийным явлением природы.

Три года тому назад эта фигура — редкий подарок природы человечеству — погибла, не исчерпав себя. Может быть, для эстетической законченности образа такая смерть нужна была Жоресу. Большие люди умеют умирать по-своему. Толстой, зачуяв смерть, взял посох и ушел в изгнание от общества, которое отвергал, и умер на глухой станции, как пилигрим. Лафарг,

в котором эпикуреец дополнялся стоиком, дожил в атмосфере покоя и мысли до 70 лет, сказал себе «довольно» и впрыснул в свои артерии яд. Жорес, как атлет идеи, умер на арене, в борьбе против величайшего бедствия, которое когда-либо обрушивалось на человечество и человечность — l'humanité — в борьбе против войны. И в памяти человечества он останется, как провозвестник, как предтеча того более высокого человеческого типа, который должен же родиться из страданий и падений, надежд и борьбы.

«Киевская Мысль» № 196,
17 июля 1915 г.

2. КРАХ ВТОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ВИКТОР И ФРИДРИХ АДЛЕР

События нагромождались одно на другое. Пришла телеграмма об убийстве Жореса. В газетах уже было так много злостной лжи, что оставалась, — по крайней мере, в течение нескольких часов, — возможность сомнения и надежды. Тем более, что сейчас же последовала телеграмма об убийстве Пуанкаре и о восстании в Париже. Но вскоре исчезла возможность сомневаться в убийстве Жореса, как и надеяться на то, что оно отомщено... 2 августа Германия объявила войну России. Уже до этого дня начался отъезд русской эмиграции из Вены. 3 августа утром я отправился на Wienzeile в новый дом «Arbeiter-Zeitung», чтобы посоветоваться там с социалистами-депутатами, как быть нам, русским.

В секретариате я застал Фридриха Адлера, или «доктора Фрица», как называли его на партийных верхах в отличие от отца, Виктора Адлера, которого называли просто «доктор», без дальнейших пояснений. Довольно высокого роста, худой, слегка сутуловатый, с благородным лбом, на который падают вьющиеся светлые волосы, и с отпечатком постоянной задумчивости на лице, Фриц стоял всегда особняком в среде довольно многочисленной в Вене партийной интеллигенции, столь склонной к остроловию и дешевым анекдотам. Он провел года полтора в Цюрихе, в качестве приват-доцента по кафедре физики и редактора местной партийной газеты «Volksrecht» («Право Народа»). За время войны швейцарский социализм испытал радикальное внутреннее перерождение, интересы его крайне раздвинулись; старые партийные мандарины, считавшие, что суть марксизма выражается пословицей «тише едешь — дальше будешь», сразу отошли на второй план... Но в те довоенные годы, когда Фр. Адлер жил в Цюрихе,

атмосфера швейцарского социализма еще отличалась глубоко-провинциальным характером. Адлер не выдержал, вернулся в Вену, вступил в секретариат партии и в редакцию ее теоретического ежемесячника «Der Kampf» («Борьба»). Кроме того, он взял на себя издание еженедельного агитационного листка «Das Volk» («Народ»), печатавшегося в очень значительном количестве, главным образом, для провинции. В последние недели перед войной Фр. Адлер был занят подготовкой международного конгресса. На его рабочем столе лежали отпечатанные для конгресса юбилейные марки и всякие другие издания: партия успела израсходовать на подготовительные работы свыше 20.000 крон, как плакался казначей.

Было бы преувеличением сказать, что в доме на Wienzeile можно уже было констатировать в те дни определенные принципиальные группировки; нет, этого еще не было. Но зато ясно сказывалось глубокое различие психологического отношения к войне. Одни как бы радовались ей, сквернословили по адресу сербов и русских, не очень отличая правительства от народов: это — органические националисты, чуть-чуть покрытые лаком социалистической культуры, который теперь сползал с них не по дням, а по часам.

Другие — и во главе их стоял Виктор Адлер — относились к войне, как к внешней катастрофе, которую нужно «перетерпеть». Выжидательная пассивность влиятельнейшего вождя партии была, однако, только прикрытием для разнузданной агитации активно-националистического крыла. Тонкий и проницательный ум, обаятельный характер, Виктор Адлер, как личность, выше своей политики, которая вся разменялась за последнюю эпоху на уловление счастливых комбинаций в безнадежной сутолоке австрийских условий, столь располагающих к скептицизму. В свою очередь политика Адлера, крайне индивидуальная по самой своей природе, несравненно выше тех политических сотрудников, которых эта политика объединила вокруг вождя. Его скептицизм стал у них цинизмом; отвращение Адлера к «декоративности» в политике превратилось у них в открытое глумление над основными ценностями социализма. И этот естественный подбор сотрудников представляет собой наиболее яркое выражение и осуждение системы Адлера-отца.

Сын, со своим неподдельным революционным темпераментом, стоял в органической вражде к этой системе. Он направлял

свою критику, свое недоверие, свою ненависть прежде всего на собственное правительство. Во время нашего последнего свидания (3 августа 1914 г.) он первым делом указал мне на только что опубликованный призыв властей к населению: выслеживать и ловить подозрительных иностранцев. С сосредоточенным отвращением говорил он о начинающемся разгуле шовинизма. Его внешняя сдержанность только оттеняла его глубокое нравственное потрясение. Через полчаса в секретариат пришел «доктор». Он предложил мне немедленно отправиться с ним в префектуру, к шефу политической полиции Гейеру, чтобы справиться у него о том, как власти намерены поступить с проживающими в Вене русскими эмигрантами.

В автомобиле, по пути в префектуру, я обратил внимание Адлера на то, что война вызвала в Вене наружу какое-то праздничное настроение. — «Это радуются те, которым не нужно итти на войну, — ответил он, — и радость их теперь кажется патриотической. Кроме того, на улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие: это их время. А серьезные люди сидят дома в тревоге... Убийство Жореса — только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия»...

Психиатр по своей старой медицинской специальности, Адлер часто подходит к политическим событиям («особенно австрийским», — говорит он иронически) с психопатологической точки зрения.

Как далек он был в тот момент от мысли, что его собственный сын совершит политическое убийство *)... Я упоминаю здесь об этом потому, что после покушения Фр. Адлера австро-желтая пресса и ряд социал-патриотических изданий попытались объявить самоотверженного революционера неуравновешенным и даже ненормальным — под углом зрения своей собственной низкопробной «нормы». Но судебно-габсбургская медицина вынуждена была капитулировать перед мужественной выдержкой террориста. С каким холодным презрением должен был он отнестись к отзывам евнухов социал-патриотизма, если до него в тюрьму доходили их голоса **)...

---

*) См. в этом томе статью «Фриц Адлер» на стр. 39. *Ред.*

**) Личному мужеству Фр. Адлера нехватило физической силы мысли. Освобожденный революцией из тюрьмы, Адлер капитулировал перед партией, которая сперва довела его до отчаяния, а затем предала. Сейчас Адлер

Шеф политической полиции Гейер выразил предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов.

— Тех, кого мы знаем, мы потом освободим, но могут быть осложнения. Кроме того, позже мы не будем выпускать из страны.

— Следовательно, вы рекомендуете уехать?

— Безусловно. И чем скорее, тем лучше.

— Хорошо... Завтра я уеду с семьей в Швейцарию

— Гм... я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня.»

Этот разговор происходил в 3 часа дня, а в 6 часов 10 минут я уже сидел с семьей в вагоне поезда, направлявшегося в Цюрих.

«Новый Мир» № 903,
5 февраля 1917.

ГААЗЕ — ЭБЕРТ — ДАВИД

4 августа 1914 г. декларацию в защиту первого пятимиллиардного кредита огласил Гаазе. В декабрьской сессии рейхстага та же миссия была возложена на Эберта. В нынешней сессии голосование за десятимиллиардный кредит обосновывал от имени социал-демократии Давид. И самые имена и передвижение миссии от одного к другому имеют символический характер. Гаазе приобрел в партии влияние в ту эпоху, когда русская революция укрепила в ней левое крыло. Эберт — рабочий, способный и энергичный партийный бюрократ, выражавший всегда линию официального центра. Давид — южанин, баденский государственный муж, образованный филистер и великий человек на малые дела. Эти три лица тесно связаны с довоенной борьбой вокруг бюджетного вопроса. Давид был вдохновителем южан в их демонстративных голосованиях за великогерцогский бюджет. На дортмундском съезде [21]), где разбирался вопрос, Гаазе, в качестве лидера левого крыла, имевшего свои особые заседания, предъявил Ц. Комитету ультиматум: голосования за бюджет должны быть признаны несовместимыми с принадлежностью к социал-демократии. Официальную точку зрения Ц. Комитета, близкую к позиции левого крыла, выражал на съезде вместо заболевшего Бебеля не кто иной, как Эберт. Но вот — война! Гаазе, считавший недопустимым для социал-демократа голосовать кредиты

лидерствует в $2^1/_2$-ом Интернационале, служа тому делу, против которого он попытался восстать хотя бы ценою своей жизни... (Апрель 1922 г. — *Л. Т.*).

на государственные расходы какого-нибудь баденского захолустья, выступает с обоснованием кредитов на ту государственную «работу», в которой все ужасы и все бесчестье капиталистического строя находят себе наиболее ужасающее и бесчестное выражение. Дальше Гаазе не выдерживает и переходит в ряды колеблющейся, бесхарактерной полу-оппозиции левого центра. Его сменяет Эберт, официозный защитник партийной резолюции, запрещающей кредитовать капиталистическое государство. Но и Эберту, повидимому, не по себе под тяжестью этой миссии. Он отстраняется — и на трибуну рейхстага поднимается маленький, худощавый человечек, с приемами провинциального дипломата — Эдуард Давид. Этот, наконец, на своем месте. Он не просто выполняет поручение, он не просто покорный раб обстоятельств, — нет, он чувствует себя призванным, наконец, к выполнению своей исторической миссии, — это его кульминация, он торжествует свою высшую победу над идеями марксизма и революции, он священнодействует...

Между людьми и идеями устанавливается некоторое равновесие. От имени нынешней германской партии говорит, наконец, тот, кому это больше всего к лицу. Но достаточно снова хоть на одну минуту представить себе, с первоначальной свежестью восприятия, тот факт, что реформист Давид от имени германского пролетариата вручает Гогенцоллерну и Бетману миллиарды и доверие на кровавую международную работу, чтобы измерить ужасающую глубину падения германской социал-демократии.

Да, Эдуард Давид, наконец, на своем месте: он возглавляет политически и морально обезглавленную партию. Но увы! Антагонисты Давида еще не нашли своего места, Либкнехт *) попрежнему одиноким возвышал свой протестующий голос, — ему отвечал хохот, исходивший из глубины патриотических, а может быть, и социал-патриотических потрохов. Три десятка депутатов оппозиции не осмелились нарушить «дисциплину» по отношению к нынешнему великому вождю германского пролетариата, Эдуарду Давиду: втянув голову в плечи, они скрывались из залы рейхстага, где знамя социал-демократии снова покрывалось позором.

Но поистине у нас, революционных интернационалистов, нет оснований опускать головы. *Политическая* победа Давида

*) Либкнехт Карл — см. в этом томе статью «К. Либкнехт — Гуго Гаазе» на стр. 71 и «К. Либкнехт и Р. Люксембург» на стр. 82. *Ред.*

есть наша *идейная* победа, ибо символическое чередование лидеров германской социал-демократии на трибуне рейхстага дает персонально-физическое выражение той мысли, что принципы самостоятельной классовой политики пролетариата несовместимы с принципами социал-национализма. В молчании левого крыла не только бесхарактерность, но и стыд за партию. Логика событий работает, может быть, медленнее, чем мы бы хотели, но она делает свое дело. Голос Либкнехта сейчас покрывается торжествующим хохотом «национального единства»; но в этом хохоте внимательное ухо не могло бы не открыть тревогу за завтрашний день, когда история начнет подводить итоги. Хорошо похохочет, в конце концов, тот, чья очередь будет последней.

«Наше Слово» № 175,
27 августа 1915 г.

ГУСТАВ ЭКШТЕЙН

В Швейцарии умер на 42 году жизни один из наиболее выдающихся австро-немецких марксистов, тов. Г. Экштейн. Все товарищи, которые следили в течение последних лет за «Neue Zeit» и «Kampf'ом», знают это имя и с благодарностью вспомнят о многочисленных статьях, из которых многому научились.

Экштейн обладал исключительно разносторонней эрудицией: с глубокими познаниями в области естественных наук и этнографии он соединял серьезное образование в области истории и политической экономии. Он писал и говорил простым ясным языком пропагандиста, придавая самым сложным мыслям общедоступную форму: в этом смысле он принадлежал к школе Каутского, с которым вообще был связан тесной идейной дружбой за последний наиболее плодотворный период своей жизни.

С начала войны и порожденного ею кризиса в германской социал-демократии Экштейн занял позицию интернационалиста— на левом фланге «Neue Zeit». Мы не знаем, в какие отношения он встал к левому крылу социал-демократии в своих выступлениях на партийных собраниях, где он подвергал критике официальный курс партии и в частности беспощадно разоблачал миф о «демократической» войне против царизма.

Туберкулез легких неутомимо подтачивал хрупкое тело Экштейна. Эта болезнь заставила его в свое время совершить морское путешествие в Китай и Японию, откуда он вывез знакомство и связи с Дальним Востоком. «Семейное право японцев»,

работа, вышедшая отдельной тетрадью при «Neue Zeit», явилась одним из плодов этого путешествия. Но туберкулез, в конце концов, одолел Экштейна, и он умер на-днях в Цюрихе, через несколько дней после вторичной операции.

Сестра Экштейна Тереза Экштейн-Шлезингер, известная австрийская социалистка, занимающая революционно-интернационалистскую позицию, была связана со своим братом узами тесной дружбы... Пусть же для нее послужит утешением, что все мы, знавшие его, по сю, как и по ту сторону траншей, — оплакиваем вместе с нею Густава не только как одну из лучших марксистских сил, но и как одну из самых благородных по характеру фигур в международной семье социализма.

«Наше Слово» № 178
3 августа 1916 г.

ФРИЦ АДЛЕР

Сейчас уже не может быть места никаким сомнениям: это именно Фриц Адлер, секретарь австрийской социал-демократии и редактор теоретического журнала партии «Kampf», сын Виктора Адлера, убил австрийского министра-президента Штюргка. Среди тех неожиданных комбинаций, которыми так богата наша страшная эпоха, это может быть одна из самых неожиданных.

Когда Штюргк был назначен преемником Бинерта на посту австрийского министра-президента, старик Пернерсторфер [22]), председательствовавший на инсбрукском съезде австро-немецкой социал-демократии, провозгласил в своей заключительной речи: «Отныне наступает штюргкско-татарский режим». Но это предсказание не подтвердилось. Штюргк оказался представителем все той же истинно-австрийской бюрократической школы, которая считает, что править — значит заключать мелкие сделки, накоплять затруднения и отсрочивать задачи. Вряд ли он стоял особенно близко к той увенчивавшейся убитым престолонаследником Францем-Фердинандом империалистической клике, которая проповедывала, что выход из внутренней и внешней австро-венгерской мизерии лежит на пути «сильной» политики. Но Штюргк не вступил, разумеется, с этой кликой в борьбу, а приспособился к ней, т.-е. на деле подчинился ей. Министерство Штюргка стало министерством войны. Скороспелый австрийский империализм, который должен был преодолеть все внутрен-

ние социальные и национальные противоречия, на деле только обнажил их. Обыденные средства правящей венской бюрократии стали недостаточны. Министерство Штюргка совершенно упразднило на все время войны конституционный режим, собирало и расходовало миллиарды без всякого контроля, а против центробежных национальных тенденций выдвинуло кандалы и виселицу. В безличном и дюжинном бюрократе Штюргке не было ничего, что делало бы его похожим на диктатора и тирана. Но, автоматически приспособляясь к потребностям габсбургской машины в условиях европейской бойни, зауряд-чиновник Штюргк установил режим диктатуры и белого террора. Так, в самой безличности своего канцелярского деспотизма он поднялся на уровень представителя империалистского государства в «освободительной» войне. В этом смысле он являлся, пожалуй, «достойной» целью для пули террориста.

Но Фриц Адлер, каким мы его знали, не был террористом. Социал-демократ по семейной традиции и лично завоеванному убеждению, всесторонне-образованный марксист, он отнюдь не склонен был к террористическому субъективизму, к наивной вере, что хорошо направленная пуля может разрубить узел величайшей исторической проблемы. Этот «кабинетный» человек, как его, с известным внешним правом, характеризуют официальные и официозные телеграммы, был несгибаемым выразителем «идеи четвертого сословия» в том старом всеохватывающем революционном смысле, в каком она запечатлена в Манифесте Коммунистической Партии.

Именно поэтому в первые часы казалось невероятным, что Фриц Адлер поставил свою жизнь интернационалиста на одну карту с жизнью габсбургского Штюргка. Телеграммы французской прессы из Швейцарии питали это естественное недоверие. Они — то выводили Адлера из немецкой Богемии, называя его секретарем пражской торговой палаты, то, смешивая его, очевидно, с его младшим братом, причисляли его к литературной богеме, к группе «анархистов» венских кафе, как Петер Альтенберг, Карл Краус и др. Сейчас, когда телеграммы приносят отклики на событие немецкой прессы и в том числе венской «Arbeiter-Zeitung», сомнениям уже не может быть места: это именно Фриц Адлер, редактор «Kampf'a», революционный интернационалист, наш единомышленник и друг, убил австрийского министра-президента Штюргка.

И на месте первоначальной внутренней потребности — *сомнения* — сейчас же вырастает новая потребность — *объяснения*, — более властная даже, чем потребность политической оценки.

Штюргк, сказали мы, отнюдь не увеличиваясь в росте, автоматически поднялся на уровень законченного представителя системы. Это было бы достаточно для доктринера терроризма, но не для Фрица Адлера. Непосредственных и сильнейших мотивов его действия нужно искать в состоянии и внутренних отношениях самой австрийской социал-демократии.

Виктор Адлер, отец Фрица и действительный создатель австрийской рабочей партии, одна из крупнейших фигур Второго Интернационала, выступил в 80-х годах на политическую арену, как младший друг Фридриха Энгельса, с серьезным теоретическим багажом и подлинным темпераментом революционера. И сейчас еще нельзя без волнения перелистывать его тогдашний еженедельник «Gleichheit», ведший великолепную борьбу против габсбургской цензуры, полиции, монархии и против классового общества в целом. Эта героическая эпоха, значительную часть которой Виктор Адлер провел в тюрьмах монархии, окружила его голову революционным ореолом. Искусно эксплоатируя бессилие бюрократии пред хаосом национальных притязаний, австрийская социал-демократия систематически раздвигала для себя открытую арену политической борьбы. К авторитету революционного социалиста Виктор Адлер присоединял авторитет тонкого стратега. Партия находилась в периоде непрерывного роста. В этой атмосфере исключительного политического влияния и личного обаяния Адлера-отца формировалось молодое поколение австрийских марксистов: Карл Реннер, Макс Адлер, Рудольф Гильфердинг, Густав Экштейн, Фриц Адлер, Отто Бауэр и другие [23]). Все они в большей или меньшей мере брали официальную тактику партии, как данную сверху, без критики, ограничивая свою задачу областью теоретических исследований и марксистской пропаганды.

Русская революция придала политической активности австрийского пролетариата новый размах. Под прямым давлением нашей октябрьской стачки 1905 г., вызвавшей могущественный отклик на улицах Вены и Праги, дезорганизованная центробежными национальными силами монархия октроировала всеобщее избирательное право. Перед партией открывались, каза-

лось на первый взгляд, широчайшие перспективы. «Австрийский» метод — сложных маневров, полуугроз и полусоглашений — казался тем более победоносным, чем очевиднее шла к уклону русская революция с ее «упростительством» массовых боев.

Но политическая действительность сложилась наперекор оптимистическим ожиданиям энтузиастов и бюрократов «австрийского» метода. Толкаемые быстрым развитием молодого австрийского капитализма, правящие верхи стали искать выхода из внутренних затруднений на пути внешних успехов. Политика империализма обрекает на ничтожество более могущественные парламенты, чем австрийский. Всеобщее избирательное право оказалось бессильно изменить этот закон. Милитаризм врезывался в живое тело разноплеменного населения монархии, но отпор еще многочисленных ее крестьянских и мелко-буржуазных масс нейтрализовался без результата в смуте национальных столкновений. Министры по произволу созывали парламент и по произволу рассылали депутатов по домам.

Только непримиримая, революционная, наступательная политика могла спаять воедино разноплеменный австро-венгерский пролетариат, уберечь его от заражения провинциализмом и национализмом и, вместе с тем поставить монархию в более урегулированную, «конституционную» связь с имущими классами. Но «австрийский» метод выжидательных полумер, закулисных ходов, полного заместительства масс стратегами-вождями успел уже превратиться в окостеневшую традицию и, вместе с тем, развернул все свои деморализующие черты.

Вокруг Виктора Адлера, первой и самой большой жертвы собственного метода, сгруппировались посредственности, политики передней, рутинеры и карьеристы, которым не было надобности, подобно их вождю, проделывать в изнуряющей сутолоке австрийской политики путь от революционной концепции к полному скептицизму, чтобы оставаться заклятыми врагами всякой революционной инициативы и массового действия. Жалкая прострация официальных верхов австрийского социализма раскрылась в начале войны, как необузданный сервилизм перед австро-венгерским государством.

В обширном «Манифесте австрийских интернационалистов» *), опубликованном вскоре после Циммервальдской конференции [24])

*) См. приложение № 1. *Ред.*

в социалистической печати, дана исчерпывающая характеристика внутреннего режима монархии и еще более убийственная характеристика режима австрийской социал-демократии. Автором этого манифеста, выставившего требование, чтобы социалистическая партия, независимо от хода войны, оставалась и действовала, как *«постоянная армия социальной революции»*, был Фриц Адлер, ставший во главе социалистической оппозиции.

Если молодое поколение австрийских марксистов не вело до войны никакой самостоятельной политики, предоставляя эту область Адлеру - отцу, то теперь, в момент величайшего испытания, чувство политической ответственности с величественной силой поднялось в груди Адлера - сына. Он не жил, а горел. Конфликт двух поколений в социализме получил на австрийской почве потрясающее по своему драматизму выражение. В Германии Бебеля уже нет. Его место заняли дюжинные партийные бюрократы. Во Франции нет Жореса. Второстепенные эпигоны руководят социал-патриотическим разложением социализма. В Австрии на охране официальной социал-патриотической политики все еще стоит Виктор Адлер, воплощение всей истории австрийской социал-демократии. Тем труднее, тем драматичнее была задача сына. На верхах партии он встречал снисходительно-враждебный отпор самодовольных парламентариев без парламента, журналистов, отписывающихся от событий между завтраком и обедом, мелких карьеристов или, в лучшем случае, органических националистов. Безразличие филистеров, которые ничего не берут всерьез, должно было тем сильнее наполнять его душу гневом, чем ограниченнее были возможности прямой апелляции к массам. Телеграммы передают, что на недавнем совещании руководящих элементов партии Фриц Адлер требовал решительных действий. «Мы должны повсюду организовать манифестации, — воскликнул он, — иначе народ возложит ответственность за войну на вождей социализма». Ему отвечали пожиманием плеч. Эти люди ничего не брали всерьез. Но он, Фриц, брал всерьез свой социалистический долг *). Он решил изо всех своих сил крикнуть пролетарским массам, что путь социал-патриотизма есть путь рабства и духовной смерти. Он избрал для этого тот способ, какой казался ему наиболее действительным.

*) Как известно, в дальнейшем (в 1918 году) Фридрих Адлер изменил революционному интернационализму и перешел вновь в ряды австрийской социал-демократии.

Как героический стрелочник на железнодорожном полотне, который вскрывает себе вену и сигнализирует об опасности смоченным собственной кровью платком, Фриц Адлер превратил себя самого, свою жизнь, в сигнальную бомбу пред лицом обманутых и обескровленных рабочих масс...

Значит, еще бьется сердце этого несчастного человечества, если среди его сынов находятся такие рыцари долга!

«Начало» [25]) *№ 22,*
25 октября 1916 г.

КАРЛ КАУТСКИЙ

«Нашему Слову» [26]) пришлось сводить счеты и с Каутским. Международный авторитет его стоял накануне империалистической войны еще очень высоко, хотя уже далеко не на той высоте, как в начале столетия и в особенности в период первой русской революции.

Каутский был, несомненно, самым выдающимся теоретиком Второго Интернационала и в течение большей половины своей сознательной жизни он представлял и обобщал *лучшие* стороны Второго Интернационала. Пропагандист и вульгаризатор марксизма, Каутский главную свою теоретическую миссию видел в примирении реформы и революции. Но сам-то он идейно сложился в эпоху реформы. Реальностью для него была реформа. Революция — теоретическим обобщением, исторической перспективой.

Дарвиновская теория происхождения видов охватывает развитие растительного и животного царств на всем его протяжении. Борьба за существование, естественный и половой отбор идут безостановочно и непрерывно. Но если бы наблюдатель располагал достаточным временем для наблюдения, имея, скажем, тысячелетие в качестве низшей единицы измерения, он с несомненностью установил бы на-глаз, что бывают долгие эпохи относительного жизненного равновесия, когда действие законов отбора почти незаметно, виды сохраняют свою относительную устойчивость и кажутся воплощением платонических идей-типов; но бывают и эпохи нарушенного равновесия между растениями, животными и географической средой, эпохи гео-биологических кризисов, когда законы естественного отбора выступают во всей свирепости и ведут развитие по трупам растительных и животных видов.

В этой гигантской перспективе дарвиновская теория предстанет прежде всего как теория критических эпох в развитии растительного и животного миров.

Марксова теория исторического процесса охватывает всю историю общественно-организованного человека. Но в эпохи относительного общественного равновесия зависимость идей от классовых интересов и систем собственности остается замаскированной. Высшей школой марксизма являются эпохи революции, когда борьба классов из-за систем собственности принимает характер открытой гражданской войны, и когда системы государства, права и философии обнажаются до конца, как служебные органы классов. Сама теория марксизма была формулирована в предреволюционную эпоху, когда классы искали новой ориентировки, и окончательно сложилась в испытаниях революций и контр-революций 1848 и следующих годов.

Каутский не имел этого незаменимого живого опыта революции. Он получил марксизм, как готовую систему, и популяризовал ее, как школьный учитель научного социализма. Расцвет его деятельности пришелся на глубокий провал между разгромленной Парижской Коммуной и первой русской революцией. Капитализм развернулся со всепокоряющим могуществом. Рабочие организации росли почти автоматически, но «конечная цель», т.-е. социально-революционная задача пролетариата, отделилась от самого движения и сохраняла чисто академическое существование. Отсюда пресловутый афоризм Бернштейна [27]): «Движение — все, конечная цель — ничто». Как философия рабочей партии — это бессмыслица и пошлость. Но как отражение действительного духа немецкой социал-демократии последней четверти века перед войной, изречение Бернштейна очень показательно: реформаторская повседневная борьба приняла самодовлеющий характер, — конечная цель сохранялась по департаменту Каутского.

Революционный характер доктрины Маркса и Энгельса Каутский отстаивал неутомимо, хотя и здесь инициатива отпора ревизионистским попыткам принадлежала обычно не ему, а более решительным элементам (Р. Люксембург, Плеханов, Парвус). Но политически Каутский целиком мирился с социал-демократией, как она сложилась, не замечал ее глубоко-оппортунистического характера, не откликался на попытки придать больше решительности тактике партии. С своей стороны и партия, т.-е. пра-

вящая бюрократия, мирилась с теоретическим радикализмом Каутского. Это сочетание практического оппортунизма с принципиальной революционностью находило наивысшее свое выражение в гениальном токаре Августе Бебеле, бесспорном вожде партии в течение почти полувека. Бебель поддерживал Каутского в области теории, являясь для Каутского безапелляционным авторитетом в вопросах политики. Только Люксембург подталкивала иногда Каутского левее, чем хотел Бебель.

Германская социал-демократия занимала руководящее место во Втором Интернационале. Каутский был ее признанным теоретиком и, как казалось, вдохновителем. Из борьбы с Бернштейном Каутский вышел победителем. Французский социалистический министериализм («мильеранизм») был осужден в 1903 г. на Амстердамском конгрессе, который принял резолюцию Каутского. Таким образом Каутский стал как бы признанным теоретическим законодателем международного социализма. Это был период его наивысшего влияния. Враги и противники называли его «папой» Интернационала. Нередко величали его так и друзья, но с лаской. Помню, старуха-мать Каутского, писательница тенденциозных романов, которые она посвящала «своему сыну и своему учителю», получила ко дню своего семидесятипятилетия приветствие от итальянских социалистов, адресованное: alla mamma del papa («папиной маме»...).

Разразилась революция 1905 года. Она сразу усилила радикальные тенденции в международном рабочем движении и чрезвычайно укрепила теоретический авторитет Каутского. Во внутренних вопросах революции он занял (правда, после других) решительную позицию и предвидел революционное социал-демократическое правительство в России. Бебель в частных беседах подшучивал над «увлекающимся Карлом», улыбаясь углом тонкого рта. В немецкой партии дело свелось к дискуссии о всеобщей стачке и к радикальной резолюции. Это была кульминация Каутского. Дальше пошло под уклон.

Я впервые увидал Каутского в 1907 г., после побега из Сибири. Поражение революции еще не было очевидным. Влияние Люксембург на Каутского было в этот период очень велико. Его авторитет стоял вне спора для всех фракций русской социал-демократии. Не без волнения поднимался я по лестнице чистенького домика во Фриденау, под Берлином. Впечатление «не от мира сего» — беленький старичок с ясными глазами, говорит по-русски

«здравствуйте» — в совокупности с впечатлением от научных работ Каутского, из которых мы все многому научились, создавало очень привлекательный образ. Особенно подкупало отсутствие суетности, которое, как мне стало ясно впоследствии, было результатом бесспорности его авторитета и вытекавшей отсюда внутренней уверенности. Личная беседа с Каутским давала, однако, очень мало. Его ум угловат, сух, лишен находчивости, не психологичен, оценки схематичны, шутки банальны. По этим же причинам Каутский крайне слаб, как оратор.

В России революция была отбита, пролетариат отброшен, социализм раздроблен и загнан в подполье; либеральная буржуазия искала примирения с монархией на почве империалистической программы. Разочарование в революционных методах прокатилось волной по Интернационалу. Оппортунизм брал реванш. В то же время международные отношения капиталистических стран все более напрягались, развязка близилась; и социалистические партии вынуждались к полной определенности: с национальным государством или против него? Нужно было либо делать вывод из революционной теории, либо доводить до конца оппортунистическую практику. Между тем, весь авторитет Каутского держался на примирении оппортунизма в политике — с марксизмом в теории. Левое крыло (Люксембург и др.) требовало прямых ответов. Их требовала вся обстановка. С другой стороны, реформисты перешли в наступление по всему фронту. Каутский терялся все более, боролся все решительнее с левым флангом, сближался с бернштейнианцами, тщетно пытаясь сохранить видимость марксистской позиции. Он изменился за этот период даже внешним образом: ясное спокойствие исчезло, в глазах забегала тревога, что-то безжалостно подтачивало его изнутри.

Война принесла развязку, раскрыв в первый же день всю ложь и гниль каутскианства. Каутский советовал не то воздержаться от голосования кредитов Вильгельму, не то голосовать их «с оговоркой». Потом в течение месяцев шла полемика, в которой выяснилось, что же такое собственно Каутский советовал. «Интернационал есть инструмент мира, а не войны» — Каутский ухватился за эту пошлость, как за якорь спасения. Покритиковав шовинистические излишества, Каутский стал подготовлять всеобщее примирение социал-патриотов после войны.

«Все люди — все человеки, ошибались, не без того, — война пройдет, начнем сначала»...

Когда разразилась германская революция, Каутский стал чем-то вроде министра буржуазной республики, проповедывал разрыв с Советской Россией («все равно, падет через несколько недель») и, разрабатывая марксизм в квакерском направлении, ползал на четвереньках перед Вильсоном... Как свирепо диалектика истории расправилась с одним из своих апостолов!

18 марта 1919 г., 24 апреля 1922 г.

«Война и революция», т. I.

В ПАРИЖЕ

Французская социалистическая партия находилась в состоянии полной демобилизации. Жорес был убит накануне войны. Вальян, старый антимилитарист, с первых дней германского наступления вернулся к патриотическим традициям Бланки [28]) и ежедневно источал из себя для центрального органа партии, «L'Humanité», статьи в духе самого напряженного шовинизма. Жюль Гед, вождь марксистского крыла, исчерпавший себя в долгой изнурительной борьбе против фетишей демократии, оказался способным только на то, чтобы, подобно своему другу Плеханову, остатки своих политических мыслей и свой нравственный авторитет принести на алтарь «национальной обороны». Поверхностный фельетонист Марсель Самба секундировал Геду в министерстве Бриана. Закулисный делец, великий мастер на малые дела, Пьер Ренодель оказался на время «руководителем» партии, автоматически заняв опустевшее место Жореса, которому он, надрывая себя, подражал жестами и раскатами голоса. Лонге [29]) тянулся за Ренodелем, но с некоторой застенчивостью. Официальный синдикализм, представляемый председателем Всеобщей Конфедерации Труда, перевертнем Жуо [30]), шел по тому же пути. Самодовольный «революционный» шут Эрве [31]), крайний антимилитарист, вывернулся наизнанку и, в качестве крайнего патриота, оставался все тем же шутом. Отдельные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и там, — но почти не подавали признаков жизни. Казалось, не было никаких проблесков лучшего будущего.

В среде русской эмиграции Парижа, особенно эсеровской интеллигенции, патриотизм расцвел махровым цветом. Когда обозначалась военная угроза Парижу, значительное число

эмигрантов вступило волонтерами во французскую армию. Остальные липли к депутатам и буржуазной прессе, всячески демонстрируя, что они теперь не просто эмигранты, но дорогие союзники. Широкие низы эмиграции, пролетарские элементы, были дезориентированы и смущены. Некоторые рабочие, особенно успевшие обзавестись французскими семьями, поддались патриотическому течению. Но в общем устояли, стремились понять и найти путь выхода.

18 марта 1919 г., 24 апреля 1922 г.
«Война и революция», т. I.

ОТХОДИТ ЭПОХА

(Бебель — Жорес — Вальян)

Сегодня сожгли тело Эдуарда Вальяна.

Отходит целая эпоха в европейском социализме. И не только идейно, но физически отходит в лице своих самых выдающихся представителей. Бебель умер в период бухарестской мирной конференции, между балканской войной и нынешней. Помню, как на вокзале в Плоэштах у Гереа *), выходца из России и известного румынского писателя, я узнал эту весть. Она казалась невероятной, как раньше весть о смерти Толстого; в глазах всякого, связанного с немецкой политической жизнью, Бебель был неотторжимой ее частью. В ту отдаленную эпоху слово смерть имело вообще еще совсем другое содержание на человеческом языке, чем в наши дни. «Бебель умер. Как же немецкая социал-демократия?» Вспомнилось, как отозвался когда-то, лет пять тому назад, о внутренней жизни своей партии Ледебур **): 20% решительных радикалов, 30% оппортунистов, остальные идут за Бебелем.

Уже смерть Либкнехта (Вильгельма. *Ред.*) была первым предостережением старшему поколению — в том смысле, что оно может сойти со сцены, не выполнив того, что считало своей исторической миссией. Но, пока жив был Бебель, оставалась живая связь с героическим периодом движения, и негероические черты руководящих людей второго призыва не выступали так ярко наружу.

*) См. о нем в этом томе статью «Доброджану-Гереа» на стр. 80. *Ред.*
**) См. о нем в этом томе статью «Ледебур—Гоффман» на стр. 74. *Ред.*

Когда началась война и стало известно, что социалисты голосовали за военные кредиты, невольно возникал вопрос, как поступил бы в этом случае Бебель? «Я не допускаю, — говорил в Цюрихе П. Б. Аксельрод, — чтобы Бебель допустил парламентскую фракцию до такого падения: он имел за спиной опыт войны 1870 года и традиции Первого Интернационала,—нет, никогда!» Но Бебеля не было в живых, история убрала его с дороги, чтобы дать с полной свободой проявиться тем чувствам и настроениям, которые почти незаметно, но тем более неудержимо накоплялись в немецкой социал-демократии в течение десятилетий ее медленного органического роста.

В это время уже не было в живых и Жореса. Весть о том, что он убит, еще застала меня в Вене, которую приходилось спешно покидать, и произвела не меньшее в своем роде впечатление, чем первые тогдашние раскаты мировой грозы. Колоссальные события настраивают фаталистически: личность стушевывается, когда из пересечения отдаленных и непосредственных, глубоких и поверхностных причин вырастает столкновение вооруженных народов. Но смерть Жореса, предупредившая это столкновение безличных масс, налагала на надвигавшиеся события печать захватывающего индивидуального трагизма. Это была самая величественная вариация на старую, но не стареющую тему борьбы героя с роком. Рок выходил и на этот раз победителем. Жорес лежал с простреленной головой. Французский социализм оказался обезглавлен, и немедленно возникал вопрос: какое он займет место в нынешних событиях?

Представлялось, что, подготовляя распад Второго Интернационала, как он сложился за 25 лет своего существования, история облегчила себе работу, устранив двух человек, которые символизировали движение всей этой эпохи: Бебеля и Жореса.

В личности Бебеля воплощалось упорное и неуклонное движение нового класса снизу вверх. Этот хрупкий сухощавый старик казался весь созданным из воли, устремленной к единой цели. В своем мышлении, в своем красноречии и в своих литературных произведениях он совершенно не допускал таких затрат духовной энергии, которые не ведут непосредственно к цели, он был не только враг риторики, но и безусловно чужд самодовлеющих эстетических обольщений. В этом и состояла, к слову сказать, высшая красота его политического пафоса. Он отражал собою класс, который учится в немногие свободные часы, до

рожит каждой минутой и жадно поглощает то, что строго необходимо.

Жорес был, напротив, весь полет; его духовный мир состоял из идеологических традиций, философской фантазии, поэтического воображения и имел столь же ярко выраженные аристократические черты, насколько духовный облик Бебеля был плебейски-демократическим. Помимо этой психологической разницы двух типов — бывшего токаря и бывшего профессора философии — между Бебелем и Жоресом было еще глубокое логическое и политическое различие миросозерцаний: Бебель был материалистом, Жорес—эклектическим идеалистом, Бебель — непримиримым сторонником принципов марксизма, Жорес — реформистом, министериалистом и проч. Но несмотря на все эти различия, они в политике отражали, через призму немецкой и французской политической культуры, одну и ту же историческую эпоху. Это была эпоха *вооруженного мира* — в международных отношениях, как и во внутренних.

Организация немецкого пролетариата росла непрестанно, кассы пополнялись, число газет, депутатов, муниципальных гласных непрерывно умножалось. В то же время реакция твердо держалась на всех своих позициях. Отсюда вытекала неизбежность столкновения между двумя полярными силами германской общественности. Но это столкновение так долго не наступало, а силы и средства организации так автоматически росли, что целое поколение успело *привыкнуть* к такому положению вещей, и хотя все писали, говорили или читали о неизбежности решающего конфликта, — как неизбежно столкновение двух поездов, идущих навстречу друг другу по одним и тем же рельсам, — но в конце концов внутренно перестали ощущать эту неизбежность. Старик Бебель тем и отличался от многих других, что до конца своих дней жил глубокой уверенностью в том, что события фатально идут к развязке, и в день своего семидесятилетия он в словах сосредоточенной страсти говорил о грядущем часе.

Во Франции не было ни такого планомерного роста рабочей организации, ни такого открытого господства реакции. Наоборот, государственная машина, на основах демократического парламентаризма, казалась совершенно доступной. Когда Жорес отбивал атаки клерикализма и скрытого или явного роялизма, как в период дела Дрейфуса, он считал, что непосредственно

за этим начнется период реформаторских «достижений». Его антагонист, Жюль Гед, придавал марксистским тенденциям и перспективам во французских условиях сектантский характер; глубокий и убежденный фанатик, он в течение десятилетий ждал освобождающего удара, духовно сгорая в огне своей веры и напряженного нетерпения. Жорес становился на почву демократии и эволюции. Он считал своей задачей очистить путь от реакционных препон и сделать парламентский механизм орудием глубочайших социальных реформ, которые должны перестроить, рационализировать и оздоровить весь общественный порядок. Но экономическое развитие Франции двигалось крайне медленно, — социальные отношения сохраняли застойный характер, выборы шли за выборами, меняя политические группировки в парламентском калейдоскопе, но не нарушая соотношения его основных сил. Как в Германии целое поколение привыкло к самодовлеющему росту организации, так во Франции деятели меньшего размера и размаха с головой уходили в парламентскую повседневность, только в торжественных речах вспоминая о конечных «достижениях».

Однородный психологический процесс происходил и в области вопросов международной политики. После войны 1870 года было естественно ожидание ее возобновления. Милитаризм рос непрерывно, но война все отодвигалась. В борьбе с внутренним милитаризмом на обеих сторонах Рейна постоянно говорили об опасности войны, но в конце концов большинство перестало в нее по-настоящему верить. К росту милитаризма привыкли, как и к росту рабочих организаций. 45 лет вооруженного мира, внутреннего и внешнего, постепенно вытравили из сознания целого поколения черты катастрофической психологии. И именно тогда, когда эта работа была благополучно закончена, история обрушила на голову человечества величайшую катастрофу, которая предвещает и ведет за собою другие. Ничего не поделаете; это и есть диалектика развития.

Бебель и Жорес, каждый по-своему, отражали свою эпоху, но, как гениальные люди, оба были выше ее головой, не растворились в ней и потому в гораздо меньшей степени, чем их посредственные сотрудники, могли бы быть застигнутыми врасплох. Но они заблаговременно сошли с арены, чтобы доставить истории возможность в чистом виде произвести опыт воздействия катастрофы на некатастрофическое сознание.

Сегодня хоронили Эдуарда Вальяна.

Он был единственным, оставшимся в живых представителем традиций национального французского социализма, *бланкизма*, который сочетал крайние методы действий, вплоть до инсуррекции, с крайним патриотизмом. Бланки в 1870 году не хотел в своей газете «Patrie en danger» («Отечество в опасности») знать других врагов, кроме пруссака. А Густав Тридон [32]), друг Бланки, с протестом выступил вместе с Маланом [33]), 3 марта 1871 года, из национального собрания, осмелившегося одобрить франкфуртский договор [34]), стало быть, уступку немцам Эльзаса-Лотарингии. «Я буду непримиримо восставать против этого преступного договора, — писал Тридон своим избирателям, — до того дня, когда революция или ваш патриотизм не уничтожит его». Во всем этом не было противоречия: как Вальян вышел из Бланки, так Бланки вышел из Бабефа [35]) и Великой Революции. Этой преемственностью для них исчерпывалось и замыкалось развитие политической мысли. Для Вальяна, хотя он и принадлежал к числу немногих французов, действительно знающих немецкий язык и немецкую литературу, Франция неизменно оставалась мессианистической страной, избранной освободительной нацией, прикосновение которой только и пробуждает другие народы к духовной жизни. Его социализм был глубоко патриотическим, как его патриотизм — освободительно-мессианистическим. Нынешняя Франция с ее задержанным ростом народонаселения и экономической отсталостью, с ее консервативными формами мысли и жизни все еще казалась ему в сущности *единственной* страной движения и прогресса.

Пройдя через испытания 1870—1871 г.г., Вальян стал фанатическим противником войны и в борьбе с ней предлагал самые крайние средства, как и его соратник на последних международных конгрессах, англичанин Кейр-Гарди [36]), на несколько месяцев раньше Вальяна сошедший со сцены. Но когда война разразилась, вся европейская история, прошедшая и будущая, сосредоточилась перед Вальяном в вопросе о судьбе Франции. Так как для него все победы мысли и все успехи справедливости непосредственно вытекали из Великой Революции, которая была и осталась французской, то он не мог не связывать в конце концов своих идей с кровью *расы*. Дело шло о спасении народа-богоносца, и для этой цели Вальян готовил привести в движение все силы. И Вальян тогда стал писать статьи в стиле «отечества в опасности»

Бланки. Он благословил меч милитаризма, против которого так жестоко боролся в мирное время, — под тем условием, чтобы этот унаследованный от Великой Революции меч сокрушил германскую монархию и германский милитаризм. Вальян был самым крайним сторонником войны jusqu'au bout (до конца). Передовые статьи, которые он ежедневно писал в начале войны, дышали такой напряженностью национального чувства, что более посредственные националисты, типа нынешнего лидера партии Ренoделя, не без основания чувствовали себя смущенными. В 75-летней голове бланкиста пробудилась старая мессианистски-революционная концепция. Немецкий милитаризм выступал под его пером не как продукт германских социальных условий, а как внешняя чудовищная надстройка, которую можно сокрушить ударом республиканского меча извне. Вальян окончательно разочаровался в немецкой расе. И когда в Штуттгарте поднялась оппозиция против милитаризма и официального партийного курса, он стал искать на юге Германии примесей галльской крови, чтобы объяснить мужество вюртембергских социалистов...

Ренодель, Компер-Морель [37]), Лонге и другие уравновешенные парламентарии с беспокойством глядели на старого бланкиста, на Дон-Кихота революционного мессианизма Франции, который как бы совершенно не замечал сквозь свои неизменно темные очки глубокой перемены в исторических условиях. Через несколько месяцев Вальян совершенно отстранился от газеты. Руководство ею перешло в руки Пьера Ренoделя [38]), состоявшего вульгаризатором при Жоресе и унаследовавшего все слабые черты своего гениального учителя...

Я встретил Вальяна несколько месяцев тому назад в Комитете Действия («военном» учреждении, состоящем наполовину из делегатов партии, наполовину из представителей синдикатов). Вальян походил на свою тень, — тень бланкизма с традициями санкюлотских войн в эпоху мировой империалистической войны. Он дожил до того момента, когда меч республики, который предназначался для сокрушения гогенцоллернской монархии, оказался врученным роялисту католику Кастельно. На этой главе политической истории Франции и всей войны старый бланкист умер, наложив, таким образом, и на свою смерть черту политического стиля.

Во Франции и прежде всего во французском социализме стало меньше одним крупным человеком. Посредственности эпохи междуцарствия станут казаться себе — увы, и другим! — еще значительнее. Но не навсегда и даже не надолго. Старая эпоха сходит со сцены со своими людьми, новая эпоха найдет новых людей.

Париж,
22 декабря 1915 г.

«Киевская Мысль» № 1,
1 января 1916 г.

3. РУССКИЙ СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЗМ

БЕГЛЫЕ МЫСЛИ О Г. В. ПЛЕХАНОВЕ

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова. Это был большой человек. Обидно думать, что все нынешнее молодое поколение пролетариата, примкнувшее к движению с 1914 года и позже, знает Плеханова только как покровителя Алексинских, сотрудника Авксентьевых, почти — единомышленника пресловутой Брешковской, т.-е. Плеханова эпохи «патриотического» упадка. Это был большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской общественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь. А это заслуга огромной важности. Нужно было победить революционно-самобытнические предрассудки русской интеллигенции, в которых находило свое выражение высокомерие отсталости. Плеханов «национализировал» марксистскую теорию и тем самым денационализировал русскую революционную мысль. Через Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности и перспективы, найдя для них опору в объективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовались величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мысли. С этими качествами Плеханов соединял еще блеск изложения и талант шутки. Первый русский крестоносец



Г. В. ПЛЕХАНОВ

марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! Некоторые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества Михайловскому, имели смертельный характер. Для того чтобы оценить силу плехановской мысли, нужно иметь представление о плотности той атмосферы народнических, субъективистских, идеалистических предрассудков, которая царила в радикальских кружках России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собою самое революционное, что выдвинула из себя Россия второй половины XIX века.

Духовное развитие нынешней передовой рабочей молодежи идет (к счастью!) совсем другими путями. Величайший в истории социальный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэль Бельтова — Михайловского *). Вот почему форма лучших, т.-е. как раз наиболее ярко полемических произведений Плеханова, устарела, как устарела форма энгельсовского «Анти-Дюринга». Взгляды Плеханова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе, чем те взгляды, которые Плеханов разбивает. Поэтому молодому читателю приходится тратить гораздо больше внимания и воображения на то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и субъективистов, чем на то, чтобы понять силу и меткость плехановских ударов. Вот почему книги Плеханова не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, который имеет возможность правильно работать над расширением и углублением своего миросозерцания, непременно будет обращаться к первому истоку марксистской мысли в России — к Плеханову. Для этого придется каждый раз ретроспективно вработаться в идейную атмосферу русского радикальства 60—90-х годов. Задача нелегкая. Зато и наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, косностью и глупостью.

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский — Герцен — Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклониться в сторону и развлечь читателя по пути шуткой, цитатой — и еще одной

*) Под псевдонимом *Бельтова* Плеханову удалось в 1895 г. провести через царскую цензуру самый свой победоносный и блестящий памфлет «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

шуткой... Для нашего «советского» времени, которое режет слишком длинные слова на части и потом прессует их осколки вместе, плехановская манера кажется устарелой. Но она отражает целую эпоху и, в своем роде, остается превосходной. Французская школа наложила на нее свою выгодную печать, в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения.

В качестве оратора, Плеханов отличался теми же свойствами, как и писатель, к выгоде и к невыгоде своей. Когда вы читаете книги Жореса, даже его исторические труды, вы чувствуете записанную ораторскую речь. У Плеханова — наоборот. В его речах вы слышали говорящего писателя. Ораторское писательство, как и писательское ораторство могут дать очень высокие образцы. Но все-таки писательство и ораторство — две разные стихии и два разных искусства. Оттого книги Жореса утомляют своей ораторской напряженностью. И по той же причине Плеханов-оратор производил нередко двойственное и потому расхолаживающее впечатление искусного чтеца своей собственной статьи.

Выше всего он был на теоретических диспутах, в которых так неутомимо купались целые поколения русской революционной интеллигенции. Здесь самая материя спора сближает писательство и ораторство. Слабее всего он бывал в речах чисто-политического характера, т.-е. в таких, которые имеют своей задачей — связать слушателей единством действенного вывода, слить воедино их волю. Плеханов говорил, как наблюдатель, как критик, как публицист, но не как вождь. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее. Его слабые стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга; он был предтечей, первым крестоносцем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только «История русской общественной мысли»; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный: соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода успели, по крайней мере, частично подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в безысходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директив вне теории классовой борьбы, — то в национальном интересе, то в отвлеченных

этических принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее критерием политики («оборонительная война — справедливая война»). Во введении к своей «Истории русской общественной мысли» он ограничивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для международных отношений национальной солидарностью *). Это уже не по Марксу, а по... Зомбарту. Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще, нормативной философии в особенности, против школы Брентано и ее марксисто-подобного фальсификатора Зомбарта, — только тот и может оценить глубину теоретического падения, совершенного Плехановым под тяжестью национально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено. Повторяем: несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга: он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Прожив несколько десятков лет в Швейцарии, он оставался русским эмигрантом. Оппортунистический, муниципальный и кантональный швейцарский социализм, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти не интересовал. Русской партии не было. Ее заменяла для Плеханова группа «Освобождение Труда», т.-е. тесный кружок единомышленников (Плеханов, Аксельрод, Засулич и Дейч, находившийся на каторге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей позиции, чем более ему нехватало политических корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения, он оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие политические проявления крохоборства, малодушия, соглашательства социалистических партий; но всегда был на страже по части теоретических ересей социалистической литературы.

---

*) «Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений». (Г. В. Плеханов. «История русской общественной мысли», стр. 11, Москва 1919 г.)

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался неподготовленным, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу обывательского глазомера, чувствовал себя неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определенных ответов, отделываясь алгебраическими формулами или остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидал Плеханова в конце 1902 г., т.-е. в тот период, когда он заканчивал свою превосходную теоретическую кампанию против народничества и против ревизионизма *) и оказался лицом к лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. Другими словами, для Плеханова начиналась эпоха упадка. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе и во всей славе его: это было в программной комиссии II съезда партии (в июле 1903 г., в Лондоне). Представители группы «Рабочего Дела» Мартынов и Акимов [39]), представители «Бунда» Либер [40]) и др., кое-кто из провинциальных делегатов пытались внести поправки, в большинстве неправильные теоретически и мало продуманные, к проекту программы партии, выработанному, главным образом, Плехановым. В комиссионных прениях Плеханов был неподражаем и... беспощаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросику он без всякого усилия мобилизовал свою выдающуюся эрудицию и заставлял слушателей и самих оппонентов убеждаться в том, что вопрос только начинается там, где авторы поправки думали закончить его. С ясной, научно-отшлифованной концепцией программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своей силе, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими и тоже веселыми усами, с чуть - чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Отблеск

---

*) Ревизионизм — эклектическая теория, основанная на пересмотре (ревизии) марксизма в оппортунистическом духе.

его вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том же съезде Плеханов был несравненно слабее, иногда казался прямо-таки беспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, которые любовались им в программной секции.

Еще на Цюрихском Международном Конгрессе 1893 г.[41]) Плеханов заявил, что революционное движение в России победит как рабочее движение, или не победит вовсе. Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить в России нет и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная пролетариатом, не может закончиться иначе, как переходом власти в руки пролетариата. От этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от своих старых теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсюда его политическая беспомощность, его шатание, завершившиеся его тяжким патриотическим грехопадением.

В эпоху войны, как и в эпоху революции, для верных учеников Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу.

* * *

Сторонники и почитатели Плеханова эпохи упадка, нередко неожиданные и без исключения малоценные, после смерти его собрали все наиболее ошибочное, что им было сказано, в отдельном издании. Этим они только помогли отделить мнимого Плеханова от действительного. Большой Плеханов, настоящий, целиком и безраздельно принадлежит нам. Наша обязанность восстановить для молодого поколения духовную фигуру Плеханова во весь рост. Настоящие беглые строки не являются, разумеется, даже подходом к этой задаче. А ее надо разрешить, и она очень благодарна. Пора, пора написать о Плеханове хорошую книгу.

25 апреля 1922 г.
«Война и революция», т. I.

ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ

> ...Прошу Вас, если Вы согласны со мной, то, переговорив с другими товарищами-депутатами, телеграфируйте мне: «Будьте спокойны»...
> (Из письма Г. Плеханова депутату Бурьянову.)

Идейно и политически Плеханов умер для социализма и для нашей партии. Но он хочет всех заставить помнить, что он физически пережил собственную духовную смерть. Он хочет внести как можно больше смуты и замешательства в партийные ряды и влить как можно больше яду в сознание отсталых рабочих; ему очевидно кажется, что в том нелепом хаосе, который он создает вокруг своего имени, не так заметно его духовное падение.

Выступая в шовинистической итальянской печати против итальянской социалистической партии, которую он еще недавно защищал против итальянского национал-реформизма; отправляясь, для защиты царской дипломатии, с веревкой на шее в Каноссу кантианства, после того, как он с царизмом и кантианством боролся всю жизнь; объединяясь с заштатными национал-народниками против революционной социал-демократии; подстрекая — сперва исподтишка, затем открыто — наших депутатов к партийному штрейкбрехерству, — Плеханов как бы остервеняется в борьбе с собственным прошлым, как бы пытается возрастающей разнузданностью своих выступлений заглушить протест своей расслабленной политической совести.

Зная прекрасно, что наши депутаты будут голосовать против кредитов, что пять из них за свою верность знамени уже на поселении, что с социал-демократическими депутатами весь передовой пролетариат, Плеханов пытается отколоть хоть одного из них и жалкое бессилие своих аргументов восполняет мерами индивидуального запугивания. Он пишет, обращаясь лично к Бурьянову, что «голосование против кредитов было бы изменой». Он бросает во время войны обвинение в измене революционной партии, скованной по рукам и по ногам военным положением.

Берите, либеральные шовинисты, это обвинение, берите, если не гнушаетесь, — оно в самый раз для вас: когда социал-демократия бросит вам обвинение в пособничестве тем силам, которые подготовили войну, не оправдывайтесь, не защищайтесь, — бросайте в ответ обвинение в измене!

И вы, нововременцы, вы, люди из «Земщины» и других реакционных вертепов, теперь вы с благословения родоначальника русского марксизма можете улюлюкать на «изменников» Петровского и Муранова или кричать «ату его» вслед Чхеидзе или Скобелеву.

И вы, господа прокуроры щегловитовского и иного закала, приберегите в вашем портфеле плехановское письмо: оно вам пригодится, когда придется облачать в арестантский халат того самого Бурьянова, которого Плеханов величает «дорогим товарищем»...

Хотелось бы пройти, закрыв глаза, мимо отталкивающего зрелища: пьяного от шовинизма и духовно раздетого «отца» партии. Но нельзя: этот скандал есть политический факт.

Каждое новое выступление Плеханова против русской социал-демократии немедленно передается телеграфом в буржуазные газеты всей страны; не потому, чтобы Плеханов говорил что-нибудь исключительное по значительности, — наоборот, трудно придумать более плоское выражение для более банальных мыслей, но духовный труп марксистского теоретика всегда еще достаточно хорош, чтобы быть употребленным на запруду против пролетарского интернационализма. А сверх того, «либеральная» и «демократическая» интеллигенция смотрится в зеркало плехановского падения и находит, что, значит, не так уж она скудна духовно, не так низкопробна морально, ибо от собственного своего имени она не посмела бы никак требовать от социалистов отречения и клеймить их за стойкость изменниками... В Тверь и в Новочеркасск, в Одессу и в Иркутск, всюду телеграфная проволока передает, что Плеханов назвал поведение социал-демократической фракции «изменой». Какое замешательство в умах молодых, лишь затронутых социализмом рабочих! Какое торжество для всех отрекшихся — для тех, кто еще в начале контр-революции продал шпагу, и для перебежчиков последнего «патриотического» призыва.

Какое падение!

Можно было бы дать психологически-поучительный рассказ о личной трагедии человека, который защищал в течение трех десятилетий классовую политику в полной изолированности от класса, отстаивал принципы революции в наименее революционном уголке Европы и был фанатическим пропагандистом

марксизма, живя в наименее «марксистской» атмосфере французской мысли.

Можно было бы дать очерк жизни революционера, который в течение трети столетия — во всеоружии теории Маркса — ждал и призывал русскую революцию, а когда она пришла, не нашел в своем духовном арсенале ни анализа ее движущих сил, ни больших исторических обобщений, ни, наконец, одного хотя бы яркого или сильного слова, ничего, кроме плоского резонерства и тактического брюзжания задним числом.

Можно было бы написать характеристику ума, сильного и блестящего, но чисто догматического, формально-логического,— и можно было бы объяснить, почему именно такому уму история доверила — в условиях российской общественной мизерии — защиту и пропаганду марксизма — доктрины, наименее догматической, наименее формальной, в которой сквозь ткань обобщений проглядывает живая плоть и горячая кровь социальной борьбы и страстей: там, где доктрина оставалась еще без своего социального тела, гнездясь в сознании интеллигенции, ее глашатаем должен был выступать полемист, логик и — увы — нередко софист. И в этом противоречии между характером миросозерцания и личным духовным складом, между задачей жизни и ее условиями, лежал источник всех позднейших шатаний и ошибок, ныне завершившихся безвозвратным падением.

Но теперь не такое время, чтобы писать психологические этюды. Плехановщина — не только личная трагедия, но политический факт. И раз возле Плеханова, в окружающей его свите нулей, нет никого, кто мог бы его заставить понять, что его выступления не только губят его, но и безнадежно омрачают образ, составляющий уже достояние партийной истории, — у нас не остается не только долга, но и права быть снисходительными.

Он, Плеханов, заклинает фракцию «успокоить» его по телеграфу — актом политического ренегатства, и от фракции, которая хочет оставаться на посту, и от партии, в которой достаточно силы, чтобы переступить через духовный труп своего основателя, Плеханов должен получить ответ:

Спокойны вы или нет, нам все равно; но вас мы раз навсегда просим оставить нас в покое!

«Наше Слово» № 216,
14 октября 1915 г.

ПАМЯТИ ПЛЕХАНОВА *)

Товарищи! Мы живем в такую эпоху, когда отдельная человеческая жизнь кажется ничем, или почти ничем в колоссальном водовороте событий. Во время войны гибли и умирали миллионы, и сотни тысяч погибли во время революции. В таком движении и в такой борьбе человеческих масс, отдельная личность незаметна. Тем не менее и в эпоху величайших массовых событий бывают отдельные смерти, которые не позволяют пройти мимо них молча, не отметив их. Такова смерть Г. В. Плеханова.

В этом большом собрании, наполненном сверху донизу, нет ни одного человека, который бы не знал имени Плеханова.

Плеханов принадлежал к тому поколению русской революции и к той поре ее развития, когда на революционную борьбу выступали только небольшие отряды интеллигенции. Плеханов прошел через Землю и Волю [42]), через Черный Передел [43]) и в 1883 году вместе со своими ближайшими сотрудниками, Верой Засулич и Павлом Аксельродом, он организовал группу «Освобождение Труда» [44]), которая стала первой ячейкой русского марксизма, на первых порах только идейной. Если нет здесь ни одного товарища, который не знал бы имени Плеханова, то среди нас, марксистов старшего поколения, нет ни одного, который не учился бы на работах Плеханова.

Именно он доказывал за 34 года до Октября, что русская революция может восторжествовать лишь в виде революционного движения рабочих. Он стремился положить факт классового движения пролетариата в основу революционной борьбы первых интеллигентских кружков. Этому мы учились у него, и в этом основа не только деятельности Плеханова, но и всей нашей революционной борьбы. Этому мы остаемся верны и до сегодняшнего дня. В дальнейшем развитии революции Плеханов отошел от того класса, которому он так превосходно служил в тягчайшую эпоху реакции. Нет и не может быть большей трагедии для политического деятеля, который неустанно доказывал, в течение десятилетий, что русская революция может развиваться и притти к победе

---

*) Речь тов. Троцкого на 17-м соединенном заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 4-го созыва, Московского Совета Рабочих и Солд. Депутатов, Всеросс. и Моск. Центр. Сов. профессиональных союзов, представителей всех профессиональных союзов Москвы, фабрично-заводских комитетов и других рабочих организаций от 4 июня 1918 года. *Ред.*

лишь как революция рабочего класса, — не может быть большей трагедии для такого деятеля, как отказаться от участия в движении рабочего класса в самый ответственный исторический период, в эпоху победоносной революции. В таком трагическом положении оказался Плеханов. Он не щадил ударов против Советской власти, против пролетарского режима и против той партии коммунистов, к которой я принадлежу, как и многие из вас, и, разумеется, мы отвечали ударами на его удары. И перед раскрытой могилой Плеханова мы остаемся верны своему знамени, не делаем никаких уступок Плеханову — соглашателю и националисту, не берем назад ни одного из ударов, которые наносили, не требуя и от противников, чтобы они щадили нас. Но в то же время сейчас, когда в наше сознание остро вошел тот факт, что Плеханова больше нет среди живых, мы ощущаем в себе, на ряду с непримиримой революционной враждой ко всем тем, кто стоит поперек пути рабочего класса, достаточно идейной широты, чтобы вспомнить сейчас Плеханова не таким, против которого мы боролись со всей решительностью, а таким, у которого мы учились азбуке революционного марксизма. В железный инвентарь рабочего класса Плеханов включил не один отточенный им меч и не одно копье, которое беспощадно разит. В борьбе с нашими классовыми врагами и с их сознательными и бессознательными прислужниками, как и в борьбе с самим Плехановым в последний период его жизни, мы пользовались и будем пользоваться и впредь лучшей частью духовного наследства, которое нам оставил Плеханов. Он умер, но идеи, которые он выковывал в лучшую пору своей жизни, бессмертны, как бессмертна пролетарская революция. Он умер, но мы, его ученики, живем и боремся под знаменем марксизма, под знаменем пролетарской революции. И прежде чем мы перейдем к очередным задачам нашей сегодняшней борьбы с гнетом и эксплоатацией, с ложью и клеветой, я призываю вас всех молчаливо и торжественно почтить память Плеханова вставанием.

Архив 1918 г.

МАРТОВ

Мартов, несомненно, является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, прошедший марксистскую школу, Мартов войдет тем не менее в историю рабочей

революции крупнейшим минусом. Его мысли нехватало мужества, его проницательности недоставало воли. Цепкость не заменяла их. Это погубило его. Марксизм есть метод объективного анализа и вместе с тем предпосылка революционного *действия*. Он предполагает то равновесие мысли и воли, которое сообщает самой мысли «физическую силу» и дисциплинирует волю диалектическим соподчинением субъективного и объективного. Лишенная волевой пружины, мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплоатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть, без всякой иронии, назван виртуозом. Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауэр, Реннер и сам Каутский являются, однако, в сравнении с Мартовым, неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о *политической* фальсификации марксизма, т.-е. об истолковании пассивности, приспособления, капитуляции, как самых высоких форм непримиримой классовой борьбы.

Несомненно, что в Мартове заложен был революционный инстинкт. Первый его отклик на крупные события всегда обнаруживает революционное устремление. Но после каждого такого усилия его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, дробится на части и оседает назад. Это можно было наблюдать в начале столетия, при первых признаках революционного прибоя («Искра»), затем в 1905 году, далее—в начале империалистической войны, отчасти еще — в начале революции 1917 г. Но тщетно! Изобретательность и гибкость его мысли расходовались целиком на то, чтобы обходить основные вопросы и выискивать все новые доводы в пользу того, чего защитить нельзя. Диалектика стала у него тончайшей казуистикой. Необыкновенная, чисто кошачья цепкость — воля безволия, упорство нерешительности — позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях. Обнаружив при решительной исторической встряске стремление занять революционную позицию и возбудив надежды, он каждый раз обманывался: грехи не пускали. И в результате он скатывался все ниже. В конце концов, Мартов стал самым изощренным, самым тонким, самым неуловимым, самым проницательным политиком тупоумной, пошлой

и трусливой мелкобуржуазной интеллигенции. И то, что он сам не видит и не понимает этого, показывает, как беспощадно его мозаическая проницательность посмеялась над ним. Ныне, в эпоху величайших задач и возможностей, какие когда-либо ставила и открывала история, Мартов распял себя между Лонге и Черновым [45]). Достаточно назвать эти два имени, чтобы измерить глубину идейного и политического падения этого человека, которому дано было больше, чем многим другим.

18 марта 1919 г., 24 апреля 1922 г.
«Война и революция», т. I.

НЕГОДЯЙ

«Негодяй, властитель дум современности».

(Салтыков.)

«Да я занимаюсь доносами».

(Гордые слова одного депутата.)

В этом депутате было от природы заложено нечто гнусное [46]). Люди, видевшие и слышавшие его в первый раз, невольно вспоминали библейские слова: «он же ужалит тебя в пяту». Стремление ужалить, и притом именно в пяту, является главной пружиной его психики. В своей общественной деятельности он фатально тяготел к крайнему флангу, чтобы для ужаления иметь возможно больший простор: по существу дела ему безразлично, идет ли дело о «правых» или «левых» идеях. Если Пуришкевич *) сел справа, а он слева — это дело случая. Он может внести в игру случая поправку и сесть на крайней правой: ему, как прирожденной рептилии, нужно иметь защищенной одну сторону, чтобы тем увереннее жалить всех находящихся по другую. Мы упомянули Пуришкевича, но у того много самодовлеющего шутовства, которое, нисколько не растворяя злости, присоединяет к ней элемент, так сказать, эстетического бескорыстия, и хотя это эстетика дворянской лакейской, т.-е. мерзость неописуемая, но и она вносит смягчающую ноту в общую музыку, состоящую из шипа и лязганья. У Негодяя же нет и этого «украшающего» качества: шутовство не чуждо ему, наоборот, — но оно является у него не самостоятельной эстетической потребностью, а продуктом несоответствия между его напряженной волей ядовитой рептилии

*) См. о нем в этом томе ст. «Слабость как источник силы» на стр. 168. *Ред.*

и недостаточностью его ресурсов. Он может зарваться до последних пределов глупости, но эта глупость всегда «устремленная», отравленная; и она ни на минуту не примиряет с ним, — как нет ничего примиряющего в образе скорпиона, который от избытка злости жалит самого себя в хвост.

Негодяй был с левыми левее всех, — и в этом ореоле «левизны» он издали мог представляться не тем, что он на самом деле. Но та среда, в которой он подвизался волею каприза русской истории, не могла не стеснять его. Нет надобности идеализировать «левую» среду: но она живет идеей, и в последнем счете ее страсти, большие, малые и даже мелкие, подчинены этой идее, ею дисциплинированы и облагорожены. У него же, у Негодяя, нет над его отравленной злостью никакого контроля, и когда он жалит, оправдывая в собственных глазах свое существование, он не хочет и не может знать никаких ограничений

... У людей много добродушия и наивности, и они склонны думать: «Нет, на это он все же неспособен»... И они ошибаются: ибо он на все способен. Ему нет надобности получать деньги или чины (это придет само собою), чтобы делать мерзости: для этого у него достаточно внутренних мотивов. Именно поэтому он во лжи, клевете и доносах не знает даже тех пределов, которые диктуются осторожностью. Завтрашний день расскажет про него то, чему многие еще не хотят верить сегодня...

Наивные люди, остерегайтесь Негодяя!

«Начало» № 20,
22 октября 1916 г.

4. НА ПУТЯХ К ТРЕТЬЕМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ

ПРИВЕТ Ф. МЕРИНГУ И Р. ЛЮКСЕМБУРГ

27 февраля Францу Мерингу исполнилось 70 лет. Самый выдающийся публицист германской социал-демократии и вместе блестящий историк ее идейного и политического развития вступает в восьмой десяток в эпоху жесточайшего кризиса мирового социализма и прежде всего самой германской социал-демократии. И скажем сразу: если Меринг нам дорог и близок сейчас, то не как историк и заслуженный публицист немецкого социализма: слишком горяча почва у всех у нас под ногами, чтобы оглядываться назад и расценивать людей по их историческим заслугам; со слишком многими «заслуженными» мы, не колеблясь, порвали — не как с идейными противниками только, но как с политическими врагами. Если историк внутренних боев немецкой социал-демократии так близок нам сейчас, то потому, что в нынешнем, в сегодняшнем бою он мужественно и не колеблясь занял то место, которое мы считаем постом социалистического долга и революционной чести. Меринг с самого начала войны выступал в многочисленных статьях и речах против того торопливо скрепленного авторитетными евнухами партийных инстанций предательства, которое носит пышное название «гражданского мира». Вместе с Розой Люксембург, он издал один номер журнала «Интернационал», самое имя которого было программой и вместе вызовом партийной политике 4 августа [47]). В период ужасающего развала, отступничества одних, пассивной расслабленности других, выступление Меринга против политики «партийных инстанций» оказало незаменимую поддержку пробуждавшейся оппозиции левого крыла, которое является теперь подлинным носителем чести немецкого пролетариата.

Вместе с Мерингом в этой борьбе стояла Роза Люксембург, которая теперь, после годового заключения в тюрьме, вышла на свободу — для новой борьбы. Их обоих — Меринга и Люксембург — отделяют от нас воздвигнутые господствующими классами траншеи милитаризма. Но в той единственной борьбе, которую ведем мы — против покрытого новой кровью и новыми проклятиями классового государства, против его хозяев, защитников и восторженных рабов,— мы с Мерингом и Люксембург находимся по одну и ту же сторону траншеи, проходящей через весь капиталистический мир.

В лице Франца Меринга и Розы Люксембург мы приветствуем духовное ядро революционной немецкой оппозиции, с которой мы связаны нерасторжимым братством по оружию.

«Наше Слово» № 53,
3 марта 1916 г.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ — ГУГО ГААЗЕ

Либкнехта не было в Циммервальде,— он уже был пленником гогенцоллернской армии, прежде чем стать пленником тюрьмы, но его имя произносилось на конференции не раз. Оно вообще стало нарицательным в борьбе, раздиравшей европейский, а затем и американский социализм. Либкнехт был важнейшей нашей опорой: живым доводом, примером и образцом в критической кампании против социал-патриотизма в странах Антанты. Хотя, с другой стороны, французские и русские социал-патриоты с неподражаемым бесстыдством цитировали не раз речи Либкнехта, как доказательство преступности германского милитаризма и нравственной правоты правительства Антанты. Они и в этом отношении только подпевали капиталистической прессе.

Карла Либкнехта я знал в течение многих лет, хотя встречался с ним сравнительно редко: экспансивный, легко воспламеняющийся, он резко выделялся на фоне чинной, безличной и безразличной партийной бюрократии. Отличаясь даже внешностью своей, особенно полными губами и темными курчавыми волосами, которые делали его похожим на «инородца», хотя он был чистокровным немцем, Либкнехт всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социал-демократии, с ее внутренней размеренностью и всегдашней готовностью на компромисс. Он не был теоретиком. Он не вырабатывал самостоятельной оценки исторического развития, не занимался теоретическим

предвидением завтрашнего дня, но его неподдельный и глубоко революционный инстинкт всегда направлял его — через те или другие колебания — на правильный путь. Бебель знал Карла Либкнехта с детских лет и относился к нему до самой смерти своей как к подростку или как к юноше, — приблизительно так, как Вильгельм Либкнехт долго относился к самому Бебелю. К негодующим протестам Карла против оппортунистической политики партии или ее отдельных частей Бебель относился не без иронической симпатии, чуть сдвинув угол своего тонкого рта, но простора Карлу не давал. А слово Бебеля, почти до смерти его, сохраняло в партии решающее значение.

Либкнехт был подлинным революционером и неподдельным интернационалистом. Значительную часть времени и сил он отдавал связям и интересам, лежавшим за пределами немецкой партии. Он был тесно связан с русскими и польскими революционерами, с иными — личной дружбой, со многими — личной помощью. Через некоторое время после смерти первой своей жены он женился на русской. События русской революции заражали его чрезвычайно. Победу контр-революции он переживал вместе с нами. Он нашел, до известной степени, выход своей революционной энергии в работе среди молодежи, в анти-милитаристской пропаганде. Верхи партии относились очень недоброжелательно к этой беспокойной деятельности. Прокуратура обратила на нее свое внимание. Столкновение с немецким судом дало Либкнехту необходимый боевой закал, на ряду с возможностью отчетливее увидеть и оценить среднего немецкого партийного бюрократа, злобно огрызающегося на безумца, который угрожает нарушить мирное беспечальное житие, Либкнехт кипел и негодовал — не за себя, а за партию.

Таким встретил Либкнехт великую войну. В первый момент создавшаяся обстановка, несомненно, озадачила его. В течение нескольких недель он искал пути, — затем нашел и уже не сходил с него до конца. Он был убит на посту бойца гражданской войны — между одной баррикадой и другой — задолго до того, как успел дать революции все, что мог ей дать. Но его несравненная нравственная личность успела целиком развернуться во время войны. Его борьба против торжествующей, всемогущей, победоносной, наглой гогенцоллернской солдатчины, против лакейски - самодовольного, услужливо - подлого партийного мещанства, которое скалило на него свои клыки, останется навсегда образцом

прекрасного нравственного героизма. Имя Карла Либкнехта будет неизбежно будить отголосок в веках.

Не было в Циммервальде и Гуго Гаазе, хотя предшествовавшие конференции слухи говорили об его приезде. Конференция от этого не много потеряла, так как вряд ли Гаазе способен был дать ей что-либо сверх того, что дал Ледебур. О Гуго Гаазе нужно здесь сказать несколько слов.

Во главе умеренной социал-демократической оппозиции во время войны стал «вождь» партии, которого Бебель за несколько лет до смерти почти официально короновал в свои заместители. Гаазе был провинциальным кенигсбергским адвокатом без большого кругозора, без большого политического темперамента, но по-своему честным и преданным делу партии. Как оратор, он был сух, не оригинален, с жестким кенигсбергским произношением. Писателем Гаазе не был вовсе. В начале столетия, когда он еще проживал в Кенигсберге, он увлекался, насколько помню, кантианской философией, но, кажется, эти его увлечения не оставили печатных следов. Как и у Либкнехта, у Гаазе были довольно широкие связи с русскими революционерами: через Кенигсберг шло много конспиративных путей, по которым проникали в Россию эмигранты и нелегальная литература, и когда немецкая полиция открыла поход против революционной контрабанды (в 1903 г.), Гаазе выступил, как самый энергичный защитник русских революционеров.

Бебель облюбовал Гаазе. Старика привлекал, несомненно, идеализм Гаазе — не широкий революционный идеализм, которого у Гаазе не было, а более узкий, более личный и житейский, например, готовность во имя партийных интересов отказаться от богатой адвокатской практики в Кенигсберге, — черта, которая не столь часто встречалась среди верхов социал-демократической бюрократии. Об этой, не бог весть какой, героической готовности Гаазе пожертвовать доходной практикой ради партийной работы в Берлине Бебель — к великому смущению русских революционеров — говорил даже в своей речи на партийном съезде, кажется в Иене, настойчиво рекомендуя Гаазе на пост второго председателя центрального комитета партии. Мягкий и внимательный в личных отношениях, Гаазе в политике оставался до конца тем, чем был по природе: честной посредственностью, провинциальным демократом без теоретического кругозора и революционного темперамента. Во всяком критическом положении он склонен

был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжиданию. Немудрено, если партия независимых избрала его в свои вожди. На этом посту он и погиб.

22 мая 1922 г.
«Война и революция», т. II.

ЛЕДЕБУР — ГОФФМАН

В течение первого и второго дня после своего приезда в Берн на конференцию в Циммервальде я встретился со всеми членами немецкой делегации, прибывшей на международную социалистическую конференцию. Их было 10 человек, в том числе три депутата рейхстага и один депутат прусского ландтага.

Во главе делегации по возрасту и по популярности стоит Георг Ледебур. Он все тот же: события войны не оставили на нем внешнего отпечатка. В течение 7 лет жизни в Вене мне приходилось часто наезжать в Берлин, и почти каждый раз я встречался с Ледебуром: в рейхстаге ли, в доме Каутского или в кафе «Fürstenhof», куда Ледебур взбирался по лестнице, прихрамывая на более короткую ногу. Ледебур считался другом русских и поляков, и его называли то Ледебуровым, то Ледебургским. Впрочем, связь его с Россией и Польшей никогда не выходила за пределы чисто-парламентских интересов или личных услуг русским изгнанникам, тогда как его молодой друг Карл Либкнехт успел в течение последнего десятилетия связать себя крепкими духовными узами с молодой Россией. Ледебуру сейчас должно быть 65 лет, по крайней мере, мне вспоминается, что в 1910 или 1911 году на квартире у Каутского чествовали его 60-летие; там присутствовал и Август Бебель, который вступил уже тогда в восьмой десяток. Это был период, когда партия достигла своей кульминации. Ее организация, ее пресса, ее кассы достигли небывалого расцвета. Тактическое единство казалось более полным, чем когда бы то ни было. Старики автоматически регистрировали успехи и без опасения глядели на будущее. Виновник торжества, Ледебур, рисовал за ужином карикатуры и встречал общее признание. У него несомненно дар карикатуриста, — вообще, ирония, желчь составляют важную составную часть его темперамента, который, по старой классификации, надо признать холерическим, даже в высшей степени... После того праздничного ужина седых голов прошло пять лет, — какие перемены принесло это время и какие, еще более колоссальные, оно таит во чреве своем!..

Ледебур перешел в социал-демократию вместе с Францем Мерингом из рядов демократической журналистики, но в рабочей партии он был несравненно более деятелен в качестве парламентария, чем в качестве журналиста. В парламенте Ледебур добивался нередко очень больших эффектов, — в тех случаях, когда ему не приходилось связывать себя соображениями «высокой» политики, а, отдаваясь своей природной желчи, атаковать и бичевать противника. Он часто вызывал негодующие возгласы с мест; либералы ненавидели его, пожалуй, более, чем консерваторы, — и он платил им сарказмами, которые бросал с гримасой презрения на тонком лице, бритом и подвижном, как у актера.

Мало изменился и Адольф Гоффман, тоже один из стариков, с красивой копной тончайшей седой паутины на голове и с рошфоровским складом лица. Гоффман, старый член рейхстага, провалился на последних выборах и остался только членом прусского ландтага, где он и во время войны продолжает — рука об руку с Либкнехтом — свою борьбу против «пруссачества», т.-е. крепостнического засилия. Гоффман всегда числился крайним левым. Много лет тому назад он сочинил 10 заповедей социал-демократа, и с того времени за ним укрепилось прозвище «der Zehngebote-Hoffman». Это народный оратор, с резким голосом, резкими жестами и обильным запасом шуток и прибауток, которые нередко очень больно задевают. Он держится того убеждения, что честный демократ, прежде чем собираться в поход против чужестранных «милитаризмов», должен покончить с реакцией в *собственной* стране. Гоффман сейчас радикальнее Ледебура и крайне недоволен тем, что оппозиционная часть социал-демократической фракции в рейхстаге *воздерживается* при голосовании военных кредитов, вместо того чтобы открыто голосовать *против*.

Отношения в партии между «патриотическим» большинством и левым крылом обострились до последней степени. Это уже не теоретические и не второстепенные тактические разногласия, а противоречие по отношению к основному факту, которым теперь живет или в котором захлебывается человечество. Нет таких мер, к которым не прибегали бы с.-д. Зюдекумы и Шейдеманы [48]), чтобы зажать рот своим оппонентам. И чем больше они теряют почву под ногами в массах, чем больше вынуждены опираться на правительственный аппарат, тем ожесточеннее становятся конфликты в партии... Ледебур рассказывает о том заседании рейхстага, когда он протестовал против репрессивных мер немец-

ких военных властей по отношению к мирному населению. Шейдеман, как известно, тогда дезавуировал Ледебура.

— Но вы думаете, — говорит Ледебур, — что эти люди созвали заседание нашей фракции, чтобы судить и осудить меня? Ничего подобного! Во время «скандала», который вызвали в парламенте мои слова, Шейдеман просто подошел к правительственному столу, пошушукался с министрами, — не с фракцией, а с министрами! — и заявил при общих аплодисментах рейхстага, что я не уполномочен был критиковать действия военных властей. Таковы методы этих субъектов!

— И вы все же не решаетесь в рейхстаге открыто голосовать против них! — восклицает из своего угла другой немецкий делегат, крайний левый.

Завязывается тактический спор. Ледебур пытается доказать, что тактика воздержания, как более осторожная, не ведущая к открытому нарушению дисциплины, легче может завоевать большинство фракции: «в начале войны нас было 14, теперь нас 36».

— Но вы забываете, — возражает Гоффман, — о том впечатлении, какое ваше поведение производит на массы. Если полумеры и полурешения всегда плохи, то в силу таких событий, от которых зависит судьба нашего политического развития на многие годы, они совершенно недопустимы. Масса требует ясных, открытых, мужественных ответов, *за* или *против* войны. И ей нужно этот ответ дать...

Я не могу, к сожалению, назвать имена остальных членов делегации, так как это значило бы открыть их нападению немецкой полиции. Что касается Ледебура и Гоффмана, то они сами себя «изобличили» — с полным разумением всех последствий, — подписав своими именами выработанный Циммервальдской конференцией манифест. Но остальная часть немецкой делегации осталась и должна оставаться безыменной: ее можно характеризовать только общими чертами.

В делегации, представляющей левую часть официальной немецкой социал-демократии, было опять-таки свое левое крыло. В Германии идейное выражение этому течению давали два издания: маленький пропагандистский журнальчик Юлиуса Борхарта «Lichtstrahlen» («Лучи Света»), формально очень непримиримый, но по форме очень сдержанный и политически мало влиятельный, и «Die Internationale», орган Р. Люксембург и и Ф. Меринга, впрочем, не орган, а всего один номер, боевой

и яркий, вслед за которым последовало закрытие журнала. К группе «Internationale» примыкают такие влиятельные элементы немецкой левой, как Либкнехт и Цеткин [49]). Не менее трех делегатов являлись сторонниками группы Люксембург — Меринга. Один примыкал к журналу «Lichtstrahlen». Из остальных делегатов два депутата рейхстага в общем и целом стояли за Ледебуром, два других — не имели определенной физиономии. Гоффман, как мы уже сказали, «крайний» левый, но он человек старого закала, а молодое поколение левых ищет новых путей.

«Киевская Мысль» № 296,
25 октября 1915 г.

X. РАКОВСКИЙ И В. КОЛАРОВ

В помещении редакции «Berner Tagwacht» («Бернская Стража») я застал интернациональное общество совершенно необычайного для нынешнего времени состава. Здесь были два берлинских редактора, одна деятельница женского рабочего движения из Штуттгарта, два французских синдикалиста — секретарь союза металлистов Мерргейм и союза бондарей Бурдерон, — доктор Раковский из Бухареста, один поляк и один швейцарец. Это были первые делегаты, прибывшие на конференцию. Гримма [50]) не было, — он совершал небольшое агитационное путешествие по своему округу и должен был вернуться к вечеру. Моргари [51]) находился в Лондоне, и от него ждали с часу на час телеграммы о выезде англичан.

В лице Раковского я встретил старого знакомого. Христю Раковский — одна из наиболее «интернациональных» фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, но румынский подданный, французский врач по образованию, но русский интеллигент по связям, симпатиям и литературной работе (за подписью X. Инсарова он опубликовал на русском языке ряд журнальных статей и книгу о третьей республике), Раковский владеет всеми балканскими языками и тремя европейскими, активно участвовал во внутренней жизни четырех социалистических партий — болгарской, русской, французской и румынской — и теперь стоит во главе последней.

Политика молодой румынской социалистической партии в эту эпоху войны была до известной степени параллельна политике

итальянской партии. Отстаивая нейтралитет, румынские социалисты встречают горячие похвалы или столь же горячие порицания со стороны немцев и французов — в зависимости от того, в какую сторону клонило бухарестское правительство и против какого уклона направляли в данный момент свои удары социалистические «нейтралисты». Зюдекум приезжал прошлой осенью в Бухарест, чтобы «воодушевить» румынских социалистов к сопротивлению против вмешательства в войну на стороне держав Согласия. Его содействие было, однако, отклонено. Но, с другой стороны, когда бывший депутат Шарль Дюма, нынешний шеф кабинета Жюля Геда, обратился в мае этого года к своему старому другу Раковскому с письмом, развивающим официальную французскую точку зрения на войну, Раковский ответил ему целой политической брошюрой, мягкой по тону, но очень решительной по существу («Les socialistes et la guerre» («Социалисты и война»), Boucarest, 1915 г.). В этой брошюре он развивает ту мысль, что между официальной тактикой французской и немецкой партий нет принципиальной разницы, но что внутри каждой из этих национальных партий вырисовываются две непримиримые концепции: «Мы имеем пред собою не две тактики, а два социализма. Такова истина».

— Будете ли воевать?

— Спросите об этом у болгар, — отвечает нам Раковский. — Наше правительство пока что держится за нейтралитет. Но есть слишком много оснований полагать, что вмешательство Болгарии выбьет неустойчивую доску нейтралитета из-под ног министерства Братиану.

(Напоминаем читателю, что этот разговор происходил в начале сентября 1915 г.)

— Будете ли вы воевать? — обратился я к прибывшему на другой день одному из главных руководителей партии «тесняков», депутату болгарского народного собрания Василию Коларову [52]), филиппопольскому адвокату, резервному офицеру, награжденному в свое время за кампанию против турок орденом за храбрость.

— Будем! — ответил он, почти не задумываясь. — Нейтралитет Радославова [53]) имеет чисто-выжидательный характер. Вопрос о судьбе Константинополя, как он был поставлен Согласием, оказал решительное влияние на общее направление болгарской политики. А, с другой стороны, военные неудачи России

сильно укрепили наших германофилов, преемников стамбуловских традиций...

— Это, во всяком случае, значит, что вы будете воевать на стороне Германии?

— Несомненно. А разве вы в этом сомневались?

— Французская пресса деятельно поддерживает на этот счет иллюзии в общественном мнении... Какова же будет в этом случае тактика вашей партии?

— Мы, социалисты-«тесняки» [54]), будем до конца бороться против вмешательства, а затем и против самой войны. Но непосредственного практического успеха от нашего противодействия мы ожидать не можем.

— А «широкие» социалисты?

— Они более или менее тесно примыкают к руссофильскому блоку. Но я не сомневаюсь, что как только Радославов сорвет последний покров со своей политики и поставит страну перед совершившимся фактом военного вмешательства, «широкие» социалисты, как и буржуазные руссофильские партии, прикрываясь национальными интересами, невозможностью вносить раскол в такой трагический момент и проч., и проч., фактически склонятся пред политикой Радославова. Правительственная пресса обрабатывает в этом смысле общественное мнение изо дня в день.

— Кстати, известно ли вам, — продолжает наш собеседник, — что царь Фердинанд заигрывает в последнее время с «широкими» социалистами? На курорте он встретился с одним из их лидеров и горько жаловался на то, что социалисты ему не доверяют, тогда как он в душе своей почти целиком с ними. В органе «демократа» Малинова царя Фердинанда уже называли, с ревнивой и подозрительной иронией, зенценосным социалистом.

Предвидения моего проницательного собеседника — сейчас он уже, вероятно, в рядах действующей болгарской армии, — оправдались целиком. Едва Коларов успел доехать к себе в Пловдив, как Болгария объявила мобилизацию. «Широкие» социалисты, в качестве патриотов, обещали че чинить Радославову никаких затруднений. «Тесняки» продолжали вести свою линию до конца. В последнем, дошедшем до меня, номере их органа «Работнический Вестник» следующим образом характеризуются те условия, в какие поставлена их борьба против авантюры болгарского правительства: «Наши собрания не допускаются, наши

воззвания и афиши конфискуются, ораторы и агитаторы разгоняются, избиваются и арестовываются, телеграммы в нашу газету с выражением протеста против националистического авантюризма и с требованием мира задерживаются»...

Раковский и Коларов прибыли на конференцию не только в качестве делегатов румынской и болгарской рабочих партий, но и как представители балканской социал-демократической федерации, созданной на обще-балканской конференции, которая состоялась нынешним летом в Бухаресте [55]). Знаменем объединившихся молодых балканских рабочих партий является демократическая федерация всех государств Балканского полуострова, связанных общностью экономических условий и исторических судеб. Эту программу балканские социалисты выдвинули во время двух последних балканских войн. Сейчас они, более чем когда бы то ни было, убеждены в том, что только в республиканской федерации — спасение балканских народов. Но к этой цели история не проложила прямого пути. Кровавый европейский водоворот вовлекает и балканские нации. К неизбежному объединению они идут чрез взаимоистребление. Сколько глашатаев балканской федерации пало в войнах последних лет! Самым тяжким ударом для сербской и всей балканской социал-демократии явилась гибель в этой войне Дмитрия Туцовича [56]), одной из самых благородных и героических фигур сербского рабочего движения...

«Киевская Мысль» № 294,
23 октября 1915 г.

ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЕА

Наша румынская партия праздновала 18 мая сорокалетие революционной деятельности своего основателя и идейного вдохновителя тов. К. Гереа. Русский революционер-семидесятник «мимоходом» остановился в Румынии накануне русско-турецкой войны, — и уже через несколько лет наш соотечественник, под именем Гереа, завоевал огромное влияние сперва на румынскую интеллигенцию, а затем на передовых рабочих. Литературная критика на социальной основе была главной областью, в которой Гереа, писатель «божьей милостью», формировал сознание передовых групп румынской интеллигенции. От вопросов эстетики и личной морали он вел к научному социализму. Правда, эпоха

интеллигентского социализма закончилась в Румынии более жестоким крахом, чем где бы то ни было. Среди румынских министров, дипломатов, префектов можно найти немало таких, которые у Гереа учились азбуке политического мышления. К счастью, однако, не они одни. С 90-х годов через марксистскую школу Гереа проходит первое поколение румынских рабочих-социалистов. Они становятся инициаторами — вместе с Гереа и Раковским—создания новой, рабочей социалистической партии в эпоху русской революции.

В 1908 г., после бурного восстания румынских крестьян [57]), Гереа публикует свою книгу «Ново-крепостничество», главный труд своей жизни.

Все противоречия социальной и политической жизни Румынии: кабальная зависимость крестьян, юридически отмененная, но фактически восстановленная логикой экономических отношений; парламентарный режим на азиатски-аграрной основе; «английские» свободы для городов, старо-турецкий произвол в деревнях, — все эти явления подвергнуты в большом труде Гереа поистине мастерскому анализу, в котором ясность и простота идут рука об руку с подлинной марксистской глубиной. Перевод этой книги на русский язык явился бы ценным вкладом в литературу русского социализма.

В эпоху балканской войны, как и теперь, Гереа вел и ведет непримиримую борьбу против посягательств румынского империализма за обще-балканскую демократическую федерацию. Он выковывал и оттачивал то оружие, которым румынские рабочие сражались и сражаются против патриотических поджигателей и отравителей. Со своим ясным, спокойно проницательным умом он остается незаменимым теоретическим советником румынского пролетариата. Пожимая руку нашего старшего друга, мы горячо желаем ему сил и здоровья для дальнейшей борьбы. О бодрости и вере в будущее мы не говорим, ибо в этих качествах у Гереа недостатка нет.

«Наше Слово» № 100,
29 мая 1915 г.

5. МУЧЕНИКИ ТРЕТЬЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

КАРЛ ЛИБКНЕХТ И РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ *)

Мы понесли сразу две тяжких потери, которые сливаются в одну величайшую утрату. Из наших рядов выбиты два вождя, имена которых навсегда занесены в великую книгу пролетарской революции: Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Они погибли. Они убиты. Их больше с нами нет!

Имя Карла Либкнехта, известное и ранее, получило сразу мировое значение с первых месяцев страшной европейской бойни. Оно прозвучало, как имя революционной чести, как залог грядущей победы. В те первые недели, когда германский милитаризм справлял свои первые оргии, праздновал свои первые бешеные победы; в те недели, когда немецкие полки наступали через Бельгию, сметая, как карточные домики, бельгийские крепости; когда немецкие пушки в 420 миллиметров, казалось, угрожали поработить и подчинить Вильгельму всю Европу; в те дни и недели, когда официальная германская социал-демократия, во главе со своим Шейдеманом и своим Эбертом [58]), склонила патриотические колени перед германским милитаризмом, которому — тогда казалось — покорялось все: и внешний мир — растоптанная Бельгия, Франция с ее захваченным немцами севером, — и внутренний мир: не только германское юнкерство, не только германская буржуазия, не только шовинистическое мещанство, но и официально признанная партия немецкого рабочего класса — в те черные, страшные, подлые дни раздался в Германии мятежный голос протеста, возмущения, проклятия — то был голос Карла Либкнехта. И он прозвучал на весь мир!

---

*) Речь, произнесенная на заседании Петроградского Совета 18 января 1919 г. *Ред.*

Во Франции, где настроение широких масс находилось тогда под гнетом германского нашествия; где правящая партия французских социал-патриотов возвещала пролетариату необходимость борьбы не на жизнь, а на смерть, — как же иначе, раз в Германии «весь народ» стремится захватить Париж! — даже во Франции голос Либкнехта прозвучал предостерегающе и отрезвляюще, разрывая преграды лжи, клеветы и паники. Чувствовалось, что одинокий Либкнехт отражает задушенную массу.

Он, впрочем, на самом деле и тогда уже не был одинок, ибо рука об руку с ним с первого дня войны выступала мужественная, непоколебимая, героическая Роза Люксембург. Бесправие германского буржуазного парламентаризма не давало ей возможности свой протест бросить с парламентской трибуны, как сделал Либкнехт, — оттого ее меньше было слышно. Но доля ее в пробуждении лучших элементов германского рабочего класса никак не меньше доли ее соратника в борьбе и в смерти, Карла Либкнехта. Эти два борца, столь различные по натуре и столь близкие в то же время, дополняли друг друга, шли неуклонно к общей цели, нашли одновременно смерть и совместно входят в историю.

Карл Либкнехт представлял собой подлинное и законченное воплощение несгибаемого революционера. Вокруг его имени создавались за последние дни и месяцы его жизни неисчислимые легенды, бессмысленно злобные — через буржуазную печать, героические — в молве рабочих масс.

В личной жизни Карл Либкнехт был, — увы, уже только *был*! — воплощением доброты, простоты и братства. Впервые я встретился с ним свыше пятнадцати лет тому назад. Это был обаятельный человек, внимательный и участливый. Можно сказать, что его характеру свойственна была почти женственная мягкость, в лучшем смысле этого слова. А на ряду с этой женственной мягкостью его отличал исключительный закал революционной воли, способность бороться во имя того, что он считал правдой и истиной, до последней капли крови. Его духовная самостоятельность проявлялась уже в молодости, когда он отваживался не раз отстаивать свое мнение против непререкаемого бебелевского авторитета. Большим мужеством отличалась его работа среди молодежи, его борьба против гогенцоллернской военщины. Наконец, подлинную меру свою он обнаружил, когда

возвысил свой голос против сплоченной воинствующей буржуазии и предательской социал-демократии в германском рейхстаге, где вся атмосфера была насыщена миазмами шовинизма. Полную меру своей личности он обнаружил, будучи солдатом, когда на Потсдамской площади Берлина он поднял знамя открытого восстания против буржуазии и ее милитаризма. Либкнехт был арестован. Тюрьма и каторга не сломили его духа. В своей камере он ждал и уверенно предвидел. Освобожденный революцией в ноябре прошлого года, Либкнехт сразу стал во главе лучших, наиболее решительных элементов германского рабочего класса. Спартак оказался в рядах спартаковцев и погиб с их знаменем в руках.

* * *

Имя Розы Люксембург менее известно в других странах, да и у нас, в России. Но можно сказать с полной уверенностью, что это была фигура отнюдь не меньшая, чем Карл Либкнехт. Маленького роста, хрупкая, болезненная, с благородным очерком лица, с прекрасными глазами, излучавшими ум, она поражала мужеством своей мысли. Методом марксизма она владела, как органами своего тела. Можно сказать, что марксизм вошел к ней в кровь.

Я сказал, что эти два вождя, столь разные по природе, дополняли друг друга. Я хочу это подчеркнуть и пояснить. Если несгибаемому революционеру, Либкнехту, была свойственна женственная мягкость в личном обиходе, то этой хрупкой женщине была свойственна мужественная сила мысли. Фердинанд Лассаль когда-то говорил о физической силе мысли, о том повелительном ее напряжении, когда она как бы преодолевает материальные препятствия на своем пути. Вот такое именно впечатление вы получали, беседуя с Розой, читая ее статьи, или слушая ее, когда она говорила с трибуны против своих врагов. А у нее было много врагов! Помню, как на партейтаге, кажется, в Иене, ее высокий, напряженный, как струна, голос прорезывал бурные протесты баварских, баденских и иных оппортунистов. Как они ненавидели ее! И как она их презирала! Маленького роста и хрупкого сложения, она возвышалась на трибуне съезда, как воплощенная мысль пролетарской революции. Силой своей логики, могуществом своего сарказма она заставляла молчать самых заклятых своих противников. Роза умела ненавидеть врагов пролетариата

и именно поэтому умела возбуждать их ненависть к себе. Она была отмечена ими заранее.

С первого дня, нет, с первого часа войны Роза Люксембург открыла кампанию против шовинизма, против патриотического блудословия, против шатаний Каутского и Гаазе, против центристской бесформенности — за революционную самостоятельность пролетариата, за интернационализм, за пролетарскую революцию.

Да, они дополняли друг друга!

Силою теоретической мысли, способностью обобщения Роза Люксембург на целую голову превосходила не только противников, но и соратников. Это была гениальная женщина. Ее стиль — напряженный, точный, сверкающий, беспощадный — был и останется навсегда верным зеркалом ее мысли.

Либкнехт не был теоретиком. Это был человек непосредственного действия. Натура импульсивная, страстная, он обладал исключительной политической интуицией, чутьем массы и обстановки, наконец, несравненным мужеством революционной инициативы.

Анализа внутренней и международной обстановки, в какой оказалась Германия после 9 ноября 1918 г. [59]), равно как и революционного прогноза можно и должно было ждать прежде всего от Розы Люксембург. Призыв к непосредственному действию, и — в известный момент — к вооруженному восстанию исходил бы, вероятно, прежде всего от Либкнехта. Они, эти два борца, как нельзя лучше дополняли друг друга.

Едва Люксембург и Либкнехт вышли из тюрьмы, как они взяли друг друга за руки, этот неутомимый революционер и эта несгибаемая революционерка, и пошли вместе, во главе лучших элементов германского рабочего класса, — навстречу новым боям и испытаниям пролетарской революции. И на первых шагах этого пути предательский удар сразил обоих в один и тот же день.

* * *

Поистине реакция не могла выбрать более достойных жертв. Какой меткий удар! И немудрено: реакция и революция хорошо знали друг друга, ибо реакция воплотилась на этот раз в лице бывших вождей бывшей партии рабочего класса, Шейдемана и Эберта, имена которых останутся навсегда записанными в чер-

ную книгу истории, как позорные имена ответственных организаторов этого предательского убийства.

Правда, мы получили официальное германское сообщение, которое изображает убийство Либкнехта и Люксембург, как случайность, как уличное «недоразумение», обусловленное, может быть, недостаточной бдительностью караула перед лицом разъяренной толпы. Назначено даже судебное расследование по этому поводу. Но мы с вами слишком хорошо знаем, как производится реакцией постановка такого рода «стихийных» натисков на революционных вождей; мы хорошо помним июльские дни, пережитые нами здесь, в стенах Петрограда; мы слишком хорошо помним, как черносотенные банды, призванные Керенским и Церетели для борьбы против большевиков, планомерно громили рабочих, избивали их вождей, расправлялись с отдельными рабочими на улицах. Имя рабочего Воинова, убитого в порядке «недоразумения», памятно большинству из вас. Если мы тогда сохранили Ленина, то только потому, что он не оказался в руках разъяренных черносотенных банд. Тогда находились среди меньшевиков и эсеров благочестивые люди, возмущавшиеся тем, что Ленин и Зиновьев, против которых выдвинуты обвинения в том, что они немецкие шпионы, не являются на суд, чтобы опровергнуть клевету. Им это ставилось в особую вину. На какой суд? На тот суд, по дороге к которому Ленину учинили бы «побег», как учинили его Либкнехту, и если Ленин был бы застрелен или заколот, официальное сообщение Керенского и Церетели гласило бы, что вождь большевиков при попытке побега был убит караулом. Нет, сейчас, после страшного берлинского опыта, мы имеем десятикратное основание быть довольными, что Ленин не предстал в то время на шемякин суд, а тем более — на бессудную расправу.

Но Роза и Карл не скрылись. Вражья рука держала их крепко. И эта рука задушила их. Какой удар! Какое горе! И какое предательство! Лучших вождей германской коммунистической партии больше нет, — нет в живых наших великих соратников. А их убийцы стоят под знаменем социал-демократической партии, имеющей наглость вести свою родословную не от кого другого, как от Карла Маркса! Какое извращение! Какое издевательство! Только подумайте, товарищи, что «марксистская» германская социал-демократия, руководительница Второго Интернационала, и есть та партия, которая предавала интересы

рабочего класса с первых дней войны, которая поддерживала разнузданный германский милитаризм в дни разгрома Бельгии и захвата северных провинций Франции; та партия, которая предавала Октябрьскую революцию германскому милитаризму в дни Брестского мира; та партия, вожди которой, Шейдеман и Эберт, организуют ныне черные банды для убийства героев Интернационала, Карла Либкнехта и Розы Люксембург!

Какое чудовищное историческое извращение! Оглядываясь назад, вглубь веков, находишь некоторое подобие с исторической судьбой христианства. Евангельское учение рабов, рыбаков, тружеников, угнетенных, всех придавленных рабским обществом к земле, это исторически возникшее учение бедноты было затем захвачено монополистами богатства, королями, аристократами, митрополитами, ростовщиками, патриархами, банкирами, римским папой, — и стало идейным покровом их преступлений. Нет, однако, никакого сомнения в том, что между учением первобытного христианства, каким оно вышло из сознания низов, и между официальным католицизмом или православием далеко еще нет той пропасти, как между учением Маркса, которое есть сгусток революционной мысли и революционной воли, и между теми презренными отбросами буржуазных идей, которыми сейчас живут и торгуют Шейдеманы и Эберты всех стран. Через посредство вождей социал-демократии, буржуазия сделала попытку ограбить духовное достояние пролетариата и знаменем марксизма прикрыть свою разбойничью работу. Но хочется надеяться, товарищи, что это гнусное преступление будет последним в счете Шейдеманов и Эбертов. Многое терпел пролетариат Германии со стороны тех, которые были поставлены в его главе; но этот факт не пройдет бесследно. Кровь Карла Либкнехта и Розы Люксембург вопиет. Эта кровь заставит заговорить мостовые Берлина, камни той самой Потсдамской площади, на которой Либкнехт первым поднял знамя восстания против войны и капитала. И днем раньше или позже на улицах Берлина будут из этих камней воздвигнуты баррикады против вернейших холопов и цепных собак буржуазного общества, против Шейдеманов и Эбертов!

Сейчас палачи задавили в Берлине движение спартаковцев, германских коммунистов. Они убили двух лучших вдохновителей этого движения, и, быть может, сегодня они еще празднуют победу. Но настоящей победы тут нет, потому что не было еще

прямой, открытой и полной борьбы; еще не было восстания германского пролетариата во имя завоевания политической власти. Это была только могучая рекогносцировка, глубокая разведка в лагерь расположения противника. Разведка предшествует сражению, но это еще не сражение. Германскому пролетариату необходима была эта глубокая разведка, как она необходима была нам в июльские дни. Несчастие в том, что в разведке пали два лучших военачальника. Это жестокий урон, но это не поражение. Битва еще впереди.

Смысл того, что происходит в Германии, мы поймем лучше, если оглянемся на собственный вчерашний день. Вы помните ход событий и их внутреннюю логику. В конце февраля, по старому стилю, народные массы сбросили царский трон. Первые недели настроение было такое, как будто главное уже совершено. Новые люди, которые выдвинулись из оппозиционных партий, никогда у нас не стоявших у власти, первое время пользовались доверием или полудоверием народных масс. Но это доверие стало скоро давать щели и трещины. Петроград оказался и на втором этапе революции во главе, как ему и надлежало быть. В июле, как и в феврале, он был ушедшим далеко вперед авангардом революции. И этот авангард, призывавший народные массы к открытой борьбе против буржуазии и соглашателей, тяжкой ценой заплатил за произведенную им глубокую разведку.

В июльские дни питерский авангард сшибся с правительством Керенского. Это не было еще восстание, каким мы с вами его проделали в октябре. Это была авангардная стычка, в историческом смысле которой широкие массы провинции еще не отдавали себе полного отчета. Петроградские рабочие в этом столкновении обнаружили перед народными массами не только России, но и всех стран, что за Керенским нет никакой самостоятельной армии; что те силы, которые стоят за ним, являются силами буржуазии, белой гвардии, контр-революции.

Мы тогда, в июле, потерпели поражение. Товарищ Ленин должен был скрываться. Некоторые из нас сидели в тюрьмах. Наши газеты были задушены. Петроградский Совет был взят в тиски. Типографии партии и Совета были разгромлены, рабочие здания и помещения опечатаны, всюду царил разгул черной сотни. Происходило — другими словами — то самое, что происходит теперь на улицах Берлина. И тем не менее ни у кого из подлинных революционеров не было тогда и тени сомнения



РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

в том, что июльские дни — только вступление к нашему торжеству.

Сходная обстановка сложилась за последние дни и в Германии. Как и у нас Петроград, Берлин ушел вперед от остальных народных масс; как и у нас, все враги немецкого пролетариата вопили: нельзя оставаться под диктатурой Берлина; спартаковский Берлин изолирован; нужно созвать учредительное собрание и перенести его в более здоровый провинциальный город Германии из красного Берлина, развращенного пропагандой Карла Либкнехта и Розы Люксембург! — Все то, что врагами было проделано у нас, вся злостная агитация, вся низменная клевета, какую мы слышали здесь, все это — в переводе на немецкий язык — Шейдеманы и Эберты фабриковали и распространяли в Германии по адресу берлинского пролетариата и его вождей — Либкнехта и Люксембург. Правда, разведка берлинского пролетариата развернулась шире и глубже, чем у нас в июле, жертв там больше, потери значительнее, — все это верно. Но это объясняется тем, что германцы проделывают историю, которую мы один раз уже проделали; их буржуазия и военщина умудрены нашим июльским и октябрьским опытом. А главное, классовые отношения у них несравненно более определенные, чем у нас; имущие классы несравненно сплоченнее, умнее, активнее, а значит и беспощаднее.

У нас, товарищи, между февральской революцией и июльскими днями прошло четыре месяца; четверть года понадобилась пролетариату Петрограда, чтобы почувствовать неотразимую потребность выйти на улицу и попробовать потрясти колонны, на которые опирался государственный храм Керенского и Церетели. После поражения июльских дней прошло снова четыре месяца, пока тяжелые резервы провинции подтянулись к Петрограду, и мы могли с уверенностью в победе объявить прямое наступление на твердыни частной собственности в октябре 1917 г.

В Германии, где первая революция, свалившая монархию, разыгралась лишь в начале ноября, в начале января уже происходят наши июльские дни. Не означает ли это, что немецкий пролетариат в своей революции живет по сокращенному календарю? Там, где нам нужно было четыре месяца, ему нужно два. И можно надеяться, что этот же масштаб сохранится и дальше. Может быть, от немецких июльских дней до немецкого Октября пройдет не четыре месяца, как у нас, а меньше — может быть, окажется

достаточным двух месяцев, и даже менее того. Но как бы ни пошли дальше события, одно несомненно: те выстрелы, которые посланы были в спину Карлу Либкнехту, могучим эхом отдались во всей Германии. И это эхо похоронным звоном прозвучало в ушах Шейдеманов и Эбертов, германских и иных.

* * *

Здесь, вот, пели реквием Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Вожди погибли. Живыми мы их не увидим никогда. Но многие ли из вас, товарищи, видали их когда-либо живыми? Ничтожное меньшинство. И тем не менее, Карл Либкнехт и Роза Люксембург неотлучно жили среди вас последние месяцы и годы. На собраниях, на съездах вы выбирали Карла Либкнехта почетным председателем. Его самого здесь не было, ему не удалось попасть в Россию, — и все же он присутствовал в вашей среде, сидел, как почетный гость, за вашим столом, как свой, как близкий, как родной, — ибо имя его стало не простым названием отдельного человека, — нет, оно стало для нас обозначением всего лучшего, мужественного, благородного, что есть в рабочем классе. Когда любому из нас нужно было представить себе человека, беззаветно преданного угнетенным, закаленного с ног до головы, человека, который не склонял никогда знамени перед врагом, мы сразу называли Карла Либкнехта. Он навсегда вошел в сознание и память народов героизмом действия. В остервенелом лагере врагов, когда победоносный милитаризм все смял и подавил, когда все, кому надлежало протестовать, молчали, когда, казалось, нигде не было отдушины, — он, Либкнехт, возвысил свой голос борца. Он сказал: вы, правящие насильники, военные мясники, захватчики, вы, услужающие лакеи, соглашатели, вы топчете Бельгию, вы громите Францию, вы весь мир хотите задавить, вы думаете, что нет на вас управы, — а я вам заявляю: мы, немногие, не боимся вас, мы объявляем вам войну, и, пробудив массы, мы эту войну доведем до конца! — Вот эта отвага решения, вот этот героизм действия делают для мирового пролетариата образ Либкнехта незабвенным.

А рядом с ним стоит Роза, по духу равная ему воительница мирового пролетариата. Их трагическая смерть — на боевых постах — сочетает их имена особой, навеки несокрушимой связью. Отныне они всегда будут называться рядом: Карл и Роза, Либкнехт и Люксембург!

Вы знаете, на чем основаны легенды о святых, об их вечной жизни? На потребности людей сохранить память о тех, которые стояли во главе их, которые так или иначе руководили ими; на стремлении увековечить личность вождей в ореоле святости. Нам, товарищи, не нужно легенд, не нужно превращения наших героев в святых. Нам достаточно той действительности, в которой мы живем сейчас, ибо эта действительность сама по себе легендарна. Она пробуждает чудодейственные силы в душе массы и ее вождей, она создает прекрасные образы, которые возвышаются над всем человечеством.

Карл Либкнехт и Роза Люксембург — такие вечные образы. Мы ощущаем их присутствие среди нас с поразительной, почти физической непосредственностью. В этот трагический час мы объединяемся духом с лучшими рабочими Германии и всего мира, повергнутыми страшной вестью в скорбь и траур. Мы здесь испытываем остроту и горесть удара наравне с нашими немецкими братьями. В скорби и трауре мы так же интернациональны, как и во всей нашей борьбе.

Либкнехт для нас не только немецкий вождь. Роза Люксембург для нас не только польская социалистка, которая встала во главе немецких рабочих. Нет, они оба для мирового пролетариата свои, родные, с ними мы все связаны духовной, нерасторжимой связью. Они принадлежали до последнего издыхания не нации, а Интернационалу!

* * *

К сведению русских рабочих и работниц надо сказать, что Либкнехт и Люксембург стояли особенно близко к русскому революционному пролетариату и притом в самые трудные времена. Квартира Либкнехта была штаб-квартирой русских эмигрантов в Берлине. Когда надо было в немецком парламенте или в немецкой печати поднять голос протеста против тех услуг, которые германские властители оказывали русской реакции, мы обращались прежде всего к Карлу Либкнехту, и он стучался во все двери и во все черепа, в том числе и в черепа Шейдемана и Эберта, чтобы заставить их протестовать против преступлений германского правительства. И мы неизменно обращались к Либкнехту, когда нужно было кому-либо из товарищей оказать материальную поддержку. Либкнехт был неутомим на службе Красного Креста русской революции.

На уже упомянутом съезде германской социал-демократии в Иене, где я присутствовал в качестве гостя, мне, по инициативе Либкнехта, предложено было президиумом выступить по поводу внесенной тем же Либкнехтом резолюции, клеймящей насилие царского правительства над Финляндией. Либкнехт с величайшей тщательностью готовился к собственному выступлению, собирал цифры, факты, подробно расспрашивал меня о таможенных взаимоотношениях между царской Россией и Финляндией. Но прежде чем дело дошло до выступления (я должен был говорить после Либкнехта), получилось телеграфное сообщение о киевском покушении на Столыпина. Телеграмма эта произвела на съезд большое впечатление. Первый вопрос, который возник у руководителей, был таков: удобно ли русскому революционеру выступать на немецком съезде в то время, как какой-то другой русский революционер совершил покушение на русского министра-президента? Эта мысль овладела даже Бебелем: старик, тремя головами выше остальных членов форштанда (ЦК), не любил все же «лишних» затруднений. Он сейчас же разыскал меня и подверг расспросам: что означает покушение? какая партия за него может быть ответственна? не думаю ли я, что в этих условиях своим выступлением обращу на себя внимание немецкой полиции? — Вы опасаетесь, — спросил я осторожно старика, — что мое выступление может вызвать известные затруднения? — Да, — ответил мне Бебель, — признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали. — Разумеется, — ответил я, — в таком случае не может быть и речи о моем выступлении. — На этом мы расстались.

Через минуту ко мне буквально-таки подбежал Либкнехт. Он был взволнован до последней степени. — Верно ли, что они вам предложили не выступать? — спросил он меня. — Да, — ответил я, — только что я условился на этот счет с Бебелем. — И вы согласились? — Как же я мог не согласиться, — ответил я, оправдываясь, — ведь я здесь не хозяин, а гость. — Это возмутительно со стороны нашего президиума, это позорно, это неслыханный скандал, это презренная трусость! — и пр. и пр. Своему негодованию Либкнехт дал исход в своей речи, где он нещадно громил царское правительство, наперекор закулисному предупреждению президиума, уговаривавшего его не создавать «лишних» осложнений в виде оскорбления царского величества.



КАРЛ ЛИБКНЕХТ

Роза Люксембург с молодых годов стояла во главе той польской социал-демократии, которая теперь, вместе с так называемой левицей, т.-е. революционной частью польской социалистической партии, объединилась в коммунистическую партию. Роза Люксембург прекрасно говорила по-русски, глубоко знала русскую литературу, следила изо дня в день за русской политической жизнью, связана была теснейшими узами с русскими революционерами и любовно освещала в немецкой печати революционные шаги русского пролетариата. На своей второй родине, Германии, Роза Люксембург, со свойственным ей талантом, овладела в совершенстве не только немецким языком, но и законченным знанием немецкой политической жизни и заняла одно из самых выдающихся мест в старой, бебелевской социал-демократии. Там она неизменно оставалась на крайнем левом крыле.

В 1905 году Карл Либкнехт и Роза Люксембург жили, в подлинном смысле слова, событиями русской революции. Роза Люксембург покинула в 1905 году Берлин для Варшавы, — не как полька, а как революционерка. Освобожденная из варшавской цитадели на поруки она нелегально приезжала в 1906 году в Петроград, где посещала, под чужим именем, в тюрьме некоторых из своих друзей. Вернувшись в Берлин, она удвоила борьбу против оппортунизма, противопоставляя ему пути и методы русской революции.

Вместе с Розой мы пережили величайшее несчастье, какое обрушилось на рабочий класс: я говорю о постыдном банкротстве Второго Интернационала в августе 1914 года [60]). Вместе с нею мы поднимали знамя Третьего Интернационала. И сейчас, товарищи, в той работе, которую мы совершаем изо дня в день. мы остаемся верны заветам Карла Либкнехта и Розы Люксембург; строим ли здесь, в еще холодном и голодном Петрограде, здание социалистического государства, — мы действуем в духе Либкнехта и Люксембург; подвигается ли наша армия на фронтах, — она кровью своей защищает заветы Либкнехта и Люксембург. Как горько, что она не могла защитить их самих!

В Германии Красной армии нет, ибо власть там еще в руках врагов. У нас армия уже есть, она крепнет и растет. А в ожидании того, когда под знаменами Карла и Розы сплотится армия германского пролетариата, каждый из нас сочтет своим долгом довести до сведения нашей Красной армии, чем были Либкнехт и Люксембург, за что погибли, почему память их должна остаться

священной для каждого красноармейца, для каждого рабочего и крестьянина.

Нестерпимо тяжек нанесенный нам удар. Но мы глядим вперед не только с надеждой, но и с уверенностью. Несмотря на то, что в Германии сейчас прилив реакции, мы ни на минуту не теряем уверенности в том, что там близок красный Октябрь. Великие борцы погибли не даром. Их смерть будет отомщена. Их тени получат удовлетворение. Обращаясь к этим дорогим теням, мы можем сказать: «Роза Люксембург и Карл Либкнехт, вас уже нет в кругу живущих; но вы присутствуете среди нас; мы ощущаем ваш могучий дух; мы будем бороться под вашим знаменем; наши боевые ряды будут овеяны вашим нравственным обаянием! И каждый из нас клянется, если придет час, и потребует революция — погибнуть, не дрогнув, под тем же знаменем, под которым погибли вы, друзья и соратники, Роза Люксембург и Карл Либкнехт!»

Архив 1919 г.

II

Революция и контр-революция в России

1. ЛИЦО ЦАРСКОЙ РОССИИ

ГРАФ ВИТТЕ

(Страничка из истории бюрократической культуры)

«У Остермана, говорят, три бога: немецкий, русский и турецкий. Сначала он помолится немецкому богу, потом — русскому, потом — турецкому, а выйдет из молельной, — всех их и обманет».

(Писемский. «Поручик Гладков».)

«Туда вильнул, сюда вильнул — и цел».

Островский. «Василиса Мелентьева».

Остерман, впрочем, не уцелел, и многочисленные русские «туристы» могут в далеком холодном и голодном Березове видеть бедный деревянный крест на могиле сановника, который молился трем богам. Но теперь времена другие, и граф Витте может спокойно доживать свой век...

Почему же, однако, граф так изволит утруждать себя? Во имя чего он себя обеспокоивает? То произнесет в государственном совете полную тревоги речь в защиту «прерогатив», против дерзновенных посягательств нынешнего министерства; то поручит сообщить Европе и Америке, что он, граф Витте, как был, так и остается не только против «парламентов», «конституций», «дебатов», но и против «аргументов».

— Но ведь, кажется, вы же сами, ваше сиятельство... — почтительнейше недоумевает человек для американских поручений.

— Оставим это пока. Тут вопрос для историков будущего... Но я все это предвидел.

Граф Витте всегда и все «предвидел». Это единственная счастливая черта, которую он пронес через все свои перевоплощения. И когда события выбрасывали его из канцелярии, поднимали на своей волне вверх и затем беспощадно бросали навзничь, он выжидал первой передышки, чтобы поманить пальцем одного из своих телеграфистов и заявить ему: «Я все это предвидел»... Gouverner c'est prévoir. (Управлять, значит предвидеть.) Но зачем же все-таки навзничь?

Однажды даже старик Суворин [61]) не утерпел и сказал сердитое слово. «Мне кажется, — писал он в декабре 1905 года, — что гр. Витте сам себя не понимает. Он думает, что он — гений. Ему об этом твердили так часто иностранные газеты, что он поверил и стал поступать совсем не как гений, а как самый обыкновенный бюрократ, влюбившийся в себя».

На самом деле вовсе не нужно дожидаться историков будущего, чтобы самым несомненнейшим образом убедиться в том, что гр. Витте никогда и ничего *большого* не предвидел и всегда оказывался жалкой игрушкой тех сил, которые, как ему казалось, он по своей воле создавал. Его преимущества состояли не в том, что он предугадывал будущее, а в том, что он ничем не был связан в прошлом: ни программой, ни нравственными обязательствами, ни происхождением. Удачливый плебей среди родовитых рядов высшего сановничества, недоступный, как и все оно, влиянию общих политических или моральных принципов, Витте имел пред своими соперниками неоценимые преимущества выскочки, не связанного никакими родословно-кастовыми традициями. Это позволило ему развиться в идеальный тип бюрократа — без национальности, без отечества, но с огромной ловкостью рук. Среди закоснелых егермейстеров он казался себе и бирже государственным гением...

Граф недаром напоминал в последнем интервью, что он служил самому самодержавному из российских императоров — Александру III [62]). Его «служение» было насквозь проникнуто воззрениями самого черного фискального византийства. В своем первом всеподданнейшем отчете (на 1893 г.) гр. Витте утверждал, что в России, по особым историческим условиям ее государственного сложения и развития, «финансовое хозяйство не может замкнуться в строго определенных рамках, предустанавли-

ваемых потребностями государственными в общепринятом (!) значении этого слова». И отстаивая этот московско-вотчинный взгляд на достояние государства, гр. Витте не имел никакого понятия о том, что его собственная грюндерско-биржевая политика порождает неотразимую потребность в установлении парламентарного бюджета. И судьба захотела впоследствии именно гр. Витте сделать вестником первой капитуляции вотчинно-византийской государственности пред государственностью европейски-буржуазной. Он принял это поручение — его ничто не связывало.

Во втором своем всеподданнейшем отчете (на 1894 г.) гр. Витте пророчески указывает на сосредоточенные в собственности казны 17 тысяч верст жел. дор., как на «могучее орудие» в руках правительства *«для управления экономическим развитием страны»*. Финансовый делец — без политического образования, без исторического чутья, — он думал, что экономическим развитием можно управлять, как департаментом чиновников или штабом продажных журналистов. История посмеялась над ним. Как раз казенные железные дороги явились «могучим орудием», нанесшим старому порядку жесточайший удар. И не кто иной, как Витте, вел переговоры с представителями железнодорожного союза, именуя их «лучшими силами страны». Он и тут явился посредником — его ничто не связывало.

Вступив с министром внутренних дел, тогдашним ведомственным «либералом» Горемыкиным [63]), в борьбу по поводу введения в неземских губерниях земских учреждений, гр. Витте составляет, т.-е. поручает составить (не Гурьеву ли?) [64]) историческую записку на тему о несовместимости самодержавия с земством. «... Глухое недовольство, молчаливая оппозиция — говорит записка — живут несомненно и будут жить до тех пор, *пока не умрет всесословное земство*». Гр. Витте все предвидел. Он даже был убежден, что если заткнуть губернаторской рукавицей маленькую земскую отдушину цензового либерализма, то глухое недовольство само собою превратится в благодарное спокойствие. Увы! скоро, очень скоро, гр. Витте пришлось идею несовместимости абсолютизма и земства истолковывать в том смысле, что знак минуса нужно ставить пред абсолютизмом, а знак плюса пред самоуправлением.

С 1902 г., под влиянием целого ряда весьма выразительных событий, гр. Витте начинает эволюционировать, не лучше ли

сказать: *передвигаться*? — влево. Он открещивается от временных правил, порывает с князем Мещерским [65]) и свою записку о земстве поручает своим молодцам истолковывать в конституционном смысле. Он ведет в то же время неутомимую кампанию — не точнее ли сказать: *интригу*? — против Плеве [66]), созывает комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности и выражает твердое намерение дать им «совершенно откровенно» высказаться.

Но министр финансов давал обещания без хозяина. За высказанные в комитетах — по ведомству Витте — умеренно-конституционные мнения лойяльнейшие земцы, как, напр., Мартынов, были — по ведомству Плеве — притянуты к ответу. Высланный из Воронежской губ. в Архангельскую, Мартынов в энергичном письме разъяснил гр. Витте его истинную роль. «Репрессии над членами комитетов,—писал он,—накладывают на правительство и на ваше с-ство тяжкий упрек в бестактности и провокаторстве... Чтобы выйти из унизительного положения, вашему с-ству предстоит или настоять на полном прекращении всяких репрессий... или отказаться от своего поста». Гр. Витте не сделал ни того, ни другого. Очень может быть, что уже тогда он впервые обратился к своим ухмыляющимся собеседникам со словами, предназначенными для «историков будущего»: «Воронежское земство зашевелилось, и вот я прописал ему слабительное».

В тяжбе Витте с Плеве последний был в своем роде принципиальнее и потому оказался сильнее. Гр. Витте пришлось 16 августа 1903 г. потерять портфель министра финансов и перейти на декоративный пост председателя комитета министров. Он принял это «повышение» без всякого удовольствия. Осведомленное в этих делах «Освобождение» [67]) сообщало, что «Витте сильно осунулся и похудел». Совершенно напрасно. Это поражение спасло его. Оставаясь активным министром, он вынужден был бы механически развить далее ту политику фискальной диктатуры, которую возвестил в своем первом всеподданнейшем отчете, и в октябре отошел бы в сторону вместе с другими. Оказавшись же фактически не у дел, он превращается в полуопального наблюдателя: критикует все ведомства и своей сановной фронде сообщает форму либеральной оппозиции. Задним числом он старается придать своему ведомственному поражению принципиальный характер. Через своих Гурьевых он открыто выставляет себя противником войны с Японией — после первых больших неудач. Он при этом, однако, умалчивает, «предвидел» ли он, что его

собственное дальневосточное грюндерство фатально вело к кровавой развязке. Оставляя всегда quelque chose à deviner (кое-что недосказанным), гр. Витте все настойчивее выдвигает себя на роль спасителя России. Его конфиденты передавали со значительным видом, что он поддерживает все либеральные шаги князя Святополк-Мирского [68]). Накануне 9 января Витте многозначительно разводит руками, отвечая перепуганной либеральной депутации: «Вы знаете, господа, что я... но власть не у меня». После этого дня Витте умывает руки. Биржа должна знать, что он тут не при чем. Он, Витте, все предвидел. Он всегда был против зубатовщины, про которую другие вообразили, что это «квадратура круга». Теперь они видят, что он был прав, как всегда. Через корреспондента «Echo de Paris» («Парижское Эхо») Витте уже прямо ставит свою кандидатуру на пост канцлера империи; при этом условии он обещает сохранить самодержавие. Путем ли введения конституции или путем упразднения земств, он не договаривает. Но он берется разрешить эту неразрешимую «квадратуру круга»...

...Из Портсмута [69]), где он подписался под трактатом, предписанным мировой биржей и ее политическими агентами, он возвращался, как триумфатор. Ему, вероятно, казалось, что не маршал Ойяма, а он, Витте, одержал все победы на азиатском Востоке. На провиденциальном человеке концентрировалось внимание всего буржуазного мира. Все лучи русских событий, отраженные зеркалами мировой биржи, сосредоточивались в одном фокусе, и этим фокусом был Витте. С одинаковой тщательностью регистрировались счета его прачек, как и число расточаемых им демократических рукопожатий. Парижская газета «Matin» («Утро») выставила в витрине кусок промокательной бумаги, которую Витте приложил к своей портсмутской подписи. У зевак общественного мнения все вызывало интерес... Его аудиенция у императора Вильгельма еще более закрепила за ним ореол государственного человека высшего ранга. С другой стороны, его конспиративная беседа с эмигрантом Струве свидетельствовала о том, что ему удастся приручить крамольный либерализм...

* * *

По возвращении в Россию, Витте, отныне граф, с уверенным видом занял свой безвластный пост, произносил неопределенно-либеральные речи в комитете и, явно спекулируя на смуту,

подмигивал «лучшим силам страны». На этот раз он не ошибся в расчетах: октябрьские события сделали его главой конституционного кабинета.

Политически-невежественный и канцелярски-ограниченный, он думал, что заменить одну государственную систему другой — то же, что конвертировать государственный долг или частное винокурение заменить казенной монополией.

Социальных сил он не видел. Политического плана не имел и руководствовался намерением заключить ряд сделок. От случая—к случаю. При этом—страшно разогретая портсмутской экскурсией бюрократическая самовлюбленность, которая казалась ему верой в свой гений.

Единственный определенный «успех» он имел с капиталистами. Здесь политическое соглашение сразу приняло характер биржевой сделки. Сдавленные в тисках кризиса, они непрерывно атаковывали государственный банк. Им было не до общих политических перспектив: нужны были деньги, во что бы то ни стало.

«Мы поверим только фактам, — заявила контора железозаводчиков графу Витте в 2 часа ночи с 18 на 19 октября, — кровь и нищета России не позволяют уже верить словам». Граф Витте запустил руку в кассу государственного банка и дал им «факты»— много фактов. Учет, кредитование частных банков и все другие операции резко поднялись. «Кровь и нищета России», предъявленные в первый день конституции политическим синдикатом капитала, были учтены правительством Витте, и в итоге — «союз 17 октября» *). Но это был единственный политико-биржевой успех гр. Витте за этот период [70])...

Об остальной его деятельности говорить приходится кратко, как можно кратче. Ибо события еще слишком свежи, раны еще не зажили. Но если оставить в стороне большие факты, прикосновение к которым, по нынешним временам, обжигает пальцы, если взять только деятельность гр. Витте, то приходится сказать, что она представляла собою воплощение жалкой растерянности. Ни одной меры, в которой бы видна была политическая мысль, хотя бы реакционная.

---

*) См. Л. Г. «С. Ю. Витте и падение русского государственного кредита». СПБ 1907. Автор этого памфлета был, подобно Л. Гурьеву, в свое время публицистической прислугой при Витте, а ныне чистит сапоги его более счастливым соперникам. Но кое-какие факты, сообщаемые в брошюре, представляются вполне правдоподобными.

Замечательное дело! Пока Витте стоял в сановной оппозиции, все на свете происходило наперекор тем, кто стоял у руля, — и точь в точь так, как заранее «предсказывал» Витте. Но как только он сам оказался у власти, события, точно сговорившись, повернулись к нему спиной. Граф махнул рукой на все свои предсказания. В состоянии панической растерянности он вступил в переговоры с Гапоном, забыв, что ведь Гапон вышел из зубатовского предприятия, и что зубатовщина повернулась к власти своим острым концом — именно так, как он, Витте, «предвидел». От Гапона граф бросался к гимназистам, разъясняя им в правительственном сообщении, что «участие в толпе некоторого количества молодых людей младшего возраста не может, конечно, усилить значение демонстраций». Этот человек думал возродить страну — и занимался сочинением писем от совета министров к «молодым людям младшего возраста». Он принимал бесчисленные депутации, радикальные и реакционные, был одинаково предупредителен с теми и другими, бессвязно развивал свои планы пред европейскими корреспондентами, писал на каком-то невероятном языке правительственные сообщения, в которых уговаривал все слои общества и все классы гимназии приняться за правильный труд, словом, совершенно и окончательно потерял голову.

«Так как я не посвящен в планы гр. Витте,— писал тогда самый бесчестный из нововременцев, — и в то же время продолжаю верить в его государственный ум, позволяю себе в виде догадки приписать ему хитрый план, который, — если удастся, — назовут, может быть, гениальным, если не удастся — безумным». В чем же план? Побороть революцию и реакцию, «натравив их друг на друга». В то время как Меньшиков подкладывал под растерянность гр. Витте «гениальный» план дьявольской провокации, старик Суворин скептически покачивал сединами и говорил: «Ничего не понимаю. Абракадабра». Это было крылатое слово. Оно лучше всего характеризовало преобразовательную политику гр. Витте. Успокоительные уверения — направо, увещания — налево, лицемерие — и здесь и там, доверие — ни там, ни здесь, и всюду — абракадабра. Опубликовав утомительную серию казенно-либеральных прописей, граф пришел к выводу, что русское общество лишено элементарного политического смысла, нравственной силы и социальных инстинктов. «Единственные люди, которые знают, чего им нужно, — заявил он корреспонденту «Daily Telegraph», — это революционеры». Все

остальное — абракадабра.— «Ожидаете ли вы, граф, что общество окажет вам содействие?» — «Я еще не утратил надежды, но...» — абракадабра. «Вы меня спрашиваете, как я не предвидел этого? Я вам отвечу: *я это предвидел*. Но...» — абракадабра. — «Возможно ли обращение к политике репрессий, граф?» — «Если бы до этого дошло, то это было бы поручено кому-либо другому... Я не имею для этого ни надлежащих прав, ни требуемых способностей. Моя задача заключается в том, чтобы решить вопрос нравственными мерами». «Нравственные меры» графа Витте, иллюстрированные операциями банка, завоевали только октябристов; его общая политическая абракадабра, в которой всякий читал, что хотел, потерпела позорнейшее банкротство, — и тем не менее он не нашел в себе... не мужества, нет, а достаточно крупного честолюбия, чтобы уйти в сторону, предоставив декабрьско-январскую работу лицу с «требуемыми способностями». Без власти, без влияния, никому ненужный, всеми презираемый, он оставался на своему посту в течение всего периода, когда действовал хозяин положения, Дурново . . . .

. . . .

«Как старый профессор среди тысячи своих талантливых учеников, правительство будет радоваться новым открытиям народных представителей, оно благословит те новые пути»... и т. д., и т. д., и т. д. Это—«Русское Государство», орган гр. Витте, встречает первую Думу. Граф уже видел себя любимым учителем среди кадетской «плеяды» первого созыва, он уже благословлял пути первого парламента, как вдруг снова оказался посажен на сухоядение сановной критики в государственном совете. И теперь уж прочно — навсегда. Но ему не верится. Как же так?—спрашивает он себя.

— Знаете,—обращается он к американскому корреспонденту,—напишите Рузвельту [71]), что я все это предвидел... Я всегда был против конституции, дебатов и аргументов.

— Но ведь вас считают отцом конституции, граф?

— Я поставлен был в положение врача, вынужденного прописать больному слабительное... Я видел, что операция (?), если можно так выразиться, неизбежна, иначе правительство... (выразительный жест на-земь)... Вы понимаете?

На эти слова собеседник графа, еслиб он не был просто человеком для телеграфных поручений, мог бы ему ответить следующее: «Во-первых, граф, ваша метафора груба, как и весь ваш способ мышления. Кроме того, она внутренне-несообразна.

Давать слабительное — не значит производить «операцию». Затем, кому грозит падение на-земь, тому не дают слабительного: это не помогает. И, наконец, не забывайте, что в результате вашего лекарства оказались низвергнуты — вы сами. Избегайте метафор, граф! Во-вторых, я должен вам заявить, что циничный тон, которым вы говорите о судьбах вашей родины, кажется мне столько же неприличным, сколько и неумным. В-третьих, предсказывать события, — заметьте себе, граф, это раз навсегда, — нужно прежде, чем они наступают. Вы же всегда поступаете наоборот. В-четвертых, граф, позвольте вам объяснить, что вы совершенно напрасно утруждаете себя. Вы находите, что политическое положение сейчас неустойчиво. Но оно может разрешиться либо вправо, либо весьма влево от вас... Не перебивайте, граф, я знаю, что вы готовы быть правее самого себя. Но это никому не понадобится. Вы слишком разносторонне скомпрометированы. Найдутся более свежие репутации. Вы же, граф, пишите мемуары, которым, впрочем, «историки будущего» все равно не поверят»...

«Киевская Мысль» №№ 216—218,
6—8 августа 1908 г.

ЕВНО АЗЕФ

В Париже вышло недавно «Заключение судебно-следственной комиссии по делу Азефа» в виде брошюры в 108 страниц. Судебно-следственная комиссия под председательством А. Баха имела 73 заседания, опросила 31 лицо. Следственный материал занимает более 1.300 страниц in folio. Печатное «Заключение» представляет собою краткую сводку наиболее важных данных, добытых расследованием, и основные выводы из них.

С живейшим интересом читал я эту брошюру. С января 1909 г., когда Евно Филиппович Азеф, член боевой организации и центрального комитета партии социалистов-революционеров, был объявлен профессиональным провокатором, вокруг этой фигуры выросла обширная международная литература. Она стояла главным образом под знаком сенсации. И немудрено: слишком уж чудовищно-сенсационен был самый факт, слишком уж он раздразнил воображение. В душе каждого почти человека, особливо же в душе филистера, живет этакая, — как бы выразиться? — романтическая глиста, которая в сутолоке обыденщины замирает, но, раз пробужденная сенсацией, требует новой и новой пищи, все более чрезвычайной. Это и есть то любо-

пытство, от которого сосет под ложечкой. В наше беспощадно-газетное время каждое событие доходит до читателя в бесчисленном количестве отражений, все более и более удаляющихся от источника. Лишенная новой пищи, сенсация питается отражением отражений — второй, третьей... n + первой степени. Наконец, проходит положенное время, определяемое психо-физиологической природой глисты романтизма, сенсация набивает оскомину, и событие, ее породившее, погребается под холмом газетной бумаги.

Раздраженная сенсацией общественная психика не только требует все более чрезвычайных вариантов, но и с некоторой обидой даже отмечает такие объяснения, которые вводят событие в реалистические пределы. Она вообще не хочет в таких случаях объяснений, она требует загадочного, проблематического. Могущественнейший террорист, состоящий при департаменте полиции; довереннейший агент, организующий убийства министра внутренних дел и великого князя, — разве это не титаническая по своим внутренним противоречиям фигура, далеко выходящая за рамки человеческого и только человеческого? Самые трезво-мыслящие люди с каким-то психологическим сладострастием разводили руками перед проблематикой «величайшего провокатора». У них к этому чувству даже примешивался некоторый оттенок национальной гордости. «Азефом вполне, можно сказать, утерли нос Европе». В интернациональном обществе европейских кафэ многие русские глядели в то время прямо-таки именинниками.

Были и протестующие, и даже весьма. Один мой приятель, человек от природы желчный и даже не окончивший университета, чрезвычайно злобствовал по поводу культа азефского демонизма. «Азефа не знаю, — говорил он, — доселе и не слыхал о нем никогда, но позволяю себе думать и даже осмеливаюсь эту мысль высказать вслух, что никаких демонических качеств за ним не может числиться, ибо по натуре своей он должен быть совершеннейшим бревном. Чтоб 17 лет вести дьявольскую игру, врать не провираясь, обманывать не попадаясь, нужно быть либо гением семи пядей во лбу, либо, наоборот, человеком с упрощенной до крайности механикой головы и сердца, попросту тупоумцем, который ведет свою игру грубо, прямолинейно, нагло, не приспособляясь к чужой психологии, не растрачиваясь на детали и именно поэтому выходит победителем. Но согласитесь, что несравненно натуральнее предположить в Азефе тупицу, чем гения. Во-первых, потому, что тупицы встречаются в природе

несравненно чаще, а, во-вторых, и главное, потому, что гении имеют обыкновение находить для своих сил применение вне стен охранки».

Эта парадоксальная гипотеза, казавшаяся мне очень заманчивой с самого начала, получила в моих глазах высокую степень вероятности по сопоставлении ее с одним поучительным анекдотом, рассказанным г. Струве à propos Азефа. Анекдот относился к той почти дилювиальной эпохе, когда красный радикал Струве редактировал марксистский журнал «Начало» и был еще весьма далек от намерения легонько потрепать жида (разумеется, в высшем асемитическом смысле). Тогда будущий консервативный национал-либерал наш еще сам был лакомым куском для департамента полиции, который и командировал к нему в «сотрудники» Гуровича. Невежественный шпик оказался соиздателем почтенного журнала, не уплатив, кстати сказать, в издательскую кассу ни гроша, хотя причитавшийся с него пай с казны получил, надо думать, полностью, о чем можно бы навести справку у тогдашнего министра финансов г. Витте, ныне занимающегося разоблачениями. В своем промахе г. Струве оправдывался тем, что Гурович очень уж глуп, так что никакому разумному человеку даже и в голову не могло притти, чтобы департамент полиции мог пользоваться для уловления образованнейших литераторов столь отпетым дураком. Со всей серьезностью неисправимого доктринера г. Струве даже слегка потыкал этой гуровичской глупостью департамент в лицо: «Стыдитесь, мол, — называетесь государственное учреждение, а не сумели умного человека выставить!». Однако, подите же: при всей своей глупости Гурович обошел просвещенных умников, величался их сотоварищем, подписывал своим именем левый журнал, да еще сверх всего положил себе в карман издательский пай, так что и своих работодателей за одно уж накрыл. Значит дурак-то для этой миссии вовсе не так плох оказался. И г. Струве, как идеологу консервативной государственности, менее всего полагалось бы недооценивать, а тем более унижать дураков...

«Благослови, Господь, людскую глупость.
Смела она. Ее не устрашишь
Словами громкими. Считает горы
За бугорки. И так искусно-глупо
Песчинку на пути кладет, что умник
Вниз кубарем летит...

Ум и чуткость не всегда преимущество. Еслиб Азеф стал плести тонкое психологическое кружево в том обществе людей, интеллигентных, проницательных и видавших виды, в каком он вращался, он неизбежно стал бы на каждом шагу прорываться и провираться. Из-под маски идейного человека, стоящего на равной ноге с другими, непременно просовывалась бы, точно грязная онуча из продырявленного лакированного ботинка, таксированная физиономия шпика. Но другое дело, раз Азеф вовсе и не покушался на такую игру, а открыто носил свою харю, физическую и духовную. Он заставил привыкнуть к себе — не силою продуманного и построенного по плану поведения, а единственно автоматическим давлением тупоумной своей неспособности подменить себя. Его сотоварищи на него смотрели и говорили себе (должны были себе говорить): «Ведь вот субъект: хам чистейший, — и однако же дела его свидетельствуют за него». Не все, конечно, решались называть его хамом, хотя бы и про себя только, но все должны были чувствовать приблизительно так. И это спасло его. Он приобрел раз навсегда право диссонировать со своей средой и открыто носить с собой свою азефскую сущность.

В материалах «Заключения» расcыпаны указания на то, что Азеф «выглядел» человеком недалеким, тупым и невежественным. Почти все жалуются на первое впечатление, им производимое. Одно из опрашивавшихся лиц резюмирует это «первое впечатление» так: «Посмотреть на человека, так гроша за него не дашь, а на самом деле вот какие бывают люди». «Еле-еле бормочет», — отзывался об Азефе Гоц, очень его ценивший. Сама «судебно-следственная комиссия», очень добросовестная в подборе материала, но крайне половинчатая во всех своих выводах, считает «крайностью» мнение об Азефе, как об умственном ничтожестве. Она ссылается при этом на показание одного из свидетелей о речи, которую Азеф «взволнованным голосом» произносил в 1901 г. в московском марксистском кружке в защиту идей Михайловского и особенно его «борьбы за индивидуальность». Но мало ли какие речи произносились за и против Михайловского — в 1901 г.! А уж один тот факт, что в интеллектуальный формуляр Азефа оказалось возможным занести после тщательного расследования одну лишь «взволнованную» речь, десять лет тому назад произнесенную, лучше всего показывает, что умственное творчество его не било фонтаном. Да и могло ли быть иначе? Субъект, все при-

выкший переводить на целковые, и голову Плеве, и голову Гершуни [72]), спекулировавший на браунингах и динамите, точно на прованском масле, был абсолютно неспособен имитировать сколько-нибудь серьезный интерес к вопросам социализации, кооперации и борьбы за индивидуальность. Он поэтому на всяких партийных совещаниях больше молчал, иногда «еле-еле бормотал» — и не мыслями, и не речами он импонировал своим товарищам. Наоборот, он совершенно не скрывал своего деляческого презрения ко всякого рода умственности, даже бравировал им, всячески выставляя его напоказ. И это ставилось ему идеологами, теоретиками и литераторами партии в своего рода плюс, как знаменующее отношение истинно военного человека к штатским занятиям. А если затем на фоне этого твердо установившегося отношения к нему он обронит какое-нибудь «теоретическое» соображение, пусть совершенно грошевое, одно из тех, какие можно на улице поднять, — все переглядываются между собою с тем иронически-почтительным видом, с каким Остап думал об отце своем Тарасе: только, мол, прикидывается дураком, а сам в латинской премудрости собаку съел.

Но если «Заключение» без большой уверенности говорит об умственно-теоретических достоинствах Азефа, которые могли бы до некоторой степени объяснить его влияние, то тем энергичнее следственная комиссия настаивает на Азефе, как на гениальном лицемере. Свою роль истинно-партийного человека Азеф играл будто бы «в совершенстве», свой план проводил будто бы с поразительным искусством: не выскакивая, не выдвигаясь и не навязываясь. Однако же данные самой комиссии не вполне подтверждают такую характеристику. Оказывается, что «иногда» Азеф прорывался и выказывал присущие его натуре жесткость и черствость. Так, напр., сообщения об ужасах пыток и тюремных истязаний совершенно не трогали его, что не могло не производить странного впечатления на его друзей. Но, давя на всех своей тупой неподвижностью, он заставлял брать себя таким, каков он есть: «странности его характера» объяснялись, по словам «Заключения», «недостатком душевной чуткости и той твердостью, которая в известных пределах является долгом человека, несущего ответственность за боевую организацию». Значит, все-таки, жесткость и черствость и другие «странности характера» торчали наружу, смущали и рождали потребность в объяснении? Но где же, в таком случае, «совершенство игры»?

Совершенно не подтверждается также материалами комиссии ее утверждение, будто Азеф не высовывался и не навязывался, соблюдая свой «план». На самом деле Азеф не высовывался только в самый первый период, когда он, как и всякий шпион, робел и терялся. Да и высовываться особенно некуда было, так как партии социалистов-революционеров еще не существовало, и Азефу приходилось иметь дело с отдельными лицами и группами. Но, поскольку начинало пахнуть где-нибудь жареным, Азеф выскакивал вперед уже в ту пору и притом весьма неуклюже. В Швейцарии он афишировал себя в 1893 г. «крайним террористом». Когда Бурцев, никем не поддерживаемый, поднял в девяностых годах из Лондона агитацию за возобновление террора, Азеф, тогда еще мало кому известный, письмом приветствовал его и *предложил свои услуги*. Значит, и афишировался и навязывался. Много позже, уже после «дела Плеве», когда Азеф оказался не только во главе боевой организации, но и во главе всей партии, по крайней мере организационно, он начал действовать с такой деспотической наглостью зазнавшегося шпика, что возбудил у некоторых товарищей своих серьезное опасение, не сошел ли великий конспиратор с ума. Значит, и зарывался и терял всякую мѣру.

Но не попадался! — Вот где загадка всех загадок. С изумлением ссылались на то, — и это изумление обошло буквально все газеты мира, — что Азеф ни разу не выдал себя... даже в бреду своих сновидений. Разве ж это не сверхчеловеческое самообладание, не демоническая сила? Но, во-первых: кто стенографировал азефские сновидения и кто подвергал их затем судебно-следственному анализу? Во-вторых: разве не могут в этом отношении соперничать с дьяволом провокации неверные жены, о которых тоже не установлено, чтоб они во сне занимались доверчивыми признаниями обманутым мужьям?

Но как бы ни обстояло дело с азефскими сновидениями, факт остается фактом: в течение ряда лет своей провокаторской «работы» Азеф не попадался, и это одно уже должно, очевидно, служить лучшим доказательством его из ряду вон выходящей выдержки. Как, однако, понимать это сакраментальное *«не попадался»?* Значит ли это: не делал промахов, по крайней мере грубых? Или же это надо понимать просто в том смысле, что и самые грубые промахи в тех условиях, какие создались вокруг Азефа, неспособны были погубить его? Вот где корень всего

вопроса. И стоит подойти к загадке с этой стороны, чтобы сразу бросилось в глаза одно поистине поразительное обстоятельство: почти во все продолжение карьеры Азефа по пятам за ним шли слухи и прямые обвинения в провокации. Еще в Дармштадте, где Азеф был студентом, один из профессоров отзывался о нем в частном разговоре словами: «dieser Spion» («этот шпион»).

В 1903 г. выдвигает против Азефа обвинение в провокации какой-то студент. В августе 1903 г. видный социал-революционер получает анонимное письмо (написанное, как теперь известно, Меньщиковым *) — не тем, что служит в «Новом Времени», а тем, что служил в департаменте полиции) с весьма определенными и убедительными указаниями на «инженера Азиева», как провокатора. Азеф, который с письмом был ознакомлен, испугался до истерики: рвал на себе рубаху, икал и плакал. Но убедившись, что шансы его не поколеблены, пришел «в шутливое настроение». В начале 1906 г. получаются партией показания против Азефа со стороны агентов саратовской охранки. Осенью 1906 года — такого же рода показания со стороны охранного чиновника одного южного города. Осенью 1907 г. выступает на сцену так называемое «саратовское письмо» [73]) с совершенно определенными, фактического характера указаниями, легко поддававшимися проверке; однако, проверке оно, как и все предшествующие, подвергнуто не было. Наконец, когда уже *после всего этого* Бурцев начинает в 1908 г. свою разоблачительную кампанию, он встречает отчаянное сопротивление со стороны руководящих сфер партии. Более того: уже когда известно было, что Лопухин [74]) целиком подтвердил подозрения Бурцева и этот последний собирался распубликовать Азефа, как провокатора, в печатном листке, член центрального комитета вернул Бурцеву корректурный оттиск его листка с словами: «Азеф и партия — одно и то же... Действуйте, как хотите».

Ввиду всех этих фактов приходится спросить: какое же значение могли иметь те или иные косвенные промахи Азефа в сравнении с этими прямыми обвинениями? Если не верили в высшей степени убедительным охранным донесениям с изложением обстоятельств дела, если так были настроены, что не верили данным Меньщикова, Бакая и Лопухина, могли ли,

---

*) О Меньщикове см. в этом томе статьи «Литература разочарованных стипендиатов» и «Гартинг и Меньщиков».—*Ред.*

способны ли были заметить прорехи в поведении самого Азефа, его неловкие жесты и даже его грубые ошибки?

Ясно, что не в дьявольской ловкости крылась тайна азефского успеха и никак не в его личном обаянии: мы уже знаем, что внешность у него отталкивающая, первое впечатление он производит всегда неприятное, иногда отвратительное, он свободен от идейных интересов, еле-еле бормочет. Лишен чуткости, жесток, груб в своих чувствах и в их внешнем выражении, сперва икает от страху, а, успокоившись, впадает в «шутливое настроение»...

Тайна азефщины — вне самого Азефа; она — в том гипнозе, который позволял его сотоварищам по партии вкладывать перст в язвы провокации и — отрицать эти язвы; в том коллективном гипнозе, который не Азефом был создан, а террором, как системой. То значение, какое на верхах партии придавали террору, привело, по словам «Заключения», — «с одной стороны, к построению совершенно обособленной надпартийной боевой организации, ставшей покорным оружием в руках Азефа; с другой — к созданию вокруг лиц, удачно практиковавших террор, именно вокруг Азефа, атмосферы поклонения и безграничного доверия»...

Уже Гершуни окружил свое место полумистическим ореолом в глазах своей партии. Азеф унаследовал от Гершуни свой ореол вместе с постом руководителя боевой организации. Что Азеф, который несколько лет перед тем предлагал Бурцеву свои услуги для террористических поручений, теперь разыскал Гершуни, это немудрено. Но немудрено и то, что Гершуни пошел навстречу Азефу. Прежде всего выбор в те времена был еще крайне мал. Террористическое течение было слабо. Главные революционные силы стояли в противном, марксистском лагере. И человек, который не знал ни принципиальных сомнений, ни политических колебаний, который готов был на все, являлся истинным кладом для романтика терроризма, каким был Гершуни. Как все-таки идеалист Гершуни мог нравственно довериться такой фигуре, как Азеф? Но это старый вопрос об отношении романтика к плуту. Плут всегда импонирует романтику. Романтик влюбляется в мелочной и пошлый практицизм плута, наделяя его прочими качествами от собственных избытков. Потому он и романтик, что создает для себя обстановку из воображаемых обстоятельств и воображаемых людей — по образу и подобию своему.

Судебно-следственная комиссия обнаруживает явное стремление отвести как можно более широкое поле «субъективному фактору» за счет объективных обстоятельств. В частности она настойчиво повторяет, что изолированность и замкнутость боевой организации явились результатом сознательно-продуманной и искусно-проводившейся политики Азефа. Однако, от той же комиссии мы слышали ранее, что изолированность боевой организации вытекала из самого характера ультра-конспиративной и замкнуто-кружковой практики терроризма. И это как нельзя лучше подтверждается следственными материалами. Организационную позицию Азефа не только подготовил, но и целиком создал Гершуни. Создатель боевой организации, в которой он сам, по словам «Заключения», являлся диктатором, Гершуни связывал ее с центральным комитетом чисто-личной связью и тем превращал ее в надпартийное учреждение; а затем всем авторитетом б. о., который он в себе воплощал, Гершуни и в ц. к. приобрел решающее влияние. Когда механизм был создан, Гершуни оказался изъят, — его заместил Азеф, которого сам Гершуни наметил себе в преемники. Заняв позицию, изолированную от партии и высившуюся над партией, Азеф оказался как бы в блиндированной крепости: всем остальным членам партии к нему и приступу не было. В создании этой позиции мы не находим личного «творчества» Азефа: он просто взял то, что ему давала система.

Доверие к Азефу росло, как к «великому практику». А главный, если не единственный практический талант его состоял в том, что он не попадался в руки политической полиции. Это преимущество принадлежало не его личности, а его профессии; но оно ставилось в счет его ловкости, находчивости и выдержке. По отзывам «боевиков» Азеф «не знал даже, что такое боязнь». Отсюда их преклонение пред Азефом, который в их глазах олицетворял идеал «боевика», как в глазах остальной партии — боевую организацию в целом. Затем все шло почти автоматически. Тот, кто совершает при содействии Азефа покушение, гибнет — тоже при содействии Азефа; а отблеск совершенного остается на Азефе, как на неуловимом организаторе и вожде. За-границей, в идейно-руководящих кругах партии, Азеф, по рассказу комиссии, «появлялся, как метеор, появлялся, окруженный ореолом подвигов, в подробности которых были посвящены весьма немногие».

Тех, которые выдвигались против него или работали помимо него, он выдавал; это было естественным, почти рефлекторным жестом самообороны; а в результате — рост азефского авторитета в обоих лагерях. После слишком крупных выдач он — возможно, что с ведома своих ближайших контрагентов справа — давал совершиться таким террористическим актам, которые должны были упрочить его позицию пред лицом его контрагентов слева. Это снова развязывало ему руки для выполнения его полицейских обязательств. Он предавал, а за его спиною работало его начальство, направлявшее все свои усилия на то, чтобы сохранить своего «сотрудника», и замести за ним следы. И шпион поднимался вверх с силой почти фатальной.

Сказанного не нужно понимать в том смысле, что Евно Азеф никакими сторонами своей личности не входил в ту игру безличных политических сил, которая сделала его исторической фигурой. Было, значит, что-то такое в нем, что выделило его из ряда Иуд, не менее подлых, но еще более ничтожных. Более уверенная в себе тупость, бо̀льшая хитрость, более высокое общественное звание (дипломированный за-границей инженер), все это необходимо было Азефу, чтобы зубцам террористического и полицейского колес было за что зацепиться в этой человеческой фигуре и поднять ее на такую высоту ужаса и позора. Но разгадка этой поразительной судьбы — не в самой фигуре, а в строении зубчатых колес и в их сцеплении. Потрясающее сидит в азефщине, не в Азефе. «Величайший провокатор» не имеет в себе ничего демонического, — он был и оставался прохвостом tout court.

«Киевская Мысль» № 126,
8 мая 1911 г.

ЛИТЕРАТУРА РАЗОЧАРОВАННЫХ СТИПЕНДИАТОВ

(Меньщиков и Бакай о себе)

I

Это совсем особенная, прямо-таки небывалая литература — эти две брошюры: «Не могу молчать!» Я. Акимова с предисловием Л. Меньщикова и «О разоблачителях и разоблачительстве» М. Бакая со вступительной «заметкой» Л. Меньщикова, — того самого, что в высших интересах «освободительного движения» двадцать лет просидел в охранке и «в особом отделе» департамента полиции. На обложке обещан ряд новых изданий. В непродол-

жительном времени выходит книга Л. Меньщикова: «Тайны русской охраны» — большой на строго-научную ногу поставленный труд, с фотографиями, рисунками, портретами, автографами и факсимиле. Глава I посвящена установлению понятий и классификации материала: «Система сыска. 1. Розыскные органы. 2. Внутренняя агентура. 3. Наружное наблюдение. 4. Дознания и следствия. 5. Перлюстрация и подкуп печати». Глава II отведена под азефщину. III глава вносит порядок в «калейдоскоп провокации»: 1. Агенты-пропагандисты. 2. Агенты-типографщики. 3. Агенты-террористы и экспроприаторы. 4. Судьбы предателей. 5. Как и почему делаются предатели. Но лучше всего будет бесспорно IV глава: это портретная галлерея предателей, очень хорошая и, несомненно, добросовестно разработанная галлерея. Вот ее каталог: 1. «Мамочка» охраны и шпионская «няня». 2. «Зиночка» и «Друг». 3. Ученики, достойные своего учителя. 4. Стипендиаты охраны. 5. Дантист, художник, инженер, купец. 6. Амуры и предательство. И т. д. Все это не только занимательно, но и трогательно: «мамочка», «няня», «Зиночка», «Друг»... совсем персонажи из детской с кисейным пологом, где «Зиночка» на глазах «мамочки» и «няни» играет с покорным «Другом». Предатели вообще имеют непобедимую склонность к сантиментальному роду.

Обещает г. Меньщиков и еще многое, в том числе целую «историческую библиотеку русского освободительного движения», в которую должны между прочим войти: «Газета Департамента Полиции» — подробнейшая хроника событий за боевые 1902—1905 г.г. — под строго охранным углом зрения; секретные доклады Рачковского, Ратаева, Гартинга [75]) и других корифеев и солистов, а также многое и многое другое. Подготовляются, наконец, г. Меньщиковым к печати его собственные мемуары: «Двадцать лет во вражьем стане», — впрочем, на жалованьи и с наградами.

Но обратимся к двум уже вышедшим книжкам.

Брошюра «Не могу молчать!» написана Я. Акимовым, совершившим 28 июня 1906 г., в качестве матроса, террористический акт над главным командиром Черноморского флота, адмиралом Чухниным. Автор, тогда же скрывшийся, еще раз повторяет, что пошедшие по этому делу на каторгу, как сообщники, Шатенко и Васильев, к делу никакого отношения не имели; Шатенко, по сведениям Акимова, был даже ярым черносотенцем. Однако, не в этой части брошюры центр ее тяжести.

Осенью 1906 г. Акимов в Финляндии встречается с Азефом.

— ...Вы хотите иметь работу?

— Да, хочу работы.

— ...Вы, кажется, хорошо стреляете?

— Как?

— Ну, да вы ведь по делу Чухнина... Так вот мое решение таково, что вам завтра же надо отправиться в Питер.

Но Акимов не едет. Азеф своим видом биржевика не пленил его. Себя Акимов в очень высокопарных и безвкусных выражениях рекомендует, как романтика от динамита. Стоит, однако, оглянуться на обложку и снова убедиться, что на ней неизменно бодрствует г. Л. Меньщиков, со всеми своими главарями сыска: со «старо-жандармами», с охранниками, со «сподручными» и с «ново-жандармами», — и тогда напыщенная декламация г. Акимова станет окончательно невыносимой.

Но пойдем далее.

В мае 1907 г. Акимов с группой террористов направляется из Парижа в Россию, но в группе оказывается раскрытый впоследствии провокатор Батушанский. Акимов замечает в Берлине слежку, возвращается в Париж и вызывает этим, по его словам, большое неудовольствие со стороны В. Л. Бурцева. Более того, когда Бурцев убеждается, что один из членов кружка — провокатор, он первоначально переносит свои подозрения на Акимова. В январе 1910 г. Акимов в Аргентине, где его случайно арестуют и после 16 дней выпускают на свободу. Но Акимова, по слухам, идущим из Парижа от Бурцева, подозревают в провокации. Он решает, — так он рассказывает, — покончить самоубийством, чтоб своей смертью показать обществу, что В. Бурцев есть не что иное, как орудие в руках полиции. Но Акимов отбрасывает этот план и решает убить Бурцева, чтобы затем, на гласном суде, «очистить свое имя от брошенной в него грязи». Однако, и этот не совсем прямой путь для «очищения своего имени» оставляется потом г. Акимовым. Объявив организованный в Аргентине суд «некомпетентным», Акимов переезжает снова в Париж (заметьте этот маршрут: Севастополь, Финляндия, Париж, Аргентина, Париж...), здесь встречается с Бурцевым, очень возмущен его опрометчивостью (действительной или мнимой) и с негодованием убеждается, что «благодаря *всякого рода бывшим охранникам*, он возымел престиж, при котором люди перестали отличать белое от черного». Заключительная часть брошюры

есть уже сплошной обвинительный акт против Бурцева, который не ведает святыни и не знает благостыни, — и в подкрепление всего этого выступает один из столь презираемых г. Акимовым «бывших охранников», матерой Меньщиков, сын департаментской «мамочки», воспитанник «няни», сердечный поверенный «Зиночки» и интимнейший друг охранного «Друга».

Леонид Меньщиков, само собою разумеется, несгибаемый террорист и рыцарь чести. Он, в качестве импрессарио, выводит за руку г. Акимова с его «Не могу молчать!» — и говорит: «и не следует молчать! Все, кто не признает в товарищеских отношениях кумовства и генеральства; все, кому противны ложь и произвол, откуда бы они ни исходили; все, кто ставит идеал выше дешевых и болезненных амбиций отдельных личностей (понимай: Бурцева!),—не должны молчать... Истинные революционеры (!) должны иметь мужество публично признаваться в своих ошибках»...

Хорошо и возвышенно пишет г. Меньщиков, — почти как Меньшиков. И в пекле столь ненавистной ему охранки, — где он, впрочем, не без комфорта провел два десятилетия,— Л. Меньщиков был известен, как «свободное» перо. Самые опытные гороховые хрычи, гениальные следопыты, которые почти по запаху калош отличают неблагонадежность от благонадежности, оказываются сплошь да рядом совсем беспомощными, когда приходится иметь дело с тем предательским инструментом, который называется пером. А Меньщиков владеет тайнами пера, как Сарасате — чарами смычка. Притом он и чувствует, как Шиллер. «Все, кто ставит идеал выше дешевых и болезненных амбиций»... «Истинные революционеры должны иметь мужество»... И все это — после двадцатилетнего пребывания «во вражьем стане».

Но еще лучше, выше и значительнее — вторая брошюра. Она открывается письмом Меньщикова к Бакаю.

«Больно растравлять свои раны, — пишете вы. — Я вас понимаю. Вы пережили одну из тех сложных драм, которые редко кому выпадают на долю».

«Я вас понимаю», — Меньщиков понимает Бакая, — понимает, прощает и любит его.

«С ярким светильником, что зажегся в сердце вашем, любви к свободе понесли вы свои силы на алтарь новой святыни». Так пишет Меньщиков — Бакаю, Бакаю — Меньщиков!

Позвольте, позвольте: это для кого собственно угрюмый Салтыков отвел графу «бывых прохвостов»? И что это собственно

значит при свете «ярких светильников» — бывый прохвост? Разве это литературный род? О, нет, это не имеет никакого отношения к литературе, — литература это совсем - совсем другое, литература — это Леонид Меньщиков, продававший чужие души, но не продавший своей собственной души.

«Больно растравлять свои раны... Я вас понимаю... С ярким светильником, что зажегся в сердце вашем»... Согласитесь, что это почти просится на музыку.

Кстати о музыке. Это опять-таки у незнавшего жалости Салтыкова старый сыщик и притом не «бывый», а весьма на службе, возвращался вечером домой после счастливого улова, а дочь ему играла на рояли; музыкальный родитель (может, это был «Друг» или сам «Зиночка») слушал и — «по челу его струились слезы». Вот где скрываются еще, господа, непочатые залежи идеализма и любви!

«Я доверчиво отнесся к встречным объятиям, — такой карлмооровский монолог влагает Меньщиков в зубы... в уста Бакаю:— а они открылись лишь затем, чтобы задушить мою индивидуальность. Я шел в храм, а попал на торжище»... «Я знаю,— подает реплику Меньщиков, — почему вы находите нужным упомянуть о чистоте своих намерений. «Публика»... О, вам уже знакомо, что такое публика»...

Маркиз Поза! «Мамочка»! Уриэль Акоста! «Зиночка»! «Друг»! Бывые и сущие! Не пора ли?..

Нет, нет, еще не все.

Еще минуту терпения, еще несколько строк, в которых Меньщиков поднимается на вершины пафоса. «Верьте в идеал и расценивайте людей не по тому, достигают ли они его вполне или нет, — идеал всегда недостижим, а по тому, насколько они к нему приближаются. Дело борьбы за свободу никогда не заглохнет... Придет время, помянут добром и Вас». Так пишет Меньщиков Бакаю.

Мысли и чувства и стиль — все в полном созвучьи... Но почему же — почему рука непроизвольно покидает перо и шарит вокруг, нет ли поблизости полена?..

II

Сокровенный смысл литературы бывших «стипендиатов» лучше всего раскрывается в... как бы сказать? — скажем, в памфлете г. Бакая.

Сам Бакай в сущности мало склонен к лиризму и к слезе, Бакай — реалист. Он несомненно принадлежит к тем «сподручным» охраны, которые талантливо ориентируются в неблагонадежном запахе калош, но отвратительно сочетают придаточные предложения.

«Из наличности фактов, — пишет Бакай В. Л. Бурцеву, — нельзя усмотреть никаких агрессивных действий, но если исправление фактических неточностей, появившихся в различных интервью, считать complot, то это заблуждение настолько абсурдное, что на него не следует обращать внимания». Здесь Бакай целиком. «Complot» — это парижское приобретение, а все остальное — чистый филерский стиль старой школы, и этим самым стилем, в который ничего не внесли нового возженные светильники, г. Бакай излагает последний этап своей политической судьбы и свои неудовольствия против Бурцева. «Я хочу, чтобы публика знала, к чему я стремился, начиная с июля 1906 года, и почему я не достиг всего того, о чем мечтал».

О чем же он мечтал — с июля 1906 года?

До самого 1907 года Бакай находился на службе в качестве «чиновника для поручений» при варшавском охранном отделении. Он был, по собственной аттестации, не чиновником, а воплощенным идеалом, — хоть Меньщиков и утверждает, что идеал вообще недостижим. «Я исполнял свои обязанности, как то надлежало. Провокацией, т.-е. созданием ложных дел, не занимался, с арестованными всегда обходился вежливо. Был в своих действиях корректен, как ни один из чинов охранного отделения».

В декабре 1905 г. он едет в Москву с целью хлопотать о перемене места. В Москве восстание. Оно производит на «чиновника для поручений» такое впечатление, что он немедленно «задумывается над вопросом, почему так безрезультатно проливается дорогая кровь?» *Дорогая* кровь — это выразительно звучит в устах Бакая!

Ничего не добившись в Москве, он возвращается в Варшаву, где, по его словам, в ту пору истязали членов ППС. Но Бакай уж весь во власти новых «настроений», — и потому он «собственной инициативы совсем не проявлял, к секретной агентуре не имел никакого отношения и только вел допросы». Истязали другие, он «только» допрашивал истязуемых. При этом занятии внутреннее перерождение его заходит так далеко, что он сам становится... террористом.

И вот тут-то Бакай и решил, — говоря словами Меньщикова, — нести свои силы на алтарь новой святыни, «ввиду чего, — говоря словами самого Бакая, — выхлопотал себе двухмесячный отпуск». Он приезжает в Петербург, вступает в сношения с Бурцевым и первым делом несет «на алтарь» охапку коллег-провокаторов. Бурцев имена этих провокаторов опубликовал. Бакай теперь обвиняет Бурцева в ряде промахов: «Зависело это, — говорит он своим тоном профессионала, — от плохой Вашей памяти, рассеянности и непривычки быть точным в деталях». Бакай скорбит об ущербе «делу». Точный в деталях, он в то же время, почти как Меньщиков щепетилен в вопросах чести. Бурцева назвали в одной брошюре Шерлоком Холмсом революции, и он не протестовал. Бакай возмущен до глубины души: «Революционер и сыщик, Вы и Шерлок Холмс, мне представлялись двумя противоположными полюсами как по социальному положению, так и по моральному облику». Несгибаемый террорист (почти как Меньщиков!), Бакай с невыразимым презрением говорит о «социал-демократических выпадах против террора».

В. Л. Бурцева Бакай обвиняет в том, что тот заслонял его своей фигурой от революционных партий: «Такая узурпация источника безусловно полезных сведений для революционных организаций только приносила вред». Он сурово порицает Бурцева за то, что тот непомерно много платил бывшему французскому сыщику Леруа, сообщавшему только «сплетни», — которые, конечно, «никакой ценности для освободительного движения не представляли».

«Освободительное движение» — вот чем живет Бакай с с самого «июля 1906 г.» и вот во имя чего он пишет против Бурцева свой обвинительный акт.

И, наконец — «Вы (Бурцев) не исполнили по отношению ко мне элементарной справедливости: не выполнили договора, начав дело без меня, и не дали мне заработать ни сантима».

Ни сантима! — вот он, первый светлый луч в темном царстве бакаевского и меньщиковского идеализма. Он доверчиво шел навстречу объятьям, а они открылись только затем, чтобы «задушить его индивидуальность». Шел во храм — попал на торжище. Он возжег светильник, а ему не дали «заработать» ни сантима! «На деле Азефа и Гартинга Вы заработали до 40.000 франков. К Вам поступали деньги с разных сторон — из Швейцарии,

из Америки, от партий, от частных лиц. Вы сами говорили, что за один первый год Вашей кампании Вами было получено более 100.000 франков». А каков результат? Плачевнейший. «Вам не удалось создать даже плохенькой «охранки», а вышло заурядное «жандармское управление» с дутыми делами о выеденных яйцах». Вот оно все нутро — даже с профессиональным местничеством — и выперло наружу: не охранка, а всего только жандармское управление! А почему? Потому что «Вы не сообразили, что Бакаи, Меньщиковы, Лопухины на улице не валяются».

Бакай со своими обвинениями — только предтеча. Уже печатается новый «труд» — самого Меньщикова: «Хлестаков под маской Бурцева». Там-то обманутые надежды заговорят настоящим языком...

* * *

Мораль и философия нового издательства таким образом ясны, как облупленное яичко: это литература разочарованных стипендиатов, — прирожденных стипендиатов, ошибшихся в расчетах. Насквозь пропитанные серными парами охранки, они явились в минуту перелома на торжище, надеясь заставить всерьез поверить, что они пришли «во храм». В своей старой департаментской, т.-е. почти райской, невинности они полагали, что как минус на минус дает плюс, так двойное предательство возвращает нравственной репутации ее первоначальную свежесть. Они ждали оваций, курьеров и сантимов,— очень много сантимов. Ибо охранные энтузиасты и департаментские романтики почти так же страстно любят сантимы, как и «недостижимые идеалы». И это даже еще вопрос, что им дороже: идеалы или сантимы...

Но дело пошло не гладко. Меньщиков дрожал над своим кладом — охранными сведениями — и еще больше дрожал над своей пенсией. Он давал материалы по частям и в строжайшей тайне. Бурцев дополнял эти сведения из других источников, проверял их, поднял мировой шум и собрал сотню тысяч франков, которую тут же целиком израсходовал на свои «изыскания» *). А Меньщиков, в конце концов, все-таки лишился правительственной пенсии и... не приобрел революционной стипендии. Вслед за Бакаем он почувствовал себя выжатым лимоном. Желчь

*) Это последнее вынужден признать и Бакай.

разочарования отравляет и душит его. «*Публика*... О, вам уже знакомо, что такое *публика*»...

Почему ему не было непосредственного доступа к этому тысячеголовому чудовищу — публике? Почему нужен был Бурцев? Зачем? Зачем этой «публике» понадобился непременно незапятнанный человек, как посредник и как гарантия разоблачений? О, будь проклята Европа, материк старых предрассудков! Amerika, du hast es besser... (Америка, ты лучше...).

И Меньщиков переплывает океан — к счастью для литературы — не на «Титанике» [76]).

Как многие «уставшие от Европы», он хочет в Америке начать сначала. Увы! Его двадцать охранных лет, его предательства и преступления, вся тяжелая ноша его прошлого, которая тянет его ко дну, — она с ним, он не мог сбросить ее в старой Европе; но теперь проклятье его судьбы воплотилось для него в одном слове, и это слово: Бурцев. Начать сначала! Он покупает большую банку американских чернил и приступает к разрушению авторитета, который, как он мнит, встал между ним и его будущим, т.-е. тем, чего у него нет. Он окружает себя крайне двусмысленными или совсем недвусмысленными элементами эмиграции и вооружает их своей злобой и своим «пером». Начать сначала! Он пишет к чужим пасквилям шиллеровские предисловия и обещает выпустить вскоре свои собственные пасквили. Все напрасно. Он ничего не достигнет, — вот разве только обогатит литературу новым охранно-патетическим родом, который не предусмотрен в теории словесности, но который заставляет самого снисходительного и выносливого читателя корчиться от отвращения и вспоминать об институте арапников.

«Киевская Мысль», № № 129 и 130,
10 и 11 мая 1912 г.

ГАРТИНГ И МЕНЬЩИКОВ

Это было в июне 1903 г. Самоковлиев имел мандат от сибирского союза на съезд социал-демократической партии. Второй по счету, этот съезд был в значительной мере учредительным, так как первый съезд, состоявшийся в 1898 г. в Минске, не оставил по себе организационных результатов: 10 марта последовал всероссийский «провал», который надолго ликвидировал центральную организацию.

Идейная борьба между «экономистами» и «политиками» закончилась под руководством «Искры» победой политиков, и второй съезд, через пять лет после первого, должен был «закрепить» победу «искровцев» и восстановить центральный аппарат партии. Самоковлиев вместе с тульским делегатом выезжал не из Женевы, чтобы не подцепить «хвостов», а со следующей маленькой и тихой станции Нион, где поезд стоит всего полминуты. В качестве добрых русских пошехонцев они поджидали поезд не с той стороны, с какой полагалось, и когда экспресс подошел, не могли войти в вагон, так как площадка была с их стороны защищена железной переборкой. Перекинувшись несколькими словами, делегаты решили пролезть со стороны буфера. Прежде, однако, чем они успели взобраться на площадку, поезд тронулся. Начальник станции увидел над буфером двух молодых пассажиров и дал тревожный свисток. Поезд сейчас же остановился, так что делегаты, сибирский и тульский, были спасены. Старший кондуктор явился к ним немедленно по водворении их в вагон и дал им понять, что таких бестолковых субъектов он видит первый раз в жизни и что с них полагается по 50 франков за остановку поезда. Делегаты дали ему в свою очередь понять, что ни слова не знают по-французски. В сущности это было не вполне верно, но — целесообразно: покричав на них еще минуты три, толстый швейцарец оставил их в покое. Только позже, при проверке билетов, он снова поделился с другими пассажирами своим нелестным мнением об этих двух господах на-легке, которых пришлось снимать с буфера.

Прибыли делегаты в Брюссель вполне благополучно, и заседания съезда открылись там в укромном помещении над складом рабочего кооператива в Maison du peuple (Народном Доме). Уже в первые дни делегаты стали замечать за собою «слежку». Самоковлиев — нужно, впрочем, сказать, что этим именем назывался собственно не сибирский делегат, а какой-то неведомый ему болгарин, по паспорту которого он обосновался в Брюсселе, — Самоковлиев ужинал в ресторане «Золотого фазана», где часть делегатов засиживалась обыкновенно далеко за полночь. Съезд длился без конца. На второй неделе Самоковлиев поздно ночью вышел из «Фазана» вместе с Верой Ивановной Засулич; им пересек дорогу одесский делегат З., который, проходя мимо, прошипел: «За вами шпик, расходитесь в разные стороны, шпик пойдет за мужчиной» — и повернул назад. З. был

великий специалист по части филеров, и глаз у него был на этот счет, как астрономический инструмент. Он жил тут же, подле «Фазана», в верхнем этаже и свое окно превратил в наблюдательный пост.

Самоковлиев простился с Верой Ивановной и пошел прямо. В кармане у него был болгарский паспорт и 5 франков. Филер — высокий, худой фламандец с длинным носом — пошел за ним. Было уже за полночь, и улица была совершенно пуста. Делегат быстро зашагал по бульвару, филер за ним на расстоянии 10 шагов, как еслиб это был носильщик. Так шли минут 10. Делегат внезапно остановился у дерева. Почти набежав на него с разгону, остановился и «носильщик». Постояли молча минуты три-четыре, потом снова тронулись в путь. На бульваре, кроме них, ни души. Самоковлиев круто обернулся назад и уперся в своего фламандца. «M'sieu, как называется эта улица?» Тот оторопел и, растопырив руки, прижался спиною к стене. «Je ne sais pas» («не знаю»)... Самоковлиев рассмеялся и пошел дальше — все прямо. Где-то пробило час. Встретив первый поперечный переулок, свернул в него и пустился бежать со всех ног. Фламандец за ним. Так два незнакомых человека мчались друг за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. Обежав квартал с трех сторон, Самоковлиев снова вывел своего фламандца на бульвар. Оба устали, обозлились и угрюмо пошли дальше. На улице стояли два-три извозчика, — брать одного из них было бы бесполезно, так как филер взял бы другого. Пошли дальше. Бесконечный бульвар стал все же как будто кончаться. Возле небольшого ночного кабачка стоял одинокий извозчик. Самоковлиев с разбегу уселся в экипаж. Филер подбежал к извозчику и стал что-то шептать.— «Поезжайте, поезжайте, мне некогда!». «А вам куда?» Филер насторожился. Делегат назвал парк, в пяти минутах ходьбы от своей квартиры. «Сто су! (пять франков)» нерешительно сказал извозчик. «Езжайте!» Извозчик подобрал вожжи. Филер бросился в кабачек, вышел оттуда с гарсоном и стал указывать ему на своего мучителя... Через полчаса, встав у парка, делегат был уже у себя в комнате. Зажегши свечу, он заметил на ночном столике письмо — на свое болгарское имя. Кто мог ему писать сюда? Оказалось, печатное приглашение, обращенное к sieu Samokovlieff, явиться завтра в 10 час. утра в полицию с паспортом. Значит, другой филер проследил сибирского делегата накануне, и вся эта ночная гонка по бульвару оказалась

совершенно бескорыстным искусством для обоих участников. «Sieu» — нечто вроде проходимца — не предвещало ничего хорошего. И действительно: те делегаты, которые являлись в полицию, получали предписание о выезде в 24 часа за пределы Бельгии.

Съезд переселился в Лондон и там закончил свои работы, надолго расколов социал-демократию на большевиков и меньшевиков...

* * *

Заведывавший тогда берлинской агентурой Гартинг доносил в департамент полиции, что «брюссельская полиция удивилась значительному наплыву иностранцев, при чем заподозрила 10 человек в анархических происках». Почему именно 10? Всего делегатов было больше 40 и около 15 гостей с совещательным голосом. Откуда знал Гартинг с такой точностью, что брюссельская полиция заподозрила именно 10 человек в анархических происках? Очень просто: если не сам Гартинг, то кто-либо из его коллег и навел брюссельскую префектуру на эти подозрения...

Доклады Гартинга о съезде — их два — очень любопытны и, при всей бестолковости этих документов, в них наврано меньше, чем можно было бы предполагать. У Гартинга был свой осведомитель — он хвалился даже, что целых три, — не делегат, но лицо несомненно близкое к организации съезда. В то время как Самоковлиев лез на буфер на маленькой станции, чтобы не выезжать из Женевы, или убегал от филера на брюссельском бульваре, Гартинг уже запасался внутренним осведомителем, как бы воронку поставил перед заседаниями съезда, и через эту воронку все сведения должны были безошибочно притечь к нему. Но на этом дело не заканчивалось. В то время как Гартинг докладывал свои сведения департаменту полиции, затыкая враньем неизбежные пробелы своей осведомленности, в департаменте сидел г. Леонид Меньщиков и тщательно списывал все поучительные документы — для чего? Неизвестно, для чего он их *тогда* списывал, но сейчас он приступил к их опубликованию в Париже *). Таким образом не только в конспирации второго съезда, но и в конспирации департамента оказалась дыра. И там, и здесь у дыр оказалась вражеская воронка. И это еще

*) «*Минувшее*». — Русский политический сыск за-границей. Часть первая. 1914.

вопрос, какая из двух воронок в последнем счете действительнее. Впрочем, тут и вопроса нет никакого.

Оба они — и Гартинг, и Меньщиков — фигуры интересные и достигшие в последние годы немалой популярности. Аркадий Михайлович Гартинг, — как в свое время очень подробно сообщалось о нем в газетах в связи с разоблачением его Бурцевым, — в интимных кругах «Аркашка», он же Ландезен, в действительности Абрам Гекельман, провокатор-динамитчик, заочно приговоренный французским судом к каторжным работам, впоследствии статский охранный генерал и кавалер французского ордена почетного легиона (под фальшивым именем!), Гартинг отличался тем, что успешно вербовал шпионов. С 1902 г. он заведывал в Берлине специальной агентурой, на содержание которой отпускалось вначале 45.000 руб. в год. О содержании этой организации знала германская полиция. Затем Гартинг перешел в Париж и заведывал там агентурой до 1910 г., когда был, при содействии Меньщикова, разоблачен Бурцевым в печати.

Сам Меньщиков тоже начал радикалом. «В дни далекой юности, — так пишет он о себе,— я был предан одновременно двумя «товарищами», оказавшимися агентами охраны: тем, кто меня пропагандировал (Зубатов), и тем, кого я развивал (Крашенинников). Я решил тогда вступить в лагерь охранников, чтобы раскрыть приемы их деятельности»... Там он, не больше и не меньше как два десятилетия, занимался изучением «вопроса», впрочем не теоретически только: так, весною 1902 г. он совершил — по перехваченным адресам и с перехваченным паролем — большое турнэ по северной России, последствием которого был арест нескольких десятков человек. Это произошло в связи с подготовкой того самого социал-демократического съезда, который впоследствии так обстоятельно «освещался» Гартингом. И этот же самый Меньщиков, пытавшийся сорвать подготовку съезда, «осветил» в свое время Гартинга — «в интересах освободительного движения»! Чудны дела твои, господи!

Разоблачение провокации Меньщиков начал осенью 1905 года, когда он, еще состоя на службе, послал партии социалистов-революционеров письмо с указанием на двух провокаторов: Татарова и Азефа, из которых впоследствии первый был убит, а второй скрылся. К «полной реализации данных о шпионах» Меньщиков приступил после того, как перебрался за-границу. Здесь, как известно, он прежде всего открыл Бурцеву настоящее

имя Гартинга, затем, через Бурцева же, сообщил социал-демократии о том, что в ее заграничной среде вращается провокатор Батушинский (он же Барит). Одновременно он открыл бундистам провокатора Каплинского, социалистам-революционерам — Зинаиду Жученко; он же, как сообщалось, разоблачил заслуженного агента охраны — Анну Егоровну Серебрякову. Осенью 1909 г. Меньщиков передал специальным делегатам партийных центров списки агентов охраны, при чем на долю российской социал-демократии пришлось 90 фамилий, на долю Бунда—20, польских революционных партий—75, социалистов-революционеров — 25, кавказских организаций — 45, финляндцев — 20. В числе многих других Меньщиков раскрыл одну из масок «Нового Времени», бывшего судейкинского агента Владимира Дегаева, который, под именем Полевого (Fields), состоит теперь секретарем русского консульства в Нью-Йорке.

Гартинг, — как сообщалось недавно в газетах, — ныне получает хорошую пенсию (а г. Меньщиков пенсии лишен). Но зато действительный статский советник «Аркашка» вынужден в тиши есть свой пирог с капустой и даже орден почетного легиона может надевать только на крестины к старшему филеру; только и радости старику, что снесет иногда в «Новое Время», да и то в сумерки, статейку о чухонском сепаратизме... Совсем иное дело г. Меньщиков. Он скинул с себя свои двадцать департаментских лет, точно виц-мундир снял, и не видит причин прятаться от света, наоборот, всячески ищет гласности. Двигательных мотивов Меньщикова мы не знаем; просто поверить на-слово, что он двадцать лет сидел в департаменте «для изучения нравов» — затрудняемся. Но это все равно, сопоставление двух превратных судеб выходит из этого не менее поучительным. Провокатор уличенный проваливается в преисподнюю и угрюмо потребляет накопления прежних лет. Перебежчик из охраны измены своей нимало не стыдится, наоборот, афиширует ее и требует признания. Искренно или лицемерно, — не все ли равно? Ведь и лицемерие есть не что иное, как подделка порока под добродетель.

Свою первую книгу охранных материалов г. Меньщиков снабдил предисловием, из которого явствует, что он не просто печатает документы, но подготовляет материалы для будущего «русского Олара или Сореля» [77]), который и возведет «построение, вполне достойное славного прошлого освободительной борьбы». Мало того: г. Меньщиков не только поставляет материалы для

будущего «построения», он хочет влиять и на настоящее. Он, Меньщиков, не верит, что в России есть «парламент», «конституция». «Легальные возможности, о которых твердят некоторые оптимисты», он считает «призрачными», а «успехи героических попыток использования этих возможностей — сомнительными». И далее следует предсказание: «Близок момент, когда самые наивные люди увидят перед собою ветхое «разбитое корыто», а господа легализаторы — те из них, которые не намерены ползти по пути приспособлений до потери собственного лика, принуждены будут»... и пр., и пр. Конечно, совершенно даже независимо от политической ценности приведенных суждений, труд бывшего чиновника департамента полиции много выиграл бы, если бы этих суждений не было, но нужно признать, что фигура автора многое утратила бы в цельности. Г. Меньщиков пишет в том же предисловии: «бунт» (а не восстание) декабристов, по старой департаментской памяти, и в то же время, не опасаясь вызвать рискованные ассоциации, проповедует «повышение этических требований» в революционной среде, в качестве «профилактического» средства против предателей...

Своих бывших сослуживцев г. Меньщиков аттестует не с лучшей стороны. Они «вообще не блещут умом и способностями» (стр. 223). Про такую первоклассную звезду, как Рачковский, г. Меньщиков свидетельствует: «Рачковский обнаружил в своих донесениях и убогость познаний, и политическую безграмотность».... И против этой оценки поистине трудно что-либо возразить. Все публикуемые Меньщиковым донесения — прямо-таки памятники умственной убогости. А ведь г.г. доносители (Ратаев, Рачковский, Гартинг) тем только и жили, что «освещали» революционное движение. Могли бы хоть руку набить. И однако же осветители ничего не понимали из того, что происходит перед их глазами, и не с исторической, там, точки зрения, а даже и с полицейско-деловой. Немудрено, что Зубатов со своей ориентировкой в революционных отношениях и со своей идеей полицейского экономизма показался чуть не гением в этой среде. Остальные просто вынюхивали и, не мудрствуя лукаво, соединяли воедино доклад «сотрудников» и наблюдения филеров, механически заполняя пробелы враньем, и все это отправляли дальше. Вранье вклеивали, точно неряшливую заплату накладывали, без всякого соответствия с основной тканью. О каждом из них можно было сказать то же, что о Кшепшицюльском: «Лгунище он был

баснословный, хотя не забавный»... Особенно глупый характер имеют донесения, связанные с фракционными расколами в революционной среде. «Сотрудник» (т.-е. попросту провокатор) сидит в одной из фракций и в меру своих способностей передает по начальству все сведения, как они преломляются сквозь психологию того кружка, который он «освещает». Охранный гений Рачковского не учитывает даже и этого обстоятельства. В результате оказывается, что Рачковский смотрит на деятельность Плеханова не только полицейскими глазами, но и глазами его противников — «экономистов». Он жалуется на «происки» и «интриги» Плеханова так, как если бы близко принимал к сердцу интересы обиженной Плехановым группы. Еще курьезнее в этом отношении то донесение Гартинга о социал-демократическом съезде, которое мы выше уже назвали. Весь доклад построен на сообщениях сотрудника, тесно стоявшего к большевистской фракции. Гартинг старательно излагает, под видом характеристики членов съезда, все те мнения и пересуды, какие ходили в среде большевистской половины съезда о противниках — меньшевиках, и не только не дает фракционного ключа к этим характеристикам, но и не замечает того, что о большевистских членах съезда у него почти нет отзывов, а если и попадаются, то только положительные. Главным содержанием сыскных изысканий остаются, разумеется, имена. Здесь главное богатство докладов, но здесь докладчики больше всего врут, чтоб заполнить прорехи своей информации. Вот один из многих примеров: От Баку на съезде делегатами были два армянина: Богдан Минаевич Кнунианц (Радин), сосланный впоследствии на поселение по делу Петербургского Совета Рабочих Депутатов, бежавший из Сибири и умерший 14 мая 1911 г. от тифа в бакинской тюрьме, и Аршак Герасимович Зурабов, впоследствии известный депутат II Думы, а в настоящее время — эмигрант. Имен их Гартинг не узнал. Но ему или его «сотруднику» было известно, что в социал-демократических рядах подвизается армянин Лалаянц, по кличке Инсаров, видный деятель (не присутствовавший, однако, на съезде). И вот Гартинг создает специально для армян круговую национальную поруку и называет Кнунианца и Зурабова... Инсаров I и Инсаров II! А эти свободно созданные Гартингом «Инсаровы», пройдя сквозь горнило департамента и разойдясь оттуда по губерниям, легли несомненно в основу охранного мифотворчества.

* * *

Когда читаешь эти документы, испытываешь странное чувство. История ткет свою основу, а чертенок старается изо всех сил порвать и перепутать эти нитки. И моментами кажется, будто это не чертенок, а всесильный сатана, и будто старуха-история ослепла и ослабела и не справиться ей со злым духом... Вот имя Бурцева, впоследствии прославившегося своими разоблачениями, а об нем в этих донесениях сообщается буквально все, что он делает, что говорит, что предполагает, точно он под стеклянным колпаком живет: Рачковский знал, как Бурцев в разговорах объяснял «тайную цель» издания «Былого», что̀ он говорил о литераторе-агенте Панкратьеве, кого рекомендовал в России; *корректуры* изданий Бурцева препровождались в департамент полиции вместе с письмами — от него и к нему. Оказывается, между прочим, что департаменту известен был ключ шифра, который в то время употреблялся всеми находившимися в конспиративных сношениях с Бурцевым. Шифр этот: «И вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою». Происходило, следовательно, вот что: Бурцев писал черновик письма, заменяя буквы цифрами, подписывал фразу ключа, букву под буквой, подставляя и в ней цифры, слагая обе строки и посылая адресату цифры суммы. Получатель производил тут же изнурительную работу в обратном порядке и таким образом выписывал фразу, которая в это время была уже доподлинно известна департаменту, может быть, даже по бурцевскому черновику. А если опять-таки вспомнить, что в департаменте сидел Меньщиков, который ныне занимается расшифровкой департаментских шифров, то выйдет совсем какая-то чертова игра, в которой на первый взгляд ни начала, ни конца не видно. Но это только так кажется, — есть и начало, и конец...

Рачковский докладывал, что у какого-то революционера была перехвачена рукопись — шутка сказать — биографии Вашингтона. Казалось бы, после этого спасительного акта лжетолкования должны бы окончательно прекратиться. Не тут-то было: тому же Рачковскому приходилось в 1901 г. доносить, что освободительное движение «пустило в России глубокие корни не только среди нашей интеллигенции, но и среди рабочих». Рачковский приходит, разумеется, к тому выводу, что нужно незамедлительное расширение охранных штатов и окладов. Это,

разумеется, и произошло. Но разве же река потекла от этого вспять? И разве перестали на свете писаться биографии Вашингтона? Разве мысль человеческая иссякла в своих источниках? Ничего подобного! И разве не переменился на наших глазах весь облик России за эти 10—15 лет!

Г. Меньщиков, правда, начисто отрицает политические завоевания предшествующей эпохи и утверждает, будто мы вернулись к старому разбитому корыту. Если бы дело обстояло так, это значило бы, что Рачковский победил, что вместе с Гартингом и Азефом он заставил отечественную историю вращаться в порочном кругу. Но ведь это же вздор, и г. Меньщиков лучше сделал бы, если бы ограничил круг своих суждений реестром достоверных провокаторов. Ничто не вернулось на старые позиции. Рачковские и Гартинги воровали письма, громили типографии, но исторического движения не задержали. И в последнем итоге игру свою проиграли безвозвратно.

«Киевская Мысль», № 168,
21 июня 1914 г.

«РОССИЯ» О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ

I. Сивый мерин

В газете «Россия» [78]), которая ежедневно углубляет миросозерцание губернаторов и земских начальников, есть писатель Сыромятников. Это человек обширнейшей учености: он, например, отлично обучен китайской грамоте, и не один уже русский губернатор обогатил, благодаря г. Сыромятникову, свой ум плодами китайской философии. Правда, с того времени, как китайцы — наперекор всем заветам истинно-китайской мудрости — весьма непочтительно обошлись со своим богдыханом, г. Сыромятников, как говорят, сделал даже попытку разучиться китайским письменам: успешно или неуспешно, сказать не можем. Но факт таков, что г. Сыромятников и по сей день состоит при «России» в должности штатного мудреца.

Когда в редакцию «России» попадает какой-нибудь необычайный, замысловатый политический документ, при виде которого околоточные сочинители «России» до чрезвычайности уподобляются баранам, наткнувшимся в траве на браслет, тогда дежурный унтер надевает шапку и отправляется за «самим» Сыромятниковым.

Так, повидимому, произошло и 8 сентября. «Россия», по ее словам, получила «из Вены» социал-демократическую избирательную платформу, а также резолюции социал-демократической конференции о выборной тактике. Делать нечего, пришлось Сыромятникову писать фельетон.

Социал-демократическая платформа Сыромятникову — нужно прямо сказать — окончательно не понравилась. Логики в ней нет, любви к отечеству не приметно, а к тому же и народной гордости нехватает.

Больше всего, однако, возмутило критика место отправки платформы: легко ли вымолвить — Вена!

«Австрийская почтовая марка,— пишет он,— на прокламациях их (социал-демократической) партии должна возмутить народное чувство... «Дело, видите ли, в том, что «в Австрии значительная партия потрясает оружием по направлению к Востоку» (т.-е. к России), а в это время в редакции «России» получается социал-демократическая платформа с австрийской маркой. Нет, это не спроста. Тут, как хотите, без подмоги со стороны австрийской дипломатии дело не обошлось. Не из канцелярии ли австро-венгерского престолонаследника, главы воинственной партии, выданы российским социал-демократам деньги на почтовые расходы?

В платформе содержится резкое осуждение русской политики на Балканах; а так как на Балканах с Россией упорно и притом победоносно соперничает Австрия, то не ясно ли, что осуждение происков русской дипломатии «неосторожно открывает карты и обличает нанимателей»? Дело очевидное: социал-демократическая платформа написана по заказу Франца-Фердинанда Габсбургского... Кто в этом сомневается, пусть еще раз посмотрит на австрийскую марку и на венский штемпель! — Сыромятников, как видим, сразу берет быка за рога.

Насчет австрийской марки довод, правда, слабоватый. В Галиции выходят черносотенно-руссофильские издания, вроде «Прикарпатской Руси» или «Галичанина», а затем с австрийской маркой направляются в редакцию «России». И бумага, и набор, и типографская краска этих изданий, и перья их редакторов, и почтовые марки на них — все это оплачено из сумм петербургского казначейства до последней копейки. Значит, не одно же злое исходит из Австрии: есть тут и праведники, патриотически кормящиеся из одного корыта с Сыромятниковым. Австрий-

ская почтовая марка в силу своей полной беспартийности — улика недостаточная...

Кроме того, мы можем довести до сведения г. Сыромятникова, что австрийское правительство времен Эренталя [79]) конфисковало один № издающейся в Австрии русской социал-демократической газеты — именно за статью против хищной политики Габсбургов на Балканах.

А кроме того... Кроме того, самая мысль о связи русской социал-демократии с черно-желтыми австрийскими империалистами до такой степени глубоко вероподобна и остроумна, что изобретение ее по чистой совести не может быть приписано никому иному, кроме сивого мерина, который только из скромности укрывается за псевдонимом Сыромятникова.

И хотя сивый мерин — чрезвычайно ученый мерин, хотя он читал в подлиннике Конфуция и знает наизусть половину Гомера, однако же он все-таки всего лишь казеннокоштный мерин, получающий ежегодно свою порцию интендантского овса, — и поелику он начинает пакостничать насчет политической морали рабочей партии, мы можем только сказать одно:

— Дежурный унтер! Отведите-ка сивого мерина в конюшню!

II. «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома!»

Попробуем, однако, подойти к вопросу с его серьезной стороны.

Как обстоит по существу дело с социал-демократическим осуждением балканской политики русского правительства? Не облегчается ли этим и впрямь игра австрийской дипломатии? Не предаются ли таким путем рабочей партией интересы балканских славян? В этой области даже и кадеты выступят на помощь патриотам из «России».

Сыромятников приводит следующее место из социал-демократической платформы: «Кадеты не переставали поддерживать политику милитаризма, каждогодно голосовали за ассигновки на флот и армию и за военный набор и старались зарекомендовать себя перед капиталистической буржуазией, разжигая воинственные страсти, проповедуя борьбу с Германией и Австрией, науськивая дипломатию на более активную политику на Ближнем Востоке и развертывая знамя панславизма».

Этой своей работой кадеты, по глубокому нашему убеждению, только поддерживали стремя тем всадникам, при которых Сыромятников состоит в должности ученого мерина.

И мы спрашиваем: много ли от этого реакционного панславизма, поддержанного кадетским «новославизмом», перепало «братьям-славянам» на Балканском полуострове?

Тут достаточно привести один наиболее убедительный исторический факт из эпохи пятилетия III Думы.

Когда Австро-Венгрия — не ее рабочий класс, не народ, а габсбургская династия — окончательно «укрепила» за собой в вечное владение две населенные сербами провинции: Боснию и Герцоговину, тогда вся наша «патриотическая» печать: «Россия», «Новое Время», «Речь», «Современное Слово», «Русское Слово», «Русские Ведомости» — немедленно подняли воинственный шум, ударили в тазы и тарелки славянофильства, посылали громы и молнии на головы захватчиков, подбадривали маленькую Сербию к войне с Австрией, обещали сербам помощь «братской России». В мыльной пене фальшивого братолюбия исчезли тогда политические различия либерализма и реакции.

Как держала себя в ту эпоху международная социал-демократия?

В Австрии социал-демократы без различия национальности непримиримым образом выступали против австро-венгерского милитаризма и империализма, против захвата Боснии и Герцоговины, против насилия над слабыми народностями — за мир, свободу и культурное развитие трудящихся масс. И все австрийские Сыромятниковы не щадили казенных габсбургских чернил для доказательства того, что австрийская рабочая партия предает врагам интересы, честь и достоинство отечества.

В Сербии социал-демократия одна имела мужество открыто выступить против авантюристического плана войны с Австрией. Единственный тогда социал-демократический депутат в сербской скупщине Триша Канцлерович беспощадно обличал крикливых сербских патриотов с парламентской трибуны. «На кого вы надеетесь? — спрашивал он их. — На русскую реакцию? Но она безжалостно предаст вас в самую критическую минуту. А если бы русское правительство, угнетающее свой собственный народ, действительно встало на вашу защиту, русская «защита» пришлась бы вам ничуть не лучше австрийской!» И сербские патриотические дельцы выли при этих словах от негодования

стучали кулаками по пюпитрам и кричали, что Канцлерович — агент Габсбургов.

В России социал-демократия и в Думе и в печати не менее решительно боролась против воинственного пыла и всеславянских происков г. Извольского и поддерживавших его партий, включая и партию г. Милюкова. «Вы хотите, — говорила она,— освобождать балканских славян? Начните ближе, господа! Освободите-ка для начала из сословно-бюрократической неволи ваш собственный народ! У вас чешутся руки для славянобратских объятий? Чего лучше: снимите кандалы с Польши, дайте ей автономию (самоуправление)! Предоставьте свободу национально-культурного развития украинцам! Ведь поляки и украинцы, как вам ведомо, — тоже славяне. И ведь они поближе к вам будут, чем балканские сербы. Начните-ка у себя дома, где вам никто не мешает... А пока в собственной стране хозяйничаете при помощи исключительных положений и военных судов, до тех пор вам выступать в роли народных «освободителей» на Балканах — не к лицу, господа! И со стороны рабочей партии вы встретите обличение и решительный отпор!».

Что же, может быть, ошиблась социал-демократия?

Факты ведь у всех еще в памяти. Сербия была подуськиваниями и обещаниями русских патриотов доведена до кипения. В ожидании русской помощи она напрягла свои финансовые и военные силы до надрыва. А когда пробил решительный час, петербургская дипломатия вежливо откланялась перед братьями-сербами и сказала им: «Расхлебывайте балканскую кашу сами!».

Нет, хозяевам г. Сыромятникова поистине не к лицу корчить из себя покровителей славянства. «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома!». А либеральному панслависту Милюкову — не вводить бы Ерему во искушение!..

И теперь, когда на Балканах снова становится жарко, когда над европейскими народами снова нависает кровавая опасность общеевропейской войны из-за балканской добычи, социал-демократия будет с удвоенной и утроенной энергией бороться против милитаризма и шовинизма, против лживо-патриотического словоблудия, против либерально-славянофильского авантюризма. При каждом новом движении «Еремы» ближнего Востока, он услышит наш сторожевой окрик: «Прочь от Балкан!».

Предоставим балканским народам самим устраивать свои судьбы. У нас достаточно работы в нашей собственной стране,

которую хозяева Сыромятникова захлестнули петлей 3 июня [80]). Только освобожденная из тисков бесправия и рабства, только новая, демократическая Россия способна стать носительницей права и свободы вовне.

Эту свободную Россию еще нужно создать!

III. С кем народ?

Социал-демократическая платформа не нравится правительственной газете «Россия». Что мудреного? «России» нравится столыпинская и коковцевская политика, «России» нравятся думские речи министра внутренних дел Макарова, «России» нравится внедумская деятельность ротмистра Трещенкова [81]), «Россия» тем живет и — сыта бывает. А социал-демократическая платформа есть сплошной протест рабочего класса против той системы гнета, травли, разгромов, издевательств и лицемерия, которая составляет душу режима 3 июня. В том дива нет, что «Россия» злобно извивается перед социал-демократической платформой, как чорт перед крестом. Если Сыромятниковых корчит от ненависти к мужественно заявленной правде, так ведь в том и служба их, за это самое им и плата положена.

Но этого «России» мало. Она еще хочет — видите ли — показать, что социал-демократическая платформа — не рабочая платформа. Она заявляет, что за этой платформой «не пойдет ни один русский рабочий, у которого водка и разврат не вытравили чувства собственного достоинства».

Ни один рабочий! — это крепко сказано.

Но разве же «России» неизвестно, что рабочие, уполномоченные на выборах во все три Думы, были почти сплошь социалисты? Разве ей неведомо, что 6 губерний с обязательным рабочим депутатом — несмотря на то, что в губернском избирательном собрании у дворян своя рука владыка — дали 6 депутатов — социал-демократов? Что это: случайность, что ли?

Или, может быть, наемники «России» хотят этим сказать, что русский рабочий класс сплошь изъеден водкой и развратом?

Если так, то чего же стоит та ваша государственность, та политика, та мораль, которые обрекают водке и разврату самый важный и ценный класс современного общества! Ибо одного вы не сможете отрицать: что вся современная государственность —

с ее железными дорогами и телеграфом, крепостями и броненосцами, — держится на труде пролетариата.

Так клеветники на рабочих бьют по лицу то, что они сами объявляют священным и неприкосновенным.

Или, может быть, под социал-демократическим знаменем шли рабочие пять лет назад, а с того времени все переменилось, и там, где царили идеи Маркса, теперь царят идеи... чьи?.. Пуришкевича, Гучкова, Сыромятникова... чьи?.. какие у вас идеи?

Но допустим. За эти пять лет ведь много воды утекло под русскими мостами, — и не одной воды, а и крови человеческой. Допустим, что взгляды и надежды русских рабочих, их любовь, их гнев и впрямь переменились.

Чего же лучше! Ведь так легко это узнать и показать, так просто обнаружить бессилие социал-демократии и стряхнуть ее долой: нужно только дать самим рабочим возможность открыто и свободно высказать, что они думают и чего хотят.

Нужно установить в стране свободу слова и печати, свободу союзов и собраний и неприкосновенность личности.

Г. г. Сыромятниковы! Отчего бы вам не предложить это вашим хозяевам на страницах «России»? Выгода прямая: раз социал-демократы — «отбросы», то они и будут отброшены. Попробуйте, а?

Если народ не имеет с социал-демократической партией ничего общего, если народ одного духа с вами, — так есть ведь простейший и несомненнейший способ обнаружить это на деле. Способ этот.—

Всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право.

Что может быть яснее, неотразимее, честнее этого требования? Каждый гражданин своего отечества, каждый взрослый человек — мужчина или женщина — должен иметь равный голос в судьбах родной страны.

Господа патриоты!

Если ваши «идеалы» — идеалы самого народа, то снимите же по крайней мере намордник с этого народа. Дайте ему самому сказать за себя решающее слово.

Или, может, вы на веки вечные уполномочены замещать собою народ? Может, вы взяли волю народную с подряда? Где? Как? Когда? Да разве же воля великого народа—это солдатские портянки, которыми каждый интендант может распоряжаться по собственному усмотрению?

Так как же, господа патриоты, за вас народ или против вас? Если за вас, тогда признайте полновластье народного представительства, основанного на всеобщем, равном, прямом и тайном избирательном праве.

Ведь социал-демократы — заведомые враги народа, а вы — его старые, испытанные друзья. Ведь народ знает вас, верит вам, пойдет за вами. Зачем же дело стало? — доверьтесь народу, его разуму и его воле.

Но нет, вы не доверитесь ни на один день, — ибо вы-то люди насквозь прожженные и отлично знаете, где раки зимуют. Вы-то превосходно понимаете, что про народное к вам доверие Сыромятниковы просто лгут — построчно, поденно и помесячно. Лгут и сами знают, что никто им не верит.

«Луч» №№ 2, 3, 8,
18, 19, 25 сентября 1912 г.

КАЗЕННАЯ НЕДОТЫКОМКА

В числе прочих бездельников, проедающих казенные харчи, в никому никогда ни для чего ненужной «России» околачивается старая недотыкомка, именуемая Сыромятниковым.

Тупая и злая недотыкомка избрала себе в последнее время специальность: сражаться с социализмом «духовным мечом», т.-е. писать благочестиво-философические комментарии (разъяснения) к обыскам и арестам среди передовых рабочих и социал-демократической интеллигенции.

В последнем своем фельетоне Сыромятников снова жует гнилыми зубами вопрос о «волках» — социалистах и «овцах» — рабочих.

Но в припадке удушающей его злобы — ибо обычно его совсем не примечают! — он забывает всякую осторожность и меру и, во-первых, выдает один старый секрет своей фирмы, во-вторых, слишком уж нагло, как увидим, напрашивается на пинок.

Обвиняя социал-демократов в провоцировании рабочих на «бунт», Сыромятников называет рабочих «жертвами социалистических Азефов». А, вот как! Стало быть, Азеф — провокатор, стало быть, у него жертвы? Стало быть, имя Азефа — постыдное имя, которым можно браниться? А ведь в течение нескольких лет все недотыкомки из «России» брали Азефа под свою защиту, как опору, как надежду, как рыцаря порядка! А ведь Столыпин,

башмаки которого чистил Сыромятников, публично в III думе назвал Азефа «сотрудником таким же, как и другие».

Но в наше ужасное время, когда на свете не остается ничего святого, дух разложения проник и в священную дружину «сотрудников», — и вот потрясающие плоды: Сыромятников предает Азефа!

В целях обличения казенный «сотрудник» вспоминает про Совет Рабочих Депутатов, который де разорил рабочих, и рассказывает при этом, что советские главари нимало тогда не пострадали: наоборот, на рабочие деньги они купили в деревне землицы и домики и зажили припеваючи.

Защищать рабочих депутатов от Сыромятникова нет надобности. Но напомнить кое о чем полезно, ибо был в этом деле эпизод столь же постыдный для «фирмы», как и роль сотрудника Азефа.

Процесс Совета Рабочих Депутатов велся в свое время открыто, отчеты о нем печатались во всех газетах. По этим отчетам и сейчас можно установить следующее обстоятельство. На суде читалась таинственного происхождения прокламация, в которой члены Совета обвинялись в расхищении денег, с точным указанием сумм.

Жандармский генерал Иванов, ведший предварительное дознание, был в качестве свидетеля допрошен насчет таинственной прокламации, на основании которой он доискивался у свидетелей, как было дело с деньгами. Генерал Иванов, человек сокращенного образа мыслей, отозвался, что, кем и где была издана прокламация, он, Иванов, не знает. А дознание производил на основании внутреннего, так сказать, голоса: была касса, были живые люди, стало быть, не могли не воровать. А между тем в руках у защитников была уже в это время заверенная копия известного письма Лопухина к Столыпину и в этом письме Лопухин прямо указывал, что таинственная прокламация, обвинявшая в расхищении денег, была напечатана жандармскими офицерами на нелегальном станке — в квартире того самого жандармского отделения, офицером которого состоял и генерал Иванов, — с целью ясной и простой: внести смуту и взаимное недоверие в рабочую среду.

Оглашение письма Лопухина председатель не допустил. Но и без того свидетельскими показаниями вопрос был настолько выяснен, что прокурор Бальц в своей обвинительной речи выну-

жден был заявить: «Слухи о расхищении рабочих денег я оставляю без внимания, как ничем недоказанные и невероятные, ввиду характера подсудимых, как людей идейных». Таковы были подлинные слова государственного обвинителя.

А через шесть лет тупая и злая недотыкомка макает казенное перо в казенную чернильницу и на казенной бумаге выводит гласно опровергнутую клевету, которая уже пала однажды позором на головы ее инициаторов!

У Кузьмы Пруткова есть хороший афоризм, который кончается словами: «плюнь тому в глаза».

«Луч» № 46,
24 февраля 1913 г.

НИКОЛАЙ II

(Юбилей позора нашего: 1613—1913 г.г.)

Известный ныне умеренно-либеральный монархист Петр фон-Струве *) непочтительно называл Николая в 1904 году «августейшим штемпелем», который де любым министром прикладывается к бумаге. Эта оценка была, однако, неверной. Николай Романов не только штемпель. Он сам — несмотря на все свое ничтожество — играет очень большую роль во всех событиях своего царствования. Борясь за подчинение себе царя, министры, шептуны и временщики вынуждены не только льстить ему на словах, прославляя его боговдохновенную мудрость, но и подлаживаться под него на деле, цепляться за его симпатии, раздувать его капризы, угождать его предрассудкам, — и таким образом в конце концов именно он сам, Николай II, со своими взглядами и вкусами, оказывается в центре всей государственной машины, всех ее преступлений и злодеяний. И та личная ненависть, какую питают к Николаю сознательные рабочие, да и все мыслящие и честные граждане, в полной мере заслужена этим коронованным уродом.

* * *

В конец обделенный природой, вырожденец по всем признакам, со слабым, точно коптящая лампа, умом, со слабой волей, Николай был воспитан в атмосфере казарменно-конюшенной мудрости и семейно-крепостнического благочестия своего роди-

---

*) См. о нем в этом томе статью «Господин Петр Струве» на стр. 238. *Ред.*

теля, крутого и тупого Александра III. Что такое свободная мысль человеческая и высшие человеческие страсти, что такое идеалы человеческие, — этого он, разумеется, не мог никогда узнать своим немощно бескровным мозгом — да еще в окружающей его непроницаемо-подлой обстановке векового лицемерия, искательства и раболепия. Он видел изо дня в день отражение своей жалкой физиономии только в полированно-льстивых лицах придворных карьеристов и приживалов, — и они изо дня в день пропитывали его худосочный мозг тем убеждением, что он, Николай Романов, является сосудом божественной благодати, которую он и должен изливать на них и на их присных в форме золотого дождя.

Образ мыслей Николая складывался в 80-х и начале 90-х годов, в эпоху мировой реакции и тупой неподвижности, — и в его сознании Россия навсегда запечатлелась, как покорное и молчаливое царство под спасительной подковой Александра III. Интересы династии, царя, наследника, великих князей, княгинь и княжен; хищные аппетиты золоченой придворной черни; своевластие министров, по-собачьи раболепных перед царем; ненасытность титулованных крепостников; акулья пасть святейшего синода, — в этой обстановке, среди этих условий и влияний, сложился нынешний властитель России, — и мудрено ли, если вся эта, от отца, деда и прадедов унаследованная обстановка казалась и кажется ему таким же естественным, природным, «божеским», неизменным установлением, как солнечный свет и зимний холод?

«Не ждите земли: слушайтесь ваших предводителей дворянства», — строго сказал Николай крестьянам во время коронования, повторяя слова отца своего; — «будьте спокойны: я не забуду ваших нужд», — сказал он тогда же дворянам.

Новые потребности жизни, пробуждение народа, развитие революционного движения — все это поворачивалось к нему не только своей враждебной, но и своей непонятной, темной, «дьявольской» стороной. В маленькой, сырой и темной каморке своего миропонимания он не мог найти ничего для объяснения этих новых таинственных фактов, кроме церковных суеверий. Науки, книги — совершенно чуждая и враждебная ему область. Его прирожденная духовная трусость находит для себя единственный выход — в суеверии, в самых нелепых и непристойных формах его: колдовстве, гаданиях, заклинаниях, которые роднят Николая с каким-нибудь степным бурятом.

И трусость царя, и его суеверия неотменно эксплоатировались окружающими его придворными кружками, этими истинными разбойничьими шайками, во главе которых стоят матерые атаманы. Без понимания событий, запуганный ими и озлобленный, Николай беспомощно и злобно барахтается со дня своего воцарения в водовороте интриг, разрывает одну паутину, чтобы тотчас же попасть в другую, освобождается от влияния одного прохвоста, чтоб попасть под влияние другого, еще большего. Он хочет одного: охранения самодержавного идиотизма, общественной и государственной неподвижности. И он ищет людей и средств, которые дали бы ему возможность преодолеть козни и чары исторического процесса. Победоносцев, князь Мещерский, Плеве, князь Сергий, мощи Серафима Саровского, Зубатов, чудодей Филипп, Азеф, молебны и расстрелы, Столыпин и Распутин, спиритизм и провокация, он за все хватается — то поочередно, то одновременно, чтоб приостановить колесо развития.

Но оно не останавливается. Романов озлобляется — и то подлое и порочное, что лежит в основе его натуры, все бесстыднее выступает наружу. Тупая апатия все чаще сменяется в нем припадками эпилептической злобы. Он быстро привыкает к веревке, cиищу, кандалам, крови, — и чтение отчетов о погромах, заточениях, расстрелах доставляет ему сладострастное удовлетворение.

* * *

В Николае II, как не раз уже указывалось, есть много черт, роднящих его с полоумным Павлом, у которого рассудок заменялся сумасбродством, а чувства — полуживотными капризами. Но Павел куралесил в начале XVIII столетия у себя в Петербурге, отрезанный от населения всей страны. Он был страшен, главным образом, для придворных, для столичных чиновников, для гвардейских полков. Николай II получил власть над новой Россией, связанной воедино железными дорогами, телеграфом, централизованной бюрократией, широким внутренним рынком, единством капиталистических интересов.

Павел был испуган далекой и непонятной ему Великой Французской Революцией, но в собственной-то вотчине у него тогда было все спокойно. А Николай с первых же лет своего царствования оказался перед революционным движением в самой России, на всем ее протяжении. Если дикие сумасбродства Павла

носили преимущественно дворцовый характер, то уродливая личность Николая II определяла и еще определяет формы всей государственной политики, усугубляя ее подлый святошески-разбойничий, церковно-погромный характер.

В 1894 году Николай II вступил на престол, ознаменовав в 1896 году свое коронование ужасающей ходынской катастрофой. Праздничное поле, покрытое пятью тысячами трупов, — московская Ходынка — стала как бы кровавым предвещанием для всего этого кошмарного царствования.

Уже в 1895 году, когда во время стачки в Ярославле было убито 13 рабочих солдатами Фанагорийского полка, царь во всеобщее сведение написал на докладе министра: «Весьма доволен поведением войск во время фабричных беспорядков». И молодой, едва оперившийся самодержец, послал «сердечное спасибо молодцам-фанагорийцам». А в числе жертв фанагорийского молодечества были: одна женщина и один ребенок! Преступно-дрянная натуришка коронованного Митрофана без остатка проявилась в этом вызывающем «спасибо», которое послужило сигналом к бесчисленным дальнейшим кровопролитиям.

В 1897 году было в Домброве убито 8 рабочих.

В 1899 году много убитых и раненых в Риге.

В 1901 году 6 убито и 8 ранено на Обуховском заводе в Петербурге.

В марте 1902 года в Полтавской и Харьковской губерниях войско стреляло в крестьян, — были убитые и раненые.

В ноябре 1902 года казаки убили 6 рабочих и ранили 12 в Ростове.

В ноябре 1902 года убито казаками 5 человек и ранено 17 во время рабочей сходки на станции Тихорецкой.

В марте 1903 года убито в Златоусте 69 рабочих, ранено 100.

И так дальше, — все чаще и чаще: каждый местный сатрап уяснил себе, что легчайший и кратчайший путь к царским милостям лежит через кровь и трупы действительных или мнимых «бунтовщиков». А Николай II, начиная с 1904 года и до сего дня, никогда не упускал случая открыто проявить свою трусливо-кровожадную ненависть к народной массе, когда она хоть слегка приподнимет голову.

В 1902 году, когда Харьковский губернатор Оболенский перепорол волновавшихся харьковских крестьян, Николай II не только пожаловал Оболенскому орден, но и переслал ему через

Плеве свой царский поцелуй. Представителям корпуса жандармов Николай сказал в том же 1902 году: «Надеюсь, что связь, установившаяся сегодня между мною и корпусом жандармов, будет крепнуть с каждым днем». Корпус жандармов — ведь это его главная военная сила, его опора и надежда, его передовой отряд в борьбе с собственным народом! Аресты, ссылки, сечение розгами, избиения плетью, пытки, виселицы, расстрелы по суду и без суда — вот та нравственная атмосфера, в которой вольнее всего дышит своими жабрами русский царь. Злость, животная мстительность в нем скоро вырастают в ненасытную кровожадность — и эта дрянная фигура из мусорного ящика человечества становится единственной в своем роде по злодейству и преступности.

* * *

В первый же год Николаевского царствования было закрыто 6 изданий и отказано в разрешении 86 изданий. Ненависть к мысли человеческой, ко всему, на чем лежит печать духа святого, осталась вдохновляющей идеей царя, который через свой синод отлучил Льва Толстого от церкви. В этой ненависти соединился страх царя за колеблемый со всех сторон трон — с завистью обделенного природой человека. Недовольных студентов Николай приказал в 1899 году сдавать в солдаты, а демонстрантов-рабочих стали, с его поощрения, сечь. Он не раз мечтал о превращении университетов в казармы, а фабрик — в арестантские роты, — и со скрежетом зубовным наталкивался на препятствия.

Николай не остановился перед клятвопреступлением, перед нарушением своей собственной и своих предков торжественной присяги, чтобы обрушить бичи и скорпионы самодержавной власти на культурный и спокойный финляндский народ.

Доведя, при помощи Бобриковых [82]), финляндцев до восстания, Николай в ноябре 1905 г. трусливо и вороватo отступил, дав обещание восстановить автономию Финляндии. Но как только улеглись волны революционного прибоя, августейший клятвопреступник снова возобновил свою работу по разгрому финляндской свободы и независимости.

Руководимый Победоносцевым, Николай проявлял всегда живейший интерес к преследованиям раскольников и сектантов. Высылки «упорствующих» сектантов, захват их имущества,

разлучение жен с мужьями и родителей с детьми — эти меры всегда находили надежнейшую опору в коронованном главе православно-церковного насилия и барышничества.

В 1898 году Николай II обращается к великим державам с предложением сообща обсудить меры к ограничению вооружений и предотвращению войн. Ни один разумный человек во всем мире не придавал этому лицемерному призыву царя сколько-нибудь серьезного значения. Хищные замыслы царизма на Ближнем и особенно на Дальнем Востоке всем были известны. Это не помешало, конечно, продажным газетам, как «Новое Время», петь хвалу любвеобильному «молодому монарху», а казенные историки уже начертали на августейшем челе его слово «миротворец».

За несколько дней до начала русско-японской войны Николай заявил всему миру: «Войны не будет. Я хочу, чтоб царствование мое было эрой мира до конца!».

Это торжественное заявление оказалось столь же лживым, как и многие другие. Разразилась русско-японская война, одна из самых кровопролитных в истории, — и главная тяжесть ответственности за нее падает на самого царя. В то время как официальная царская дипломатия, пугаясь жалкого состояния царской армии, стремилась устоять на дороге мира, за ее спиною, но под неизменным покровительством царя, орудовали отъявленные авантюристы: Абаза, Безобразов и Алексеев [83]), которые сознательно гнули к войне. В своей тайной телеграмме от 26 января 1904 года Николай разрешил Алексееву атаковать японцев, «не дожидаясь первого выстрела с их стороны». — «Надеюсь на вас, — телеграфировал Николай. — Помоги вам бог!». Одним из последних толчков к этой позорнейшей и преступнейшей во всей новой истории войне послужила забота о лесных захватах в Корее, где пайщиками лесной концессии на Ялу выступали вороватые великие князья и сам царь, внесший в дело несколько своих миллионов, в расчете на неисчислимые барыши... Злополучный «миротворец» не предвидел, конечно, что страшная река крови хлынет от этой лесной концессии с Востока на Запад, и что он сам едва не захлебнется в этой крови...

* * *

Но нет сомнения: все преступления этого царствования и этого царя — и даже ужасающая русско-японская война

с ее сотнями тысяч жертв — меркнут и бледнеют перед потрясающим злодеянием 9 января. Здесь все события сосредоточились вокруг личности царя: к нему шли стотысячные массы со своими нуждами и требованиями, от него ждали помощи, в него верили. Никогда еще в такой поразительно яркой, ничем не затемненной форме не сталкивались лицом к лицу эти две силы: царь и народ. И никогда еще, может быть, во всей мировой истории царь не отвечал с такой бесстыдно-кровожадной откровенностью на просьбы «своего» народа.

Массовая пальба по безоружным и мирно настроенным рабочим людям, которые стремились со всех концов столицы к Зимнему Дворцу — иные с царскими портретами и церковными хоругвями, — и это в то самое время, когда братья и сыновья этих людей гибли десятками тысяч на Дальнем Востоке, — можно ли представить себе более адское преступление? И мыслим ли более сокрушительный удар по идее «народного монарха»? Рабочий Петербург 9 января не увидел царя живьем, как наивно надеялся, но нравственный облик коронованной гадины обнажился в тот день перед всей Россией. О подлых царских пометках на докладах, об его закулисном натравливании полицейских шаек на народ знали десятки или сотни тысяч. О кровавом воскресенье 9 января заговорила вся страна. Этот день вошел в историю нашей родины кровавым водоразделом между старой и новой Россией.

Вместе с тем, 9 января стало днем несомненного перелома в личном поведении царя. До 9 января он все же налагал на себя еще некоторые ограничения, и его фигура прирожденного преступника оставалась до известной степени в тени, заслоняемая дородными телами его временщиков, льстецов и подручных. После 9 января в правительственных сферах совершается процесс быстрого разложения: с одной стороны, выделяется партия политических фальшивомонетчиков, вроде графа Витте, которые стремятся обмануть народ подделкой реформ, с другой — вокруг царя объединяется банда кровопускателей, в которую входят сиятельные и превосходительные громилы, баши-бузуки в синодских клобуках и наемные патриотические горланы, вроде Дубровина, Пуришкевича и Маркова [84]), с их шайками уголовно-монархических пропоиц. Царь становится признанным и открытым покровителем этой разномастной, но одинаково преступной сволочи. Это — его единомышленники, его соратники, его духов-

ные братья. Он собственноручно набивает их карманы золотом из десятимиллионного тайного фонда; он принимает их у себя, шлет им благодарственные и иные телеграммы, дарит им свои портреты и публично лобызается с ними. Это — его партия, это — подлинный, романовский «народ».

Среди этой братии Николай сбрасывает с себя последние покровы благопристойности. Он разнуздывает громил своим покровительством, а они в свою очередь толкают его все глубже в кровь и в грязь. Николай усваивает себе окончательно все приемы и черты отъявленного отщепенца, для которого не существует ни интересов общества, ни нравственных устоев, ни общественного мнения, ни правил приличия — и эти черты преступного бродяги принимают у него чудовищные размеры, ибо его хилые плечи покрыты горностаевой мантией всемогущества и неприкосновенности.

* * *

Сам «инородец» с головы до пят, без единой капли русской крови в жилах, Николай пропитывается, однако, «истинно-русской», победоносцевски-дубровинской ненавистью к инородцам, в лице которых для него соединяется все, что колеблет его трон или смущает его покой. Поход на Финляндию, грабеж армянских церквей, преследования поляков — все это внушалось им самим, Николаем. Но на первом месте в его личной политике бесспорно стоит полоумная, не знающая предела ненависть к евреям.

Когда Драчевский, назначенный в свое время ростовским градоначальником, представляясь царю, высказал свое сожаление по поводу слишком большого числа жертв ростовского погрома, царь спросил: «А сколько же убито?»—«Сорок человек»— ответил Драчевский. — «Только-то! — воскликнул разочарованный царь, — я думал, гораздо больше».

Когда Лопухин осенью 1905 года открыл в департаменте полиции погромную типографию, и Витте, бывший тогда председателем совета министров, доложил об этой находке царю, Николай собственноручно написал на докладе: «прошу вас не вмешиваться в дела министра внутренних дел, который имеет у меня личный доклад». Этими словами Николай хотел прямо показать, что делами о погромных типографиях и о других погромных делах он заведует сам непосредственно, что это его заповедное

ведомство. И Николай, действительно, становится не только покровителем, но и всероссийским зачинщиком самых ужасающих выступлений погромной контр-революции. Нити черно-боевой организации соединяются в Царском Селе и Петергофе, и погромное «действо» везде разыгрывается по одному и тому же общему плану.

В назначенный для погрома день — молебствие в соборе. Затем патриотическое шествие, руководимое полицией — с царским портретом во главе. Оркестр военной музыки непрерывно играет «боже, царя храни!» — боевой гимн погромов. К звукам гимна скоро присоединяется звон разбитых стекол и крики первых жертв. Охраняемая спереди и с тылу солдатскими патрулями, с казачьей сотней для погромных разведок, с полицейскими в качестве вдохновителей, носится банда по городу в кроваво-пьяном угаре. «Боже, царя храни!» Под звуки гимна выбрасывают старуху из окна третьего этажа, разбивают стул о голову грудного младенца, насилуют девочку на глазах толпы, вбивают гвозди в живое тело. «Боже, царя храни!»... Об одной из бесчисленных погромных процессий сенатор Турау докладывал, что «впереди несли трехцветное знамя, за ним — портрет государя, а непосредственно за портретом — серебряное блюдо и мешок с награбленным». Этот портрет Николая II — меж знаменем монархии и мешком с награбленным — представляет собою наилучший «герб» династии, нынешний представитель которой является верховным командиром той полуправительственной погромно-разбойничьей «истинно-русской» каморры, которая, переплетаясь с официальной бюрократией и объединяя на местах более ста крупных администраторов, руководила массовыми убийствами во славу монархии.

Никакие разоблачения в этой области не останавливали Николая и неспособны были побудить его хотя бы к некоторой внешней осторожности. Николай подбирает себе — в рамках общего бюрократического аппарата — своих собственных излюбленных администраторов, вроде Думбадзе и Толмачева, он открыто науськивает их на своих собственных министров, если те, на его вкус, недостаточно энергичны в проведении монархо-погромной политики, он укрывает заведомых убийц от глаз его же именем заседающего суда, он отдает Дубровина на сбережение своему другу—Думбадзе, он неизменно милует погромщиков и черносотенных убийц, когда его собственный суд приговаривает

их к каторге, наконец, он — сознательно издеваясь над общественным мнением страны — жалует своему другу Пуришкевичу, покрытому плевками общественного презрения, чин статского генерала...

Поразительное по бесстыдной подлости преследование ни в чем неповинного киевского еврея Бейлиса (по делу об убийстве Ющинского) ведется, главным образом, в угоду царю: как сообщают из хорошо осведомленных источников, сам царь хочет во что бы то ни стало найти подтверждение дьявольской лжи об употреблении евреями христианской крови, — и все министерство юстиции приведено было в движение для учинения чудовищного подлога.

* * *

Кроме 9 января есть еще одна историческая дата, которая каленым железом выжжена на лбу Николая II: это 3 июня.

Если в акте 9 января 1905 года раскрывается перед нами слепая животная ненависть к народу, то в государственном перевороте 3 июня 1907 года полнее всего раскрываются лживость и вероломство царя, для которого все: и законы, и учреждения, и собственные манифесты, и обещания, и «божья воля», — только различные орудия для устрашения, успокоения, обмана или отвлечения народа, — во имя единственной, все освящающей цели: упрочения трона и сохранения самодержавного произвола.

18 февраля 1905 года утром царь издает погромно-победоносцевский манифест, призывающий всех «истинно-русских» сплотиться у подножия самодержавного трона. А в полдень того же дня, испуганный страхом своих собственных министров, за спиною которых был сфабрикован этот манифест, царь издает рескрипт, в котором обещает созыв народных представителей. Эта вероломная двойственность проходит далее через все его действия. Он создает комиссию для выработки положения о Думе, принимает либеральную земскую депутацию, а в то же время через Трепова руководит сплочением черных сотен. После октябрьской стачки он вручает видимость власти перекрасившемуся в либералы графу Витте, который нужен царю для заключения займа, — а в то же время, вместе с мясником Дурново, Николай готовит декабрьский разгром, карательные экспедиции и массовые расстрелы.

В эпоху I Думы он ведет с Муромцевым и Милюковым переговоры относительно образования кадетского министерства, а в то же самое время он, вместе со Столыпиным и дубровинцами, подготовляет разгон Думы.

Нащупывая почву, царь собирает II Думу, потом, решившись на новое клятвопреступление и на государственный переворот, уничтожает ее; заодно он уничтожает им же объявленный неприкосновенным виттевский избирательный закон, в конец обворовывает и без того жалкие избирательные права народа и создает таким образом возможность появления на свет божий постыдной и бесстыжей III Думы.

Против социал-демократической фракции II Думы выдвигается одновременно наскоро слаженное охраной обвинение в подготовке вооруженного восстания, и свыше 30 представителей революционного пролетариата отправляются царским судом в каторгу и на поселение [85]).

Подлое дело 3 июня сделано. Главные участники предприятия: провокатор Бродский, охранник Герасимов, временщик Столыпин и самодержец Николай Романов.

Его «августейшим» именем и при его участии проведен подлог и переворот 3 июня с начала до конца. И в деле этом Николай снова показал всем свое лицо: он не знает ни политических принципов, ни моральных обязательств, он не знает, что такое голос совести, — куда до всего этого ему, скорбному главою и душою!— он одинаково готов подкупать и убивать, клясться и обманывать, только бы удержать на своем черепе корону, — великую трехсотлетнюю романовскую корону, к охране которой приставлены, с одной стороны, сам «господь бог», а с другой—Евно Азеф.

* * *

Тупой и запуганный, ничтожный по духу, но всесильный по власти, весь в сетях предрассудков, достойных эскимоса, с кровью, отравленной всеми пороками ряда царственных поколений, Николай Романов собственными ногами топчет тупую либеральную сказку о монархе, стоящем «вне партий»... Трудно представить себе более разнузданное издевательство над монархией «божьей милостью», как поведение этого субъекта, которого любой суд любой культурной страны должен был бы приговорить к пожизненным каторжным работам, если бы только признал его вменяемым. И вот он, этот неприкосновенно-безответственный

друг Дубровина и духовный сын «старца» Распутина, выступает, как носитель славы и чести якобы «трехсотлетней» династии.

Да почему бы и нет: все преступления, все зло и бесчестие, которые порождались и накоплялись длинным рядом его действительных или мнимых предков, находит себе в Николае Романове свое естественное завершение.

Юбилейные торжества должны с новой силой ударить по совести и чести каждого гражданина России, и прежде всего каждого мыслящего рабочего: еще жива романовская монархия, еще не очищена земля русская от этого позора!

Царь ходынский, мукденский и цусимский, царь 9 января и 3 июня, царь виселиц, погромов и карательных экспедиций, этот «благочестивейший» и «самодержавнейший» сохранил еще почти всю полноту своей власти над страной. И сотни свежих рабочих могил на далекой Лене свидетельствуют, что еще не закончена летопись его кровавых деяний.

Клич: Долой Николая! Долой Романовых! Долой монархию! Да здравствует демократическая республика! — будет единодушным ответом пролетариата и демократии на патриотически-юбилейные завывания черной своры, терзающей Россию.

Н. Троцкий. «Благочестивейший. самодержавнейший».
Изд. «Правда». Вена, 1912 г.

ХВОСТОВ

Назначение черного депутата и полураскаявшегося погромщика Хвостова министром внутренних дел было без сомнения сознательно задумано, как «непристойное телодвижение» в ответ на политические претензии земского и городского съездов [86]). Вынесение этими съездами резолюций, воинственных по адресу немцев и пискливых по адресу монархии, явилось последним и наиболее торжественным актом той общественной «мобилизации», от Гурко до Плеханова, которая явилась отражением во внутренней политике победоносного пятимесячного наступления немецких армий. Но уже до съездов немецкий натиск приостановился: было ли тому причиной действительное приращение боевых припасов у русской армии или естественное материальное истощение и физическое утомление немецкой армии, успевшей отойти на несколько сот километров от своей базы и нуждавшейся в серьезной передышке; играла ли при этом

роль необходимость для немцев укрепить западный фронт и подготовить натиск на Балканы, или же все перечисленные причины действовали вместе, — это не имеет для интересующего нас вопроса решающего значения. Но только лишь в лавинообразном отступлении русской армии наступила пауза, как монархия немедленно же начала укреплять свои внутренние «траншеи». После внезапного закрытия Таврического дворца можно было не сомневаться, что земско-городской депутации не приостановить развертывающегося твердого курса и что все списки министров общественного доверия пребудут до поры до времени втуне. Но даже и под углом этого единственно-реального предвиденья призыв к власти именно Хвостова является некоторой политической роскошью.

Сперва тульский вице-губернатор, расправлявшийся с революцией 1905 года; далее прославленный вологодский и нижегородский губернатор, через посредство полицеймейстера побуждавший артисток ко «взаимности»; затем председатель крайних правых, единомышленник Маркова, сосед Пуришкевича *) и сотрудник Замысловского *) в эпоху дела Бейлиса; «безусловно умный человек», по аттестации Савенки и Меньшикова (из категории тех, о которых у Грибоедова сказано: «да умный человек не может быть не плутом»), — Хвостов, в качестве внезапного министра внутренних дел, представляет собою такое откровенное издевательство над думским блоком и земской депутацией, что если бы политика наших буржуазных партий определялась в действительности монархическими предрассудками, а не классовым рассудком, следовало бы ожидать всеобщего и поголовного восстания против монархии. Но нет, монархия может спать совершенно спокойно, поскольку ее участь зависит от политической воли буржуазных партий.

Интервьюеры либеральной прессы немедленно облепили г. Хвостова и, облизывая карандаши, стали лихорадочно выписывать государственную программу «безусловно умного человека» для сведения всероссийского обывателя. Борьба с дороговизной и немецким засильем, твердая власть и благожелательность к рабочим, сперва победа — потом реформы... Если картина политического рабства страны и добровольного унижения либе-

---

*) О Пуришкевиче и Замысловском см. в этом томе статьи «Слабость как источник силы» на стр 168 и «Георгий Замысловский» на стр. 180. *Ред.*

ральной буржуазии нуждалась еще в дополнительном штрихе, так он дан тем, что вся пресса России в течение ряда дней занята была почти исключительно повторением и истолковыванием получленораздельных чревовещаний самодовольно ничтожного бюрократического выскочки. И хотя левые политики и журналисты блока делают при этом свои гримасы, но даже и левейшие преисполнены убеждения, что, «приявши» войну, нужно «приять» Хвостова, ибо добровольно он все равно не слезет с государственного облучка, а если приняться его оттуда ссаживать, то можно повредить «национальной обороне». Эту всеобщую готовность либеральной буржуазии к сожительству с Хвостовым лучше всего выразил московский городской голова Челноков :«Надо ждать поступков,—ответил он на вопрос о новом министре,—пока высказываться преждевременно». О, кадетская невинность, это ты!

Что касается рабочих, «другом» которых объявляет себя Хвостов, то они могут уже и сейчас отдать себе полный отчет в тех «поступках», которые ожидают их со стороны нового министра. «Особенно богат его опыт, — так отзывается о Хвостове Меньшиков — по части новейших революционных брожений, рабочих и простонародных». Этот «опыт» и является подлинным политическим капиталом Хвостова. Борьба с дороговизной и борьба с «немецким засильем» озабочивают его исключительно под углом зрения надвигающейся опасности революционных брожений. Если насчет земцев, «уклонившихся несколько (!) в сторону учредительного собрания», Хвостов почти спокоен, то насчет голодных бунтов и движения безработных после демобилизации он ни от кого не скрывает своей тревоги. Споткнется ли он о бюрократическую интригу, или будет смыт первой революционной волной, — не все ли равно? Но фигура Хвостова войдет в политический альбом России, как символ отношений между монархией и патриотической буржуазией.

«Наше Слово» № 227,
29 октября 1915 г.

РОДНЫЕ ТЕНИ

(Думбадзе и др.)

На одной и той же странице мы нашли чрезвычайно поучительные, почти символические сообщения о пяти политических фигурах, или, точнее сказать, о четырех политических фигурах и о... Бурцеве.

Во-первых, речь идет о генерале Думбадзе.

«О подвигах Ивана Антоновича на Кавказе, где он начал службу армейским офицером, — пишет газета, — не было ничего слышно. О подвигах полковника Думбадзе в качестве администратора, главноначальствующего гор. Ялты с 1906 года в течение длинного ряда лет, слышала вся Россия. Его имя буквально не сходило со столбцов газет и журналов. Грузин по происхождению, еще на Кавказе Думбадзе явился сторонником «русских начал», деятельным членом, вдохновителем и руководителем «союза русского народа». После цензурного пробела газета продолжает: «В Ялте он был настоящим хозяином, рачительным и строгим. Его приказы торговцам и полиции, извозчикам и обывателям были кратки и выразительны. Он не любил терять лишних слов и без объяснения высылал корреспондентов неугодных ему изданий, закрывал ялтинские газеты, наблюдал за чистотой семейных нравов в распущенной Ялте».

Смело пишет газета о Думбадзе; но и то сказать: генерал Думбадзе уволен на покой. Повидимому, уволен тихо, без уголовно-бюрократического драматизма: просто признан, так сказать, административно истощившимся.

Гораздо хуже обстоит дело с другим доблестным сановником...

«Генерал Комиссаров, — рассказывает в телеграмме та же газета, — уволен от должности ростовского градоначальника по третьему пункту, без прошения, ввиду ряда заявлений, поступивших в министерство от местных деятелей. Комиссаров служил в петроградском жандармском отделении. Имя его связывалось с Азефом. На данных Комиссарова основывался ответ правительства Думе по делу Азефа».

«Ротмистр Комиссаров» в свое время сверкнул, как пышный хвост при комете — Азефе, — и исчез. Обыватель думал: конец ротмистру. Ан ротмистр, подчиняясь законам бюрократического естества, превратился в полковника, полковник — в генерала. На троне ростовском сидел генерал и правил. Но какие-то поступили «заявления» от каких-то «деятелей» (проворовались, ваше

превосходительство?), и полетел генерал Комиссаров по третьему пункту *).

Третье сообщение имеет вид несравненно более скромный:

> «Приказом по министерству внутренних дел, причисленный к министерству коллежский асессор Манасевич-Мануйлов уволен со службы за истечением срока причисления к министерству».

Какой-то коллежский асессор! — пренебрежительно скажет невнимательный читатель. Но в том-то и дело, что не «какой-то», а весьма определенный, Манасевич-Мануйлов — известный в своем роде литератор, писавший в «Новом Времени» статьи за подписью «Маска». Главной его профессией являлся, впрочем, сыск. За время войны Манасевич приезжал в Париж и, как сообщали, в целях скрепления уз, нанес визит г. Эрве. Но, вернувшись в отечество, проворовался. При обыске у него нашли зашитыми в штанах 100.000 рублей. Сейчас коллежский асессор отчислен от министерства и временно водворен в тюрьму; что сделано с его штанами, неизвестно.

Было бы, однако, малодушием со стороны Маски отчаиваться. Ибо никогда не известно, в какую сторону может повернуться колесо жизни. Лучше всего об этом свидетельствует карьера священника Восторгова.

> «Московским духовенством, — рассказывает газета,— получена сенсационная новость о назначении прот. Восторгова в Москву епископом в течение ближайших дней. Восторгов уже приехал в Москву. У митрополита Макария состоялось собрание благочинных, которым предложено высказаться, желательна ли кандидатура Восторгова. Благочинные ответили положительно. Отзыв благочинных запротоколен, и прот. Восторгов, получив этот документ, уехал в Петроград».

Вот видите! Чего-чего только не сообщали русские газеты о священнике Восторгове: и воровал, и подлоги делал, и к тифлисским гимназисткам проявлял отнюдь не пастырские чувства, и не то в убийстве женщины, не то в сокрытии убийства

*) Курьезно, что Бурцев и кое-кто еще из белого Бедлама сделали не так давно попытку подкинуть Комиссарова... большевикам! IV. 22. *Л. Т.*

участвовал... казалось бы, человеку на каторге нужно быть, а, между тем, он собирается в епископы. Не теряйте духа, генерал Комиссаров!

... И на той же самой газетной странице следующая коротенькая телеграмма:

«Приехал в Москву из Петрограда Бурцев для занятий в Историческом музее. Отсюда он поедет в Саратов работать в Радищевском музее».

Неужели полный и окончательный закат? Великий Бурцев, гроза всех шпионов и провокаторов (кроме тех, которые водили его за нос), переезжает ныне из музея в музей, безучастный к судьбе бывшего ротмистра Комиссарова. Что делает Бурцев в Историческом музее? Кто знает: может быть, он изучает сданные туда на хранение штаны Манасевича-Маски.

«Начало» № 1,
30 сентября 1916 г.

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

(Щербатов — Катенин)

Думские партии потребовали коалиционного министерства по самым лучшим парламентарно-республиканским образцам, — и, действительно, открылась эпоха великих внутренних реформ, или, по крайней мере, предвещающих реформы личных передвижений. Министр внутренних дел Маклаков вышел в отставку. Его место занял Щербатов. Что такое Маклаков, почетный член союза русского народа, достаточно известно. Он начал свою карьеру в провинциальных гостиных, где на губернаторских коврах великолепно ходил пантерой. Говорят, что во время черниговских торжеств он потешал одно очень высокопоставленное, но несколько слабоумное лицо, не то петушиным криком, не то изображением бабы, ворующей горох. Это решило его судьбу, а в некотором роде и судьбу России на несколько лет. Человек, недавно кричавший петухом, заставил не своим голосом заговорить многомиллионное население страны. Теперь Маклаков отставлен. Место его занял Щербатов. Знаете вы что-нибудь о Щербатове? Нет? Мы тоже не знаем. Никто не знает. Тем не менее он призван управлять судьбами России. Про Щербатова твердо известно, впрочем, одно: еще до вчерашнего дня он был

верховным начальником конюшенного ведомства. Если не быть мизантропом, то в этом обстоятельстве можно усмотреть некоторые гарантии либерализма. Лошади, особенно расовые, не допускают над собою никакого исключительного режима, наоборот, в вопросах овса и пойла они требуют твердых начал правового порядка. Именно поэтому наша «историческая власть», прежде чем перейти к призванию общественных элементов, обратилась за реформаторами на государственную конюшню. Жив человек, отзовись! Отозвался Щербатов. Весь вопрос только в том, сохранит ли он свои гуманные начала, перейдя из конюшни в ту большую «людскую», какая называется Россией? Но предсказать это нельзя иначе, как погадав на кофейной гуще.

Что касается нас, то мы очень хотели бы быть на этот счет оптимистами. Однако не скроем, что нас несколько беспокоит назначение нового начальника главного управления по делам печати, Катенина. Вы не знаете его? Мы тоже не знаем. Почему он назначен руководить печатью? Этого он и сам не знает. Его программа? «Вы интересуетесь моей программой? — с удивлением спрашивает г. Катенин корреспондента «Русского Слова», — но у меня нет еще пока программы, я с вопросом о печати совершенно незнаком»... Будучи курским губернатором, следил, правда, за «Курской Былью» (орган Маркова 2-го), да и то больше со скуки. А чтобы вообще интересоваться печатью, — нет, не приходилось. Но это ничего: он, Катенин, присмотрится к делу и тогда уже решит, как и что... Кое-какие руководящие принципы у Катенина имеются, впрочем, уже и сейчас: вообще говоря, «печать делится на честную и нечестную». Которая печать честная, той он будет покровительствовать; которая же печать нечестная, той, согласитесь, и покровительствовать не за что. Так объяснил новый начальник представителю «Биржевых Ведомостей». Но как отличить честную печать от нечестной? Ничего нет проще. Нужно «беспристрастие». А его у Катенина хоть отбавляй: ведь он никогда не имел дела с печатью, стало быть, совершенно свободен от «предвзятых» идей. «Но если вы все же хотите знать хоть в общих чертах, как я буду относиться к печати, то я вам скажу! — так резюмировал свои взгляды Катенин корреспонденту «Русского Слова». — Я буду относиться к печати так же, как она будет относиться ко мне». Читатель, конечно, не верит своим глазам? Ибо читатель наивен. Мы тоже не верили, ибо — каемся — и мы до седых волос сохранили в душе добрую дозу наивности.

Тем не менее Катенин говорил именно так, как выше напечатано: «Отношение мое к печати будет находиться в полной зависимости от отношения печати ко мне» («Р. С.», № 117).

Приходится с горечью констатировать, что г. Катенин не прошел серьезной конюшенной школы. Ни один государственный человек, которому судьба поручила руководить лошадиным ведомством, не скажет о вверенных его попечению подданных: «Отношение мое к расовым лошадям будет находиться в полной зависимости от их отношения ко мне». Но, наоборот, всякий скажет: я отношусь к ним так, как того требует их лошадиная природа. Иное дело печать. Для «заведывания» печатью нет никакой надобности знать ее природу: печать — не лошадь. Нужно только не иметь «предвзятых» идей и обладать хорошим пищеварением. Остальное приложится.

Коалиционного министерства, правда, еще нет. Но первый шаг сделан: призваны к творчеству два, что называется, «свежих» человека, — правда, не одинаковой ценности: один прошел серьезную конюшенную школу, а другой явно нуждается в отсылке на конюшню для пополнения своего государственного стажа.

«Наше Слово» № 123,
24 июня 1915 г.

ФАНТАСТИКА

Первомайские размышления

(Хвостов — Илиодор)

Русская «внутренняя» политика бывала моментами страшнее, чем ныне, но никогда она не была фантастичнее. То, что Салтыков называл «неключимостями» нашего быта: невозможные сочетания идей, людей и положений, издевательства над природою вещей, дикие абсурды, нашедшие себе административное воплощение, — все это теперь возведено в какую-то новую, высочайшую степень, которая изменила самую субстанцию русской фантастики. Когда читаешь, например, дело Хвостова, организовавшего покушение на Распутина, то получаешь такое впечатление, точно главу из Щедрина серьезно переработал Эдгар По, после чего окончательную отделку наводил Поприщин [87]). Самое это сочетание из Щедрина, По и Поприщина не может не казаться парадоксально-нелепым и психологически-оскорбительным; но

ничего другого не придумаешь. Самые чудовищные комбинации По облагорожены единством художественного стиля: необходимо поэтому предоставить последнее слово именно Поприщину, который вставит «мартобря», шишку алжирского бея и гамбургскую луну,—и только после этого получится полное отражение русской действительности.

Свою книгу о помпадурах золотого века Щедрин начинает словами: «Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет еще распорядительности показать — глядь, его уж сменили, нового шлют». Но историографу старого русского помпадурства даже и в лихорадочном сне не мог бы привидеться темп нынешних правительственно-бюрократических передвижений, возвышений, смещений и падений.

С июня прошлого года ушли: председатель совета министров Горемыкин, 3 министра внутренних дел, 2 военных министра, 2 обер-прокурора синода, по одному министру путей сообщения, земледелия, юстиции, торговли и контроля; далее, 6 товарищей министра внутренних дел, 2 помощника обер-прокурора синода, по одному товарищу министров военного и морского и 3 директора департамента полиции. За какие-либо пять месяцев на 23 важнейших постах министерства внутренних дел произошло 15 перемещений, на 167 губернаторов и генерал-губернаторов состоялось 88 перемен, при чем в некоторых городах высшая администрация обновлялась по два раза в месяц. Достаточно сказать, что один Хвостов успел переменить 13 губернаторов и уволить 4. И можно не терять надежды, что вновь назначенные им еще покажут себя в самом сверхъестественном, т.-е. натуральном своем виде.

Сам Хвостов является бесспорно наиболее «репрезентативной» фигурой для русской бюрократии середины второго десятилетия нашего века. Был губернатором, брал взятки, склонял через полицеймейстера актрису к взаимности, угрожая в противном случае высылкой: до сих пор все классические и, так сказать, патриархальные черты из щедринских «помпадуров и помпадурш». Но дальше идет чрезвычайный «модерн». Уволенный в отставку, щедринский Хвостов должен был бы пристроиться приживалом к финансисту Фалалею Губошлепову, показывать ему, как надевают на шею орден св. Анны, играть с мадам Губошлеповой в преферанс и безнадежно роптать. Вместо этого Хвостов, влекомый усложненной действительностью, всту-

пает в Союз Русского Народа и проходит депутатом в Думу. Все решительно знают, что этот человек не только взяточничал и объяснялся в любви через полицеймейстера, но и устраивал погромы. И он сам знает, что все знают. И все знают, что он знает о том, что все знают. Это нисколько, однако, не мешает ему лезть на трибуну, вносить декларации и делать оппозицию. Этот депутатский, думский, парламентский (!!) мост между нижегородским и всероссийским помпадурством Хвостова — мост совершенно фантастический — представляет собою, однако, еще не самое фантастическое в его карьере.

* * *

В Норвегии проживает, в качестве политического эмигранта, бывший монах Илиодор, который начал на родине свою деятельность с того, что мазал дегтем ворота стриженым учительницам. В Петрограде проживает неграмотный сибирский мужик Гришка Распутин, который отверзает самым высокопоставленным (выше уже некуда!) дамам двери рая, а в то же время заведует сменой министров и вопросами войны и мира. Через посредство Ржевского — а Ржевский это наш старый Расплюев [88]), которого тоже «обрабатывали» Эдгар По с Поприщиным — министр Хвостов входит в связь с эмигрантом Илиодором с целью упразднить придворного старца Гришку. Чудовищно, почти сверхъестественно — но и тут фантастичность все еще грубая, суздальско-рокамболевская, т.-е. та же старая русская «неключимость», только возведенная в n плюс первую степень...

В то самое время как Ржевский делегируется в Норвегию, Хвостов, влекомый усложненной действительностью, руководит выборами рабочих в военно-промышленные комитеты. И вот здесь-то и открывается нам неожиданно квинт-эссенция современной русской фантастики.

В Швейцарии проживает в течение почти четырех десятилетий, в качестве политического эмигранта, Г. В. Плеханов: казалось бы, совершенно достаточный срок, чтоб испытать закал человека. Никто не имел права считать его непримиримость одним только литературным щегольством. Уже совсем незадолго до начала войны Плеханов продолжал настаивать на крайней полезности расстрелять (для примера) русских ликвидаторов — за слишком примиренческое отношение к отечественному режиму.

И вот этот самый человек (автор брошюры о Тихомирове) вместе с несколькими другими эмигрантами, более или менее лишенными прав, сочиняет прошлой осенью манифест к трудящемуся народу *). Манифест патентованных русских революционеров из «Женевы!»— во время войны!.. Но бывший нижегородский помпадур Хвостов, шеф жандармов и министр полиции, не только не командирует одного из своих Ржевских для упразднения Плеханова, или хотя бы его манифеста, а, наоборот, громогласно одобряет женевский документ и предписывает полиции не чинить никаких препятствий к его распространению. И мы считаем, что эта комбинация из Хвостова и Плеханова (задумайтесь над нею на минуту, как над *свежим* фактом!) является наиболее фантастической из всей современной русской фантастики.

* * *

Больше всего поражает глаз нынешняя полная неприкрытость всех административных телодвижений. Директор департамента полиции Кафафов пишет циркуляр, приглашающий снова «потрепать жида» — на сей раз по поводу дороговизны. Циркуляр оглашается в Думе. И что же? Кафафов расчесывает седые бакенбарды, лезет на трибуну и объясняет, что трепать жида он почти что не призывал, а если и призывал, то для его же, жида, пользы.. И все после этого глядят друг другу в глаза, а Кафафов отправляется писать новые циркуляры. Конституционная эпоха совершенно освободила бюрократию от стыда. Этим прежде всего и отличается современный помпадур от старого, щедринского. Тот органически боялся гласности во всех ее видах, зная, что с ней связан конфуз. А Хвостовы, Кафафовы, Сухомлиновы и все прочие превратностями последнего десятилетия совершенно застрахованы от малодушия перед гласностью. Депутаты и газетчики обличают: «Воры, погромщики, предатели» (возьмите в руки любую русскую газету!), а поименованные воры и погромщики расчесывают бакенбарды и лезут на трибуну для предъявления государственных программ. И ничего — благополучно получают кредиты.

Как Сперанский и Лорис-Меликов были высшими точками «либеральной» русской бюрократии, как Аракчеев остался навсегда высшим воплощением твердой русской власти, так Хвостов, повторяем, есть увенчание и завершение отечественной

*) См. приложение № 2. *Ред.*

бюрократии в эпоху «освободительной войны». Министр-депутат, которому Ржевский необходим для практической политики, а Плеханов для идеологии — тут ни прибавить, ни убавить ничего нельзя. И если поощряемый и использованный Хвостовым Плеханов продолжает, в сообществе с малыми сими, сочинять статьи об истинном и не-истинном интернационализме, значит чувство стыда исчезло не только в среде русской бюрократии.

В марте Петроградское телеграфное агентство сообщало всем газетам нижеследующую телеграмму, полученную из-за границы депутатом Бурьяновым:

> «Прочитали вашу речь и Манькова. Братски приветствуем и желаем бодрости и успеха в борьбе за защиту родины и за освобождение народа. Редакция «Призыва»: Аргунов, Авксентьев, Бунаков, Воронов, Любимов, Плеханов, Алексинский».

Извольте припомнить, что во главе официального русского агентства стоит не кто иной, как Гурлянд, — субъект, который за кулисами успешно обучал конституционную бюрократию забвению стыда. За время последней думской сессии в прессе стон стоял по поводу гурляндовской информации: фальсифицирует, замалчивает, врет, скрывает. Даже кадеты жаловались, что те их речи, которые непосредственно не посвящены прославлению отечественного штыка, считаются Гурляндом как бы не произнесенными. Зато речь Кафафова Гурлянд телеграфирует полностью, а через Гаваса присовокупляет даже, что речь вызвала у еврейских депутатов слезы благодарности. Пока что все в сущности в порядке вещей. Но фантастика русской действительности захотела пред государственным благоволением Гурлянда уравнять с Кафафовым Плеханова и его Аргуновых. И казенный телеграф передает приветствие «объединенных» социал-демократов и социалистов-революционеров из «Призыва» Бурьянову с такою же тщательностью, как и речь чиновника департамента полиции. И члены редакции «Призыва» не только не решают после этого сгореть со стыда, но, наоборот, продолжают как ни в чем не бывало свое творчество. Одобренные к употреблению Хвостовым и популяризуемые Гурляндом, Авксентьев с Бунаковым попрежнему подвергают Либкнехта оценке под углом зрения истинного социализма. «Речь сего тевтона читали, но содержания оной не одобрили».

Один из героев Достоевского, мелкий плут Лямшин, изловчается одной рукой играть на рояле «Марсельезу», а другой — «Mein lieber Augustchen», и при этом не сбивается с такта. Музыканты из «Призыва» и без такой высокой техники достигают единственного в своем роде музыкального эффекта: они исполняют как будто «Интернационал», но звуки его прекрасно гармонируют с хвостовско-кафафовским гимном. Вот этот-то музыкально-политический букет из «Интернационала» и Кузькиной матери представляет собою высшую точку отечественной фантастики. И по чистой совести, мы не думаем, чтоб можно было создать что-либо более мерзостное.

«Наше Слово» № 102,
1 мая 1916 г.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

(Хвостов — Сухомлинов)

При открытии Государственной Думы в Таврическом дворце показался впервые царь, и этот факт вызвал такой поток византийского срамословия в прессе как отечественной, так и «западных демократий», от которого потомков наших будет тошнить до седьмого поколения. «Отныне никто не посмеет более называть Думу крокодиловым убежищем», — заявил журналистам Хвостов, переживавший тогда медовый месяц своей министерской карьеры. Это нимало не помешало ни ему, ни тому, кто извлек Хвостова из праха, раздавать деньги газетам и организациям, ведущим атаку на Думу. «Русское Знамя» [89]) — напрасно либерально-придурковатая пресса называет его «Прусским»: нет, оно наше, отечественное, неподдельное — «Русское Знамя» — настойчиво рекомендует перевешать всех депутатов прогрессивного блока и нимало не опасается такой своей программой разгневать господина своего. Эта очевидная «двойственность» придает процессу российского обновления несколько смутный характер. «Зато занятно!» мог бы с полным правом повторить мальчик без штанов свой ответ немецкому мальчику, если бы между ними допустим был по нынешнему времени диалог.

Министр Хвостов развернул богатейшую деятельность, которая на фоне войны выделялась единственным в своем роде красочным пятном: давал дважды в день интервью, открывал, совместно с охранной дамой Дезобри, кооперативные лавки, реко-

мендовал манифест Плеханова, поощрял законы спроса и предложения и завтракал в думском буфете. Казалось, человек совершил все. Но оказалось, что главную-то свою работу Хвостов совершал в тиши: министр внутренних дел, помимо всего прочего, занимался еще организацией покушения на убийство Распутина, а может быть, и не его одного только. Русские газеты сообщают пять различных версий хвостовского заговора. Но действующие лица одни и те же: сам министр; журналист, битый подсвечниками; «клубный» инженер; безграмотный еврей, несомненно, не имеющий права жительства в столице, но вхожий в убежища самых сановных крокодилов; фрейлины; церковные иерархи; кокотки и пр. и пр. Белецкий, бывший при Хвостове товарищем министра, рассказывает теперь репортерам, что его патрон склонялся к «временам Венеции с ее наемными убийцами и нападениями из-за угла». В результате этой склонности, Хвостову пришлось уйти из министерства, так и не закончив своей внутренней борьбы с немецким засильем. Но пока что бывший министр, выдавший уголовному журналисту Ржевскому на предмет общеполезных убийств 60.000 рублей из того самого бюджета, за который «в духе» голосует Плеханов — пока что, говорим, Хвостов, повидимому, совершенно не собирается в арестантские роты.

Судьба бывшего министра Сухомлинова, намеревающегося, несмотря на все, закончить дни свои в покое, может тем более укреплять дух Хвостова, что Сухомлинов пользовался услугами того же самого Ржевского для затевавшихся им «мокрых» дел мирового масштаба: оказывается, что знаменитая высоко-официозная и международно-провокационная статья «Мы готовы!», которая появилась за несколько месяцев до войны в «Биржевых Ведомостях» и облетела весь мир, была написана битым подсвечниками шантажистом Ржевским под диктовку Сухомлинова, в присутствии поспешно казненного за предательство полковника Мясоедова [90]). Обо всем этом рассказывал журналистам не кто иной, как Хвостов, тот самый, который, по Белецкому, склонен прибегать к наемным убийцам и нападениям из-за угла. Невероятно? Зато занятно! Ведь выходит, что битые подсвечниками прохвосты делали мировую политику. А как же... Кант? Кто, так сказать, утирал в этом клубке нос категорическому императиву? Сухомлинов, который продавал подряды и вообще все, за что платили? Мясоедов? Неразрешенный вопрос.

Русь, Русь! Куда ты несешься? И если счастливой судьбой предопределено было тебе итти рука об руку с западными демократиями к «высоким целям права и справедливости», зачем же тут Ржевский? зачем Хвостов? зачем Сухомлинов? Белецкий?.. «Но не дает ответа».

А между тем вот уже выходит в отставку военный министр Поливанов, которого на-смерть заласкала своими аплодисментами Дума, и на смену ему идет Шуваев. Еще неизвестно, какой журналист будет писать под диктовку нового военного министра, а уж либеральная пресса тихо скулит, томимая предчувствием: жутко...

Жутко! — стонут либеральные депутаты, городские и земские деятели и военно-промышленные патриоты. В самой, так сказать, сердцевине национального единства торчит Ржевский — и следы подсвечников на его лице освещаются зарницами босфорских и дарданельских исторических перспектив.

Вы чего хотите, господа: власти или проливов? — спрашивает их рок в образе Маркова 2-го. «Нет, — отвечает от имени прогрессивного блока Шульгин, — мы хотим только министерства, о котором не печаталось бы то, что сейчас в газетах печатается». «Если бы организовать Россию для победы значило организовать ее для революции, — подхватывает Милюков, — я сказал бы: лучше оставьте ее на время войны такой, как она была»... Такой, как была... Ржевский с шулерскими синяками, Хвостов с наемными убийцами, Сухомлинов с Мясоедовым, — все лучше, чем перспектива революции. И от сознания своей политической растленности жалко скулит либеральная печать.

А дух Ржевского между тем полновластно царит над отечественным хаосом. Хозяйственная жизнь в полном расстройстве. Ржевский торгует вагонами и держит города и области под такой блокадой, о которой может только мечтать соединенный англо-французский флот. Министры и губернаторы сменяют друг друга, как уголовно-фантастические тени на национальном экране.

Русь, Русь, куда ты несешься так бешено, третье-июньская?

— К катастрофе! — отвечает эхо петербургских мостовых.

«Наше Слово» № 137,
14 июня 1916 г.

ОПЯТЬ ОТКРЫЛИ ДУМУ

Русской политике нельзя отказать в разнообразии. Министры сменяются так часто, что бывают — говорят — случаи, когда вчера отставленный министр обменивается по ошибке калошами с министром, которого удалили сегодня. Раньше Государственная Дума тщетно искала с министрами «общего языка». Теперь общего языка с министрами ищет царь. Это дело не столь простое: царю нужен язык немудреный. И вот придворные старцы, ветхие графини с табакерками и всякие вообще проходимцы в рясах и даже без подрясников ищут денно и нощно немудрящего министра. — Вам какого? — спрашивают их из Государственного Совета. — Да нам бы... тае... тае... дурака надо. — Сколько угодно, — отвечают им: на том стоим, выбирайте любого.

Тем временем господа европейские союзники, в качестве просвещенных иностранцев, беспокоятся. «Какая будет у вашего нового министра программа?» — спрашивают они русских посланников в Лондоне, Париже и Риме... — Да программа у нас будет обыкновенная, домашняя, хорошая программа... — Хорошая, говорите? — Честь-честью... — А с евреями, например, вы как собираетесь поступать? — С евреями... сообразно с духом времени и с заветами покойника Распутина. — Но вот американские еврейские банкиры обижаются: а ведь Америка, знаете, во-первых, амуниция, во-вторых, завтрашний союзник... — А мы еврейским банкирам пол-процентика накинем, они... хе-хе... и перестанут обижаться за своих единоверцев. — Вы уверены? — Дело испробованное... Хорошо. А зачем ваш русский немец Штюрмер в Копенгаген поехал? — Для поправки поехал... по слабости своего нездоровья. — В Копенгаген? — Морским воздухом подышать... — В Данию? — Так точно, для температуры... — Гм... а не приедет ли туда одновременно какой-нибудь немецкий дипломат, тоже любитель температуры?

При этом вопросе у русского посланника глаза начинают воровато бегать по сторонам.

— Зачем нам немецкий дипломат? Насчет, например, сепаратного мира? Ни-ни! У нас на этот счет и думать не приказано.

Тут российский посланник делает паузу, чтобы создать «психологический момент».

— Хотя, с другой стороны, денег у нас нету. Очень вы прижимисты стали, господа союзники. Воевать всухомятку нам тоже не с руки.

— Так что вы Штюрмера послали вроде намека? Денег, стало быть, опять хотите?

— Хотим, — кратко отвечает посланник.

— Но ведь ежели вам денег дать, вы их немедленно разворуете? спрашивают вкрадчиво союзники. — Вы вон и Думу вашу разогнали, чтоб воровать было сподручнее.

— Думу? Эка невидаль: вчера разогнали, а завтра опять соберем. А послезавтра...

— Что послезавтра?

— Ничего-с. Послезавтра, говорю, немцев разгоним.

После этого посланник идет на телеграф и уплачивает 23 франка 35 сантимов за срочную телеграмму: «Откройте Думу под верный заем».

А царь говорит старцам и графиням с табакерками: «Заготовьте сразу двух министров: одного — на открытие Думы, а другого—на закрытие оной»...

Так русская политика шествует по пути прогресса.

«Новый Мир» [91]) *№ 930,*
8 марта 1917 г.

2. ДУМСКИЕ ДЕПУТАТЫ

СЛАБОСТЬ КАК ИСТОЧНИК СИЛЫ

(Пуришкевич)

Что такое популярность, слава? Всегда ли награда — сила? Всегда ли сила — преимущество, всегда ли слабость — ущерб?

Фикслейн мечтает у Жан-Поля достигнуть славы обнародованием систематического каталога всех опечаток, встречающихся у немецких авторов. О, сколько почтенных «имен» и популярностей создано на этом пути!

И на других, не менее причудливых путях... Если верно, что извозчики ввели в лексикон ругательств имя депутата Пуришкевича, то велика, стало быть, его популярность. Какими такими качествами она завоевана?

Правда, «Одоль» тоже очень популярен и Ван-Гутен—какао— не менее. Но это обстоятельство не служит нисколько к умалению г. Пуришкевича. Ибо надо полагать, что «Одоль», как и Ван-Гутен действительно имеют какие-то преимущества, лишь закрепленные и популяризованные расточительной рекламой.

Что же таит в себе Пуришкевич? Или, может быть, самый вопрос нужно поставить иначе: каковы те недостатки механизма *демократии*, которые позволяют ему, Пуришкевичу, быть вождем, политической фигурой и объектом неисчислимых карикатур? Мы говорим о демократии, ибо несомненно, что без вторжения демоса на священную территорию политики Пуришкевичу пришлось бы безвестно влачить дни свои в степях Бессарабии.

Пуришкевич не пассивный продукт 3 июня. И до 3 июня, и во II Думе, и вне Думы он в течение двух-трех лет уже производит по своему делу большой шум.

Еще совсем недавно бессарабские и иные Улановы спокойно рассуждали по Островскому: «было бы только земли побольше, да понимать свой интерес помещичий; а то и без ума можно прожить» («Лес»). Суматоха, произведенная демосом, потребовала и от Улановых предъявления ума. Что ж, может быть, Пуришкевич пошел навстречу этой потребности? Нет, поистине этого никто не решится утверждать. Ни даже г.г. Хомяковы, которым Пуришкевич весьма нужен, и которые именно поэтому позволяют ему наполнять зал Таврического дворца своим... ароматом.

Но оставим в покое Пуришкевича, который интересует нас не сам по себе. К тому же история учит, что правые депутаты почти в такой же мере неприкосновенны для журналистов, в какой левые прикосновенны для стражников.

Незачем ограничиваться Россией. В любом европейском парламенте вы найдете нескольких депутатов, популярность которых представляется скверной загадкой. Шуты, трусы, болтуны, злые, но даже не забавные, — «состав из канальи, попрошайки и шельмы», если говорить вместе со стариком Кентом...

Иногда кажется, что просто глупая волна случая подняла ничтожество на высоту. Но приглядитесь внимательно — и станет ясно, что случай был только агентом целесообразности, и что именно ничтожность ничтожества была его сильнейшим орудием.

Граф Штернберг избран в австрийский рейхсрат на основе всеобщего избирательного права. Грязный алкоголик, сиятельный Ноздрев, физиономия которого окружена ореолом из плевков и пощечин, Штернберг даже сословным судом чести исключен из числа лиц, с которыми дозволительно драться на дуэли. И однако, после каждой его речи, представляющей грязный поток брани и клеветы, к нему подходят почтенные аграрии и клерикалы и благодарно пожимают руку. Не всякий решится сказать то, что говорит граф Штернберг. Но сказанное им и закрепленное в протоколах уже получает — в силу парламентарного фетишизма — свое самостоятельное бытие и служит свою службу делу порядка и церкви.

* * *

Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это не значит: ни лучший, ни сильнейший, ни совершеннейший, — только приспособленный.

Вот шеренга нищих на церковной паперти. Среди них безрукий слепец, с вывороченными веками, с гноящимися босыми ногами: жалкий, отвратительный остаток человека. Но безучастно проходят купчихи и чиновницы мимо других нищих, а безобразному калеке подают медный пятак. В его калечестве и уродстве — его преимущество. И в той борьбе за существование, какая ведется на церковной паперти, он побеждает оружием своей слабости.

Из двух голодных безработных девушек — при прочих равных условиях — легче и скорее вступит на путь проституции та, у которой слабее развиты чувство личности и сознание человеческого достоинства. А другая, может быть, выпьет карболовой кислоты в конторе для найма прислуги. Выживет более приспособленная. Ее индивидуальная слабость, ее духовная Minderwerthigkeit (неполноценность) превратится для нее в социальное преимущество.

В современном обществе борьба за существование принимает форму конкуренции. Буржуазное гражданское право создает обстановку неограниченной конкуренции в сфере экономической; демократия, — в сфере политической. На семи решетах демократия просеивает и сортирует человеческий материал, чтобы нужные ей элементы поставить затем на надлежащее место. Наивно думать, будто демократия отбирает наиболее «просвещенных» или наиболее «добродетельных». *Эту* работу выполняют экзаменационные комиссии или те высокие жюри, которые занимаются присуждением монтионовских премий. Демократия отбирает *нужных* ей, тех, что умеют наиболее громко, шумно, выразительно прокричать о ее потребностях.

У каждого человека бывают желания и вожделения, в которых он ни за что не признается вслух. На худой конец — он даст им выражение в форме шутки, остроты, дурачества. В наших обиходных семейных, житейских шутках разряжаются нередко наши подавленные желания, которым культура не дает выхода. Так учит новейшая психологическая школа. Не только у отдельных лиц, но и у групп, клик, классов бывают такие вожделения, которые противоречат общему нравственному сознанию, — и это противоречие тем острее, чем паразитарнее и своекорыстнее характер сословной группы. Человек, отравленный внутренней критикой, стесненный внешней корректностью или отягощенный собственным достоинством, никогда не сможет найти достаточно

бесстыдный язык для бесстыдных притязаний своей клики. Тут нужен *репрезентативный скоморох.*

Дурацкие бубенцы, звонкие и шумные, приковывают к себе внимание, а внимание — уже предпосылка и составная часть успеха. Кто при этих условиях способен надеть на голову колпак, украшенный дурацкими бубенцами, тот становится героем... Против него бессильны гнев и сатира. До поры до времени он выполняет свою миссию. Одно можно сказать с уверенностью: дело, защиту которого история поручает разнузданным скоморохам, проиграно безвозвратно.

«Киевская Мысль» № 27,
27 января 1909 г.

МИЛЮКОВ

В одном из сатирических журналов 1906 г. карикатурист дал портрет г. Милюкова. Хитро прищуренный глаз, самодовольная улыбка превосходства и уверенно прижатый к груди портфель лидера кадетской партии или просто портфель редактора «Речи» — не сказано. Но на вид портфель хороший, солидного качества и вместительный.

Похож ли Милюков на свой портрет, не знаю, но думаю, что следовало бы ему быть похожим. Просвещенная ограниченность и обывательское лукавство, поднявшееся на высоты политической «мудрости» — эти черты как нельзя более к лицу лидеру кадетской партии.

Г. Милюков очень гордится своей устойчивостью. Не последовательностью мысли, не широтой захвата, не энергией наступления, а устойчивостью. Сам он устойчивый, и партия у него устойчивая. И г. Милюкову трудно даже решить, кто тут кому больше обязан: он ли партии или партия ему.

Не то, чтобы г. Милюков так-таки совсем не колебался и не противоречил себе. Нет, и очень колебался и весьма противоречил. Но всегда в пределах: в надежных пределах собственной политической ограниченности.

От Выборга до Лондона [92]), от призыва не платить податей до голосования за третье-июньский бюджет — дистанция большая. Милюков проделал ее. Правда, он потом разъяснял, что Выборг был в сущности не Выборг, а так... полувыборг, совсем пассивный и почти что на точном основании основных законов;

и что Лондон тоже ничего не менял, кроме падежа: была оппозиция режиму, стала оппозиция при режиме, только и всего.

Но все-таки разницы между Выборгом и Лондоном не смахнешь. Ведь в программе кадетской партии самый вопрос о форме государственной власти оставляется открытым (в случае чего — мы, мол, и фригийский колпак наденем!), а лондонское паломничество предполагало уж, конечно, не фригийский колпак, а картуз с позументами. Ведь мы-то знаем, что в 1904 г. г. Милюков тоже ездил в Лондон, но совсем для иной цели: для знакомства с левыми; а после первых двух Дум он разрешился своими счастливейшими политическими афоризмами: о левом осле и о красной тряпке. Правда, он сам разъяснил, что о тряпке он говорил совсем «не в том смысле», что красное знамя он «уважает». Но ведь это опровержение он сделал только недавно, после того как на «крылатом» осле, этом духовном сыне Милюкова, пять лет ездили взад и вперед жокеи «Нового Времени», конюхи «России» и конокрады «Русского Знамени». Пять лет молчал устойчивый Милюков, молчал — не разъясняя, а вот после ленского движения, после первомайского выступления, после появления открытой рабочей прессы — и все это ввиду надвигавшихся выборов— взял да и разъяснил: осел не осел, и тряпка не тряпка.

Под толчками событий и Милюков качался — как не качаться? — но в конце концов благополучно восстановлял каждый раз утраченное равновесие. У других — перелом, ренегатство, резкая смена идеологии, барабанный бой «Вех» [93]), а у г. Милюкова все плавно и округлено, все расчитано, все введено в пределы просвещенной ограниченности. Он и шуточку-то свою про «осла» пустил не в минуту острой схватки с левыми, не в порыве гнева, а тогда, когда политический отлив достиг самой низкой точки своей, когда левые были связаны по рукам и по ногам, юстиция работала, не покладая рук, а правые улюлюкали и лязгали зубами... Вот тогда г. Милюков и пошутил насчет демократии.

Но так как шуточка разъяснена, то отчего бы демократии и не голосовать за г. Милюкова.

* * *

Устойчивость Милюкова — оборотная сторона его политической «мудрости». А мудрость Милюкова, которою так сытно питается его самодовольство, состоит в органическом презрении

к «утопии». Он живет сегодняшним и еще немножко — завтрашним днем. Утопия же — это все то, что относится к послезавтрашнему или еще более далекому дню. И оттого левые для него не просто политические противники и не только классовые враги, — они психологически враждебная для него человеческая порода.

«В Европе рабочие перестали уже верить, что сами они активными выступлениями добьются чего-нибудь».

«Идея диктатуры пролетариата — ведь это идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать».

Если бы этими афоризмами разрешился г. Родичев [94]), дело другое. Г-н Родичев состоит при своем темпераменте, а темперамент г. Родичева, в свою очередь, давно стал его профессией. Г-н Родичев — человек так называемого экстаза, г. Родичев с Русью на «ты». Когда умрет Хавронья Прыщова [95]), которая давно уже сделалась из легитимистки кадеткой, на сердце ее несомненно найдут начертанным имя г. Родичева. Словом, с г. Родичева взятки гладки.

Но ведь эти афоризмы высказал на одном из петербургских предвыборных собраний не кто другой, как Милюков, — ученый историк, политический вождь. Изумительно? Нисколько. Не по программе своей только, а и по всей натуре г. Милюков — juste milieu, золотая середина. Он не вмещает пространного. Он считает возможным и осуществимым только то, что «разумно». А разумно то, что вмещается в рамки политической ограниченности — его собственной и его круга. Ну кто же в редакции «Речи» верит в самостоятельную политику европейского пролетариата? Г-н Гессен не верит, г. Левин не верит, г. Изгоев не верит [96]). Когда Милюков ездил в Лондон и там имел беседу (из-за спины октябристов и националистов) с тузами биржи и биржевой журналистики, ни один из них не заявил себя убежденным сторонником диктатуры пролетариата. Асквит не верит. Клемансо не верит. Пуанкаре не верит [97]). «Ни один человек в Европе» не верит.

А Европа Бебеля, Виктора Адлера, Жореса, Геда, Кэр-Гарди? Но ведь это же Европа «утопии», Европа социалистического пролетариата, Европа послезавтрашнего дня. Какое дело руководящему политику выморочного русского либерализма до той единственной европейской партии, которая владеет сердцем массы и ключом от ворот будущего!..

* * *

До III Думы фигура г. Милюкова была окружена в глазах его политической паствы дымкой таинственности. В I Думу он не попал, во II — не попал — и руководил «ходом событий» из невидимой суфлерской будки. Но вот, наконец, он избран в III Думу. Кадеты при встрече друг с другом поднимали вверх указательные пальцы: «Погодите, теперь он себя покажет: у него есть план». — О, у него есть план!

Так же точно, как известно, говорили некогда про французского генерала Трошю, защитника Парижа в 1870 г.,—а плана-то у Трошю, как на грех, и не оказалось: он просто сдал Париж пруссакам.

Но Милюков не Трошю. У него есть план. У Кутлера [98]) — у того выдающийся административный опыт (школы Витте), у Маклакова [99])—дар оптовой и розничной искренности (по прейскуранту Тагиева), у Родичева — ну, ему поручено «глаголом жечь сердца людей»... Зато уж у Милюкова — у Милюкова есть «план».

И вот г. Милюков начал свою парламентскую карьеру с того, что принял демонстративное участие в овации Столыпину, которого «обидел» Родичев. В интересах «плана» Родичев немедленно поперхнулся огненным глаголом и — по поручению Милюкова — обещал премьеру, что «больше не будет». Бедный, бедный Мирабо!

Эту сцену следовало бы увековечить для синематографа и теперь можно было бы не без успеха показывать ее во всех собраниях, где Онорэ Габриэль Рикетти [100]) Родичев повествует о том «мужестве, которое кадеты проявляли 5 лет — в дни тяжких испытаний и невзгод»...

Милюков искал общего языка с октябристами и Столыпиным. Вящше изломившись (самодовольство почти покинуло его в те дни), он суетливо предъявлял людям 3 июня свой патриотизм, он вторил Извольскому, он презрительно отмахивался от социал-демократической фракции, не желавшей замечать «новый курс» русской дипломатии, он тревожно стучался в комиссию государственной обороны, он развил необузданную германофобскую и славянофильскую фразеологию. Увы! все надежды Милюкова на роль покровительствуемого левого резерва при столыпинско-октябристском законодательстве рухнули. Ничего из этого не вышло, если не считать срама. Милюков стал

строго уличать Столыпина в отсутствии государственного разума, — и все увидели, что никакого «плана» у Милюкова нет.

Но это нисколько не пошатнуло его роли лидера. Наоборот, даже упрочило. Да ведь он совсем наш — нашей плоти и нашего духа! — решила его паства. Попробовал бы в самом деле Милюков создавать стратегические планы! — ведь армия его состоит сплошь из людей отяжелевших, с жирной складкой самодовольства и серьезным доходом. «Речь» они читают охотно, особенно сытенькое остроумие Азова, охотно подают оппозиционный бюллетень, — но и только. С какой бы предвыборной благожелательностью Милюков ни похлопывал сейчас приказчиков и прочих «маленьких людей» по плечу, все же мы ведь прекрасно знаем, что вся политика Милюкова, все расчеты и надежды его не к приказчикам и к конторщикам приурочены, а к солидному, «устойчивому», дипломированному обывателю, который хочет культуры и прогресса, но еще больше хочет порядка и спокойствия. Какие же тут наступательные планы? Сиди у моря и жди погоды.

Г. Милюков сидит и ждет. Спорит с министрами, иногда недурно спорит, и пишет статьи, в которых обстоятельно доказывает, что г. Кассо [101]) лишен истинного государственного смысла.

А попытайтесь его спросить: что же дальше? какие у него дальнейшие перспективы? что думает он противопоставить людям 3 июня, которые не хотят слушать либеральных резонов? — г. Милюков пожует глубокомысленно губами и ответит: «об этом мы поговорим в следующий раз».

* * *

О, достопочтенный либеральный обыватель, — ты, который ни холоден, ни горяч! Милюков — твой неоспоримый, твой прирожденный вождь. Что бы делал ты, несчастный, если бы природа забыла создать Милюкова? Но она не забыла. И ему нужно только оставаться верным самому себе, чтобы давать законченное выражение твоей ограниченности и твоему эгоизму.

Милюков — твой вождь. Владей им безраздельно, держись за него крепко, он — твой. Но скажи ему, вместе с тем, чтоб он не совался туда, где «маленькие люди» горят душою над боль-

шими вопросами, где требуют прямых ответов, где не любят шуточек о красных тряпках, где умеют хотеть, и бороться, и верить в победу.

Скажи ему, обыватель, что там ему делать нечего!

«Луч» №№ 6—7,
22—23 сентября 1912 г.

ГУЧКОВ И ГУЧКОВЩИНА

Сотруднику одной петербургской газеты Гучков прямо сказал: «Петух должен перед восходом солнца прокричать, а взойдет ли оно, или нет, это уже не его дело». Слова эти Гучков про себя сказал, про свое киевское выступление с оппозиционной резолюцией [102]). Сравнение с петухом надо, разумеется, «понимать духовно», и во всяком случае надлежит представлять себе при этом не русского петуха, — ибо тогда в голову полезет мысль, что Гучков петушится, — а галльского петуха, у которого самое кукуреку выходит под марсельезу. Но самое привлекательное в выступлении Гучкова, им самим истолкованном, это нравственный стоицизм и абсолютное политическое бескорыстие. Не потому Гучков предложил свою резолюцию, чтобы «это было кому-нибудь на руку, или кому-нибудь пришлось не на руку». Играть кому-либо в руку, — помилуйте, разве это вообще в нравах Гучкова? («Не на таких я правилах основан-с», как говорит Аполитка у Островского.) Он, Гучков, просто выполнил свой нравственный долг, не останавливаясь мыслью на практических последствиях. Он перешагнул через всякие партийные интересы. Ибо что такое партии! Преходящая пена перед лицом вечных нравственных начал. «Пена» — Гучков так и сказал. Петух должен пред восходом солнца петь, повинуясь петушиному категорическому императиву. А взойдет ли солнце, или нет, он не в ответе. Fais ce que dois, advienne que pourra! (Выполняй свой долг, а там будь что будет!) — Совершенно ясно: Гучков стал на точку чистого кантианства в политике. Откуда бы это? — соображает озадаченный россиянин. Ведь руководящим правилом Гучкова и гучковщины в политике было старое московское наше, из-за прилавка вынесенное, *не обманешь, не продашь*. И вдруг от этого в высшей степени утилитарного руководящего начала сразу махнуть на высоты абсолютного долга, одним, так сказать, прыжком от козлиной бороды — к Канту!

Может быть, тут влияние Петра Струве? — догадывается обыватель-идеалист. Ведь года три тому назад отчаявшийся октябристский философ Гарт[103]) требовал для русского народа новой морали, «прочно сдерживающей индивидуальные и групповые стремления к самонасыщению», и взывал к новому неведомому «славянскому Канту». Не сыграл ли г. Струве и впрямь за спиною реакции этой благодетельной роли? Может, он посредством кружковой пропаганды привил московской плутократии мораль категорического императива и тем ограничил ее «стремление к самонасыщению»? И, может быть, кружковый период закончился, и Гучков признал своевременным перенести воспринятые начала в большую политику?

Прежде, чем удалось разрешить этот вопрос, обнаружилось, что предутренний крик Гучкова прозвучал не в пустыне, — немедленно же послышался мелодический отклик Маклакова. Почтенный депутат настойчиво предлагает всем оппозиционным силам примкнуть к программе Гучкова, которую он, согласно доброму старому, но увы! совершенно пустопорожнему методу, приравнивает к общему политическому коэффициенту, подлежащему выведению за скобки. «Соглашение (на программе Гучкова) наверно распадется после первой победы, — разъясняет г. Маклаков, — но предварительно эту победу доставит». Стало быть, за восход солнца Маклаков ручается вполне.

Г. Маклаков — политик особенный. Главный ресурс его политики состоит в способности «в последний раз» питать надежду на вразумление начальствующих и им услуживающих. «Последняя надежда» у Маклакова вроде неразменного рубля: начальствующие не вразумляются, а последняя надежда остается. Предъявлять такую надежду, ввиду самой деликатности ее, приходится всегда с проникновенной искренностью, так, чтобы, например, г. Кассо, вернувшись домой из Думы, вынужден был сказать себе: «Вот Маклаков все еще надеется на меня, в последний раз надеется, и если я надежды сей не оправдаю, то отравлю навсегда его душу»...

Но так как сессия следует за сессией, и прения повторяются, то, во избежание убийственной монотонности, г. Маклаков вынужден предъявлять в Думе искренность все большей и большей силы напряжения. В этом его тяжкий крест, ибо находить все новые и новые вибрации надеющейся из последнего и уже почти отчаивающейся искренности, — это, согласимся, нелегко.

Зато в ореоле этой концентрированной искренности он как бы возносится над всеми партиями. В чтении его речи производят нередко такое впечатление, будто глазами слушаешь по нотам «Молитву Девы».

Пьеса, бесспорно, несколько устарелая, но не лишенная привлекательности. Было бы, однако, ошибочно думать, будто эта трогательная мелодия проникнута нравственным платонизмом. Нет, в ней совершенно явно звучит тоска девы по оплодотворению. Так и в политических речах г. Маклакова. Можно не разделять его «последней надежды» и не заражаться его искренностью, но нельзя не слышать, как настойчиво тоскующая дева оппозиции зовет к себе мужа власти. Само по себе это в порядке вещей. Странным только может показаться, почему именно выступление Гучкова, который сам отводит вопрос о практических последствиях, в такой мере оживило «последнюю надежду» Маклакова. Это противоречие мы уже отметили выше. В противовес кантианцу-Гучкову, Маклаков выступает, как политический утилитарист. От союза с Гучковым он ждет не отвлеченных нравственных благ, а практических результатов, непосредственной, ближайшей победы, и он ни на минуту не сомневается, что союз «эту победу доставит».

Получается такое qui pro quo (недоразумение).

— Во имя практических завоеваний откажемся (временно!) от программы, т.-е. от того, что считаем нашим долгом, — предлагает г. Маклаков, — и станем под киевское знамя Гучкова.

— Я не потому развернул это знамя, — говорит г. Гучков, — чтобы надеялся на практические завоевания, а потому, что хочу выполнить свой долг!

Не нужно, однако, это противоречие брать слишком трагически, ибо цену гучковскому кантианству мы ведь знаем достаточно, как и цену самому Гучкову. Из породы малых «великих людей», Гучков попал у истории в случай, потому что ей нечем было заткнуть дыру бесплоднейшей и бездарнейшей эпохи. Гучков не произнес на своем веку ни одной значительной политической речи, не написал ни одной статьи и уж, конечно, не совершил ни одного действия, которое можно было бы записать в книгу общественного развития. В качестве исторической затычки он присвоил себе внешнюю значительность оговорками к чужим действиям, речам и статьям. Гучков всегда ходит вокруг да около, глубокомысленно молчит, а если говорит, то обиняками, укло-

няется, где можно, от голосования, или ретируется в трудную минуту на Дальний Восток. Воплощение политического паразитизма, он хотел пользоваться всеми выгодами, какие давал ему и его клике режим 3 июня, стремясь в то же время свести к минимуму свою ответственность за этот режим. Но это ему не удалось и не могло удасться.

Разве же не Гучков на глазах всей страны состоял в течение всей черной эпохи усердным компером из общества при бюрократии, — как при фокусниках бывают помощники «из публики»? 3 июня, скорострельные суды, поход на Финляндию, поход на поляков, поход на евреев, — везде и всюду Гучков свою руку приложил если не как инициатор, то как соучастник или злостный попуститель. То, что характеризует истекающую эпоху: надутый, как пузырь, патриотизм и радение родному человечку; героические удары в грудь и жирные концессии; разнузданное бахвальство ничтожеств; грубое щеголяние физическим «мужеством» при полном отсутствии мужества нравственного; эксплоатация самых низменных и диких инстинктов под прикрытием джентельменского сюртука; и наконец лживость и лживость на каждом шагу, — все это одним своим концом упирается в Гучкова. И ненависть к Гучкову тем сильнее и законнее, что он ведь призван был и явился олицетворением начала земщины при опричине. Гучковщина — это гниль и ложь, это подобострастное пресмыкательство перед торжествующими и глумление над разбитыми, затравленными.

И когда *этот* Гучков вносит оппозиционную резолюцию, «не задумываясь» о том, кому она на руку и кому не на руку, когда этот непримиримый рыцарь принципа не хочет Коковцева отличать от Кассо и Щегловитова [104]), а, наоборот, главный свой удар направляет на Коковцева, — то слишком наивно думать, что он, Гучков, просто «ищет популярности», — где он найдет ее и что она даст ему? — Нет, можно безошибочно предположить, что он ищет завоевания каких-то весьма конкретных позиций, ключ к которым находится в руках у министра финансов. Но все равно. Какими бы мотивами ни руководился Гучков: действительно ли он заносит на всякий случай левую ногу через борт третьеиюньского корабля, или же, как думаем мы, пробует лишь паразитически использовать начавшийся общественный подъем для давления на прижимистого государственного казначея (а деньги теперь так дороги и биржа в них так нуждается!), —

это по существу дела ничего не меняет. Гучков есть Гучков. Это имя звучит, как эхо целой эпохи и как политический приговор.

Кто с благодарностью и надеждой заглядывает в глаза Гучкову за его оппозиционный жест, кто верит Гучкову, кто строит на Гучкове, кто призывает набросить покров забвения на то, чего забыть нельзя, тот совершает тягчайший грех перед будущим страны.

Г-н Маклаков, случайный политик из хороших адвокатов, хочет «первой победы» и не знает к ней другого пути, как приспособление к гучковскому приспособленчеству. Между тем, путь к первой, и ко второй, и к третьей победе один: оздоровление общественного сознания. Ликвидация политического наследства реакционной эпохи предполагает в первую голову ликвидацию нравственного октябризма, очищение общественной совести от растлевающего духа гучковщины.

«Киевская Мысль» № 276,
6 октября 1913 г.

ГЕОРГИЙ ЗАМЫСЛОВСКИЙ

«Наше имя — честное имя».
(Замысловский в Думе.)

В результате очной ставки между пробудившейся массовой личностью и режимом обезличения старое вынуждено было документально признать силу нового. Была впервые в истории русской государственности принципиально признана *личность*. Но сейчас же за этим открылся жестокий период 1906—1907 г.г., когда личности пришлось очень туго. А между тем именно в это время, в самый разгар практики исключительнейших положений, поставлен был, силою инерции, в III Думе вопрос о законодательных гарантиях личной неприкосновенности.

И кого же третье-июньская Россия выслала своим представителем — глашатаем прав человека и гражданина — кого? Бывшего прокурора, да еще из северо-западного края, чиновника-обрусителя из Вильны, члена союза русского народа, г. Замысловского. В качестве докладчика комиссии, гордившейся тем, что в ней «ни один кадет больше трех дней не выдерживает», Замысловский взял на себя обоснование тех принципов, которые во всем свете побеждали, как принципы демократии против сословно-бюрократической реакции. И он обосновал. Нужно

прочитать эту речь, произнесенную в стиле прокурорского заключения по поводу ходатайства обвиняемого (народа), чтобы найти в ней почти химически-чистый продукт злобного реакционного тупоумия при распутной подвижности формальных аргументов. В центре доклада о гарантиях прав человека и гражданина стояла забота о том, как бы проект о неприкосновенности личности не превратился в закон о «неприкосновенности воров и грабителей» или, что еще хуже, в закон о «неприкосновенности жидовской личности». Так и сказал докладчик на своем не прокурорском уже, а союзнически-подзаборном языке.

Труды комиссии в защиту личности превратились в классификацию старых заушений, а заново ремонтированные права русского гражданина определялись, как арифметический остаток от бюрократического всевластия. Своим докладом виленский чиновник из породы ожесточенных карьеристов, с бегающими глазами и эластичным языком, надолго вписал свое имя в историю нашей страны. Во всяком случае идея личности никогда, может быть, не подвергалась такому гнусному посмеянию, как в тот день, когда Замысловский, в качестве адвоката личности по назначению, произносил одну из самых постыдных речей в истории европейского парламентаризма.

Непосредственного успеха он не имел. Даже большинство III Думы устыдилось своего собственного политического спектра, в образе прокурора-союзника, ведущего под конвоем злосчастную личность в ручных и ножных кандалах. Когда выяснилось, что Дума собирается убрать поскорее с глаз своих законопроект, которым оценилась ее собственная комиссия, трибуну снова занял Замысловский, чуть-чуть было не ставший крестным отцом русской хартии вольностей, и уже без экивоков и условностей злобно выкрикнул единственный свой победоносный аргумент: «Если вы не примете этого законопроекта, не примете того, что вам *дают*, то вы ничего не *получите*» — угроза политического гайдука, которого разгневанные господа выслали к просителям на черное крыльцо.

В этой роли Замысловский всегда находил свое подлинное *я*. Когда Гучков почтительно огорчился чрезмерно подчеркнутой насмешкой министра юстиции над бессилием Думы, тогда тот же Замысловский взошел на трибуну и воскликнул, захлебываясь собственной похотливостью: «Мы эту злорадную насмешку приветствуем и злорадно смеемся вместе с министром юстиции!»

Ведь красноречив? Чужой властной рукой, которой раньше привык только бояться, наносить удары своим противникам и безнаказанностью своего бесстыдства измерять собственную значительность — это Замысловский.

Ум вульгарный, интригански-хитрый, грубо-софистический, Замысловский никогда не способен подняться до какого-нибудь обобщения, хотя бы и в реакционном духе. Его наиболее удачные речи — всегда кляузнические реплики в розницу, а его большие речи — всегда утомительное нагромождение подьяческих софизмов и инсинуаций по поручению. Только чрезвычайная духовная скудость реакции позволила Замысловскому выдвинуться в передний ряд.

* * *

Для нас бесспорно, что Замысловский в настоящее время — самая циничная фигура на русской политической арене. Когда мы это говорим, мы не забываем ни Пуришкевича, ни Маркова. Правда, Замысловский никогда не вызывал в Думе своими речами взрывов негодования, никогда не сосредоточивал на себе такой физической ненависти, как это удавалось нередко Пуришкевичу или Маркову. Но это никак не потому, чтобы в моральном смысле он был выше их. Наоборот, он ниже их уже по одному тому, что его цинизм не смягчен запальчивостью и раздражением. У Пуришкевича, у Маркова есть какая-то сословно-желудочно-нравственная ось, вокруг которой они вращаются, как была своя ось у Собакевича. А вот у Чичикова этой оси не было, и нет ее у Замысловского. Выжига Собакевич сидел на своей земле, имел какие-то традиции (ужасно свинские, разумеется!), а Чичиков рыскал по отечеству, вынюхивал, не пахнет ли где жареным, и скупал мертвые души. Собакевич грубиян, наступает на ноги, плут, всегда готов съесть чужую рыбу, а все же любезный и вымытый Чичиков несравненно гаже Собакевича. У Собакевича плутовство натуральное, органическое и этим ограниченное, а у Чичикова спекулятивное и потому не знающее пределов: он может и в военные шпионы поступить, и заняться редактированием миссионерского органа, и написать исследование Каббалы. Конечно, если взглянуть пошире, то противоречия между Собакевичем и Чичиковым, конечно, нет, социальный корень у них один: в основе своей Чичиков тот же Собакевич, только внешне приглаженный, а внутренне — окончательно растленный.

Скажут, что это вообще неуважение к патриархальной памяти Собакевича и Чичикова — приводить с ними в связь Маркова и Замысловского. Конечно, так. Но представьте себе, что Собакевичев сын, после драмы 19 февраля *), сломившей отца, не только устоял на ногах, но взял реванш в земстве, да в дворянском банке, да на подрядах, потом жестоко напоролся на аграрные недоразумения, потом снова взял реванш, вернул себе протори и убытки, да еще с лихвой, и был, наконец, призван писать законы, — и вы протянете генетические нити к Маркову 2-му.

Чичиков — не Замысловский; — куда же? — мелко плавал, боялся властей, да ведь он и учился на медные деньги. А вы представьте себе, что Чичиков-junior прошел полный курс юридических наук и пошел по прокурорской части, что он кооперировал с жандармскими подполковниками по политическим статьям, и притом в Вильне, т.-е. над инородческим, преимущественно еврейским материалом; вы представьте себе, что он утвердился в том выводе, что при надлежащей сервировке ему все позволено; что в нем, провинциальном прокуроре с протоптанной совестью и извилистым языком, нуждаются, что он может отныне служить своему министру по сокращенному маршруту, слегка даже покрикивая при этом на его высокопревосходительство — и вот тут-то вы и приблизитесь к Замысловскому.

«Государство всегда основано на несправедливости», горланит Марков и подает рецепт «оттяпывания голов». Пуришкевич приспособляет гвоздику ниже жилета и кричит: «Я занимаюсь доносами и этим горжусь». Марков и Пуришкевич, те всюду носят с собой свой пронзительный букет — курительной комнаты при губернском дворянском клубе, в часы между ужином и групповой «экскурсией». А Замысловский non olet (не пахнет), он — магистратура, блюститель закона и привык себя соблюдать. К площадным откровенностям он не склонен, ни по природе, ни по профессии. Наоборот, нет ни одной моральной ценности, к которой он не прикоснулся бы с наглой почтительностью своими холодными и цепкими пальцами.

Неприкосновенность личности? — «Доказывать необходимость ее значило бы ломиться в открытую дверь»...

---

*) 19 февраля 1861 г. — освобождение крестьян от крепостной зависимости. *Ред.*

Гуманность? — «Ничего нельзя иметь против гуманности к осужденным и находящимся под судом»...

Гласность? — «В то время когда мы делаем все усилия, чтобы добиться этой гласности в насущном вопросе русской жизни (о «безнравственности» студенчества)»...

Это все дословные цитаты из думских речей Замысловского, и эти цитаты можно бы умножить без конца.—Что толку,—говорит он себе, — обливать публично помоями нравственные ценности, — нет, эти ценности нужно растлить. Пуришкевич вместе с семинарским педагогом Образцовым на запрос о студентах и курсистках дали полную волю своему утробному воображению. Как они сладострастно чавкали, обличая распущенность молодежи, и как брызгали слюною, живописуя курсисток, которые будто бы «грудями выпирали» из аудитории профессоров. Замысловский скажет то же самое, только не в обнаженно-бытовой, а в бесстрастно-чиновничьей форме. Выйдет в своем роде почти «корректно», а на самом деле еще более гнусно.

Черносотенная «стихийность» Замысловскому совершенно чужда. У него пакости не от нутра и не от традиций, а сознательно, по расчету — он понимает и низменность своих единомышленников и дрянность своей политики и личную свою отверженность, он ненавидит своих противников сверху вниз, завистливо, не просто, как врагов, а как людей, которые имеют право презирать его, — и он готов *на все*, чтоб унизить их и восторжествовать над ними. Если его что сдерживает, так внешние, а не внутренние препятствия. Полная нравственная распущенность, введенная в рамки бюрократической полукорректности и прокурорской настороженности, — может ли быть что гаже?

Еслиб пришла на нашу землю внезапная ревизия и перетряхнула бы — в числе многого другого — архивы черносотенных союзов и частные архивы их главарей, она нашла бы много материалов по части сухих и мокрых дел, — но одно можно сказать с уверенностью: против Замысловского она документов не обнаружила бы. Нет, нет, он обязательств на себя не выдавал, он себя соблюдает в чистоте, он — законник. Какой-нибудь Дубровин или там Пуришкевич, те могли бы в недобрый час оказаться в своем роде «мучениками идеи», а Замысловский — нет, он не при чем. Еще и содействовал бы уличению своих единомышленников.

* * *

Если в своих думских речах Замысловский по общему правилу старательно проходит у самой грани непристойности, то на «жиде» он неизменно срывается и обнажается до конца. Тут все сдерживающие соображения отлетают. Тут одна есть заповедь — от Пуришкевича — и эта заповедь: «Валяй!» Что они без жида! Жидом живут, жидом питаются, жидом укрываются! Трусы и отщепенцы, они должны непрерывно мять, давить и терзать чучело «жида», чтоб поддерживать в себе сознание своей личности.

Как воздух, хлеб и вода, нужен Замысловскому кто-нибудь, кого он мог бы наделять всеми своими пороками, и даже более, — кого он мог бы представлять злее, корыстнее, бессовестнее, чем он сам, — и эту службу ему служит жид, не тот или другой, а отвлеченный, жид вообще, жид в себе, трансцендентальный Шнеерсон...

Что такое в самом деле то отвлеченное «жидовство», которое эти субъекты отождествляют с известной расой? Это ни пред чем не останавливающееся корыстолюбие, социальный паразитизм, кагальная сплоченность во имя преступных целей, полное отщепенство от народа и нравственная отверженность, — но что же это такое, как не самая сущность боевого черносотенства, безразлично: михаило-архангельской или нововременской марки?

* * *

Вся предшествующая карьера Замысловского — на «жиде» — была только вступлением к его участию в деле Бейлиса.

Говорили, что Замысловский был одно время «радикалом»; сам он это отрицал. Возможно, что действительно попробовал в 1905 г., — тогда многие пробовали, — но своевременно остановился. По собственным словам, он во время первых Дум вообще еще не занимался политикой и вступил на новую стезю только тогда, когда глагол 3 июня до слуха чуткого коснулся. Он стал на крайнем правом фланге, ибо это не могло не казаться кратчайшим путем к цели. Но обстоятельства, хоть и очень благоприятные, оказались, однако, не в полном соответствии с аппетитами. Уже в III Думе Замысловский проявлял патриотическое

нетерпение разочарованного карьериста и жадно озирался: нельзя ли чем-нибудь пнуть в бок клячу отечественного парламентаризма, чтоб она и вовсе оглобли назад повернула. Дело Бейлиса явилось тут, как дар небес.

Однако, на патриотическом пути встретились затруднения. Спасителям отечества пришлось самим давать отчет — незадолго до дела Ющинского — по некоторым экспериментам политического употребления как еврейской, так и христианской крови. Было установлено, на основании сознания прямых участников, что Юскевич-Красовский отрядил «союзников» Половнева, Ларичкина, Казанцева и Александрова совершить убийство Герценштейна [105]); что Казанцев в Москве организовал убийство Иоллоса [106]), при чем в правых газетах об убийстве сообщалось еще до его совершения. Было установлено, что из этих организаторов и выполнителей убийств два — Красовский и Половнев — были членами главного совета; что они вместе с Дубровиным, Булацелем и Пуришкевичем участвовали в той депутации, которая предложила Столыпину услуги «самобытной организации». Когда по поводу этих фактов, которые как-никак внушительнее анонимной черной бороды ритуалиста, внесен был в Думу запрос об уголовной природе «Союза», Замысловский, строгий и неподкупный юрист, застегнутый на все пуговицы, заявил с трибуны:

«Но, господа, допустим, хотя это совершенно не доказано, что убийство Герценштейна действительно учинено теми лицами, которые были в союзе русского народа, но если отдельные лица за свой страх и риск учиняют преступление, то разве может тень от этого преступления падать на организацию, к которой они принадлежат? Ведь надо доказать, что эти лица действовали с согласия организации, с ведома организации, по поручению организации, вот тогда преступление, совершенное отдельными лицами, клеймит всю организацию».

И этот же самый субъект, драпировавшийся непреклонным законником, писал уже в 1911 г. брошюру об «умученном от жидов» Ющинском, от жидов вообще, за круговой порукой всего еврейства, хотя не только коллективная ответственность нескольких миллионов душ, но и прикосновенность одного единственного Бейлиса оставалась тогда во всяком случае не более доказанной, чем теперь. Но тут у прокурора-законника был уж довод иного порядка:

«Русское простонародье западного края глубоко уверено, что Ющинский замучен жидами для выполнения ритуального обряда, и *мое убеждение такое же*». Почему? Да потому, что успех в этом деле был бы бесспорно кратчайшим расстоянием... между двумя точками.

В поведении Замысловского на процессе нет и капли политического или национального фанатизма, потому что какой же Замысловский фанатик? — он чистейший нигилист. Но есть несомненно нечто неподдельное в разнузданности его вопросов и непристойных выходок: это *личное* остервенение. В политической рулетке последних лет Замысловский поставил свой жизненный куш на «жида», и в процессе Бейлиса должна была решиться судьба его ставки. Вдохновленный исходом дел Герценштейна, Иоллоса и Караваева, он сперва не сомневался в успехе... И вдруг почувствовал, что ставка, не только общая ставка жидоедства, но и его личная ставка может оказаться битой, и притом — независимо от прямого исхода процесса. Что-то такое скопилось в общественной атмосфере, нестерпимое для Замысловского. И он решил дешево себя не сдавать.

– Факты против нас? Логика против нас? Общественное настроение против нас? Европа против нас? Все, что есть в стране и во всем мире честного, мыслящего, просто опрятного, даже просто дальновидного — все это против нас? Так вы говорите? Со мною Верка-чиновница? *) Рудзинский с Сингаевским? Вы говорите, что мы отверженцы и что я, лично я, Замысловский, просчитался? Так постойте ж, я вам еще покажу. Еще ведь судьба не взвесила нас окончательно. Вот я, Замысловский, сижу здесь и скупаю мертвые души и плету свою сеть, и в сознание этих двенадцати темных людей я могу еще заронить те самые мысли и чувства, из-за которых вы презираете меня.

— Пожалуйте сюда, господа свидетели и господа эксперты, становитесь: вы — ошую, а вы — одесную. Здесь я ставлю вопросы по образу и подобию моему.

— Отец Автоном, расскажите нам для первоначала, вы на мощах видали жидовские уколы? Своими глазами? Не видали? А может видали? Уколы? А? Жидовские? На мощах? Отец Автоном?

---

*) Верка-чиновница — Вера Владимировна Чебыряк, главная свидетельница со стороны обвинения в деле Бейлиса. *Ред.*

— Вера Владимировна, не говорил ли вам Марголин, что звон металла все сделает? Привлечет защиту? Убедит прессу? Говорил? Звон металла? Да? Звон, да? Еврейский звон? Как много дум наводит он!.. А потом они отпираться стали? В подворотню юркнули? Вы были возмущены? Ну, еще бы!

— Что вы сказали о Казаченко, свидетель, а, повторите? Что он — жулик? Почему? Он сидел за подлоги? И это все? Он еврейских детей на улице избивал? Грозил, говорите, навести погром на жидов? И это все? Ваших три рубля... присвоил? Скажите, пожалуйста, какие у него неприкосновенные три рубля! И это все? И это дает вам право отзываться о человеке, как о жулике?

— Это вы, г. Бразуль, ага, так-так... За правду заступились? А сколько вам дадено? Ась? Не дадено? Из уважения к правде? Вы правду любите? Так не дадено, говорите? Гм, не дадено?.. А Красовского вы рекомендовали, по его просьбе, Карасевым? Ведь он Красовский? А? А вы его Карасевым назвали? Карасевым — Красовского? Значит, вы на-вра-ли? А? Ведь это ложь, а? Назвать Красовского — Карасевым? Ну, и вам не стыдно было? Нет? Лгать? Не противно, не омерзительно вам было лгать? А? А? А? Я вопросов больше не имею!

— Эксперт... э... кэк вэс... э... Павлов... Вы что, в университете учились? Или вы из кантонистов? А? Кровь отворять умеете? Ах, умеете!.. Так вы утверждаете-с, что Андрюше приятно было, когда жиды его потрошили, а?

Но несомненно высшего своего подъема Замысловский — а с ним вместе и весь процесс — достиг в своем диалоге с Сингаевским и Рудзинским. Здесь нравственная распущенность достигла тех размеров, которые придают ей уже характер трагического. Как утешительно знать, по крайней мере, что этот диалог дословно закреплен, как страшный документ эпохи и ее человека! Это уже не то, что ставить шулерские ловушки свидетелям защиты или, прикрываясь формой вопроса, бросать липкие намеки в людей, связанных по рукам и по ногам положением свидетелей, — нет, здесь дело шло уж о том, чтобы взять под руки двух грабителей, подозреваемых в убийстве и, окутав их своим абсолютным доверием, провести их, как бы в шапке-невидимке, пред глазами присяжных заседателей. Завтра могут открыться новые улики? Завтра сами убийцы могут сознаться? Там видно будет. Но зато сегодня мы еще покажем, на что способны.

— Вы ночью, говорите, грабили? А вот защита, видите ли, утверждает, что это не могло вам помешать утром убить. Ну, давайте общими силами разоблачим защиту. Ведь грабеж, свидетель, это дело серьезное, не правда ли? Вы должны были предварительно изучать вопрос, не правда ли? Вы были очень озабочены, не правда ли? Ведь на ваших плечах лежала нравственная ответственность за успех предприятия? Вы не могли отвлекаться? Ведь не могли же? Вам не до Андрюши было? Не правда ли? Вы ведь серьезный человек, свидетель, так, очертя голову, грабить не пойдете? Вы грабите хорошо, планомерно, вы добросовестный грабитель, не правда ли? Объясните это, пожалуйста, присяжным заседателям! Так что эта легенда о вашем будто бы участии в убийстве есть интрига революционеров: Махалина и Карасева? Вы не могли им ничего рассказывать? Ведь вы человек осторожный, ведь так? Ведь вы, как серьезный грабитель, не стали бы доверяться революционерам, т.-е. людям сомнительной профессии? Не правда ли? Ведь верно? А? Да говорите же, ну, ну, еще слово, еще словечко выжмите из себя, тупые головы, одно еще единенькое... Ну вот, наконец, слава богу. Уфф... Молодец, Сингаевский! Спасибо, Рудзинский!.. Больше я вопросов не имею.

Я чувствую, что своей схемой я только ослабил подлинный диалог, вернее монолог Замысловского. Отложите эти строки в сторону, возьмите в руки стенографический отчет и перечитайте вдохновенное собеседование бывшего прокурора с двумя грабителями. Ничего, ничего, пересильте себя, сударь, не комкайте отчета, не швыряйте его в угол, не сжимайте в негодовании кулаков. Читайте терпеливо, внимательно читайте, вникайте, господин гражданин, вам полезно через это пройти!..

Истинно-русские—дубровинцы, михаило-архангеловцы, суворинцы, архаровцы! На памятнике Замысловскому, — а этот памятник вы должны воздвигнуть ему при жизни, — начертайте великую ксиву: как Замысловский учил двух честных блатных не капать на себя не во время по мокрому делу. И пусть ваша молодежь, ваша надежда, Голубевы и Позняковы, заучивают блатную ксиву наизусть, как высший образчик черной гражданственности! И пусть эта ксива станет вашею песнью-песней!

«Киевская Мысль» № 295,
25 октября 1913 г.

3. ОТГОЛОСКИ 1905 ГОДА

ХРУСТАЛЕВ

Многих русских рабочих поразит своей трагической неожиданностью весть о том, что Хрусталев[107]), бывший председатель Петербургского Совета Рабочих Депутатов, арестован парижской полицией за воровство.

И они должны сами перед собой поставить вопрос: как могло это случиться? Что означает арест Хрусталева? Как связать его роль в 1905 году с его жалким концом?

Имя Хрусталева в ноябре 1905 г. приобрело колоссальную популярность. Оно повторялось во всех газетах и на всех перекрестках. Огромная политическая инициатива, проявленная Петербургским Рабочим Советом, его энергия, решимость, его авторитет в массах, — все это сразу встало перед пробужденным российским обывателем, как таинственная загадка. «Кто это у них там командует?» — спросил себя обыватель, привыкший к мысли, что все на этом свете делается по команде, — и буржуазные газеты в один голос ответили ему: *Хрусталев*.

До образования Совета Георгий Носарь — таково подлинное имя Хрусталева — был беспартийным левым, из молодых адвокатов. К социал-демократии относился недружелюбно, с рабочим движением сталкивался только тогда, когда оно выходило временно на открытую арену, как в комиссии сенатора Шидловского [108]) (февраль 1905 г.) В председатели Совета Хрусталев был выбран на втором заседании. Главным доводом за него была его беспартийность. В Совет, который создавался, главным образом, усилиями меньшевиков, входили также большевики,

социалисты-революционеры и беспартийные. Партийный председатель — в ту первую эпоху, когда Совет только создавался — породил бы сразу партийные и фракционные трения.

Без самостоятельной точки зрения, без социалистического образования, довольно посредственный оратор, Хрусталев проявил бо́льшую энергию, находчивость и практический смысл. В глазах широких рабочих масс, которые сами с восторгом и изумлением смотрели на свое собственное создание, Хрусталев выступал, как организационное средоточие их собственной силы. Но наиболее сознательные рабочие, составлявшие исполнительный комитет, точно так же, как и интеллигенты — представители социалистических партий, чувствовали в нем чужака, пришельца, человека, внутренно не связанного с делом социализма. В исполнительном комитете Совета социал-демократы окружили Хрусталева надежным конвоем. Сознавая свою полную политическую беспомощность, Хрусталев покорно шел навстречу всем предложениям, вносившимся представителями социал-демократии, а вскоре, считаясь с ее растущим влиянием в Совете, и сам объявил себя социал-демократом. Хрусталев светил двойным светом: партии и массы. Но и тот и другой свет был *отраженным*, т. е. чужим. Собственный рост Хрусталева совершенно не соответствовал ни той внешней роли, которую ему пришлось сыграть, ни — еще менее — той легендарной популярности, какую ему доставила буржуазная пресса.

В эмиграции это скоро обнаружилось. В развертывавшейся за-границей идейной борьбе, хотя и осложненной подчас до неузнаваемости кружковщиной, шла все же важная работа оценки опыта, подведения итогов и определения дальнейшего пути. К этой работе Хрусталев был совершенно неподготовлен. В нем сразу обнаружилось полное отсутствие как политической, так и нравственной устойчивости. Ему нехватало ни той дисциплины мысли, какая дается теорией, ни той дисциплины характера, какая дается партией. Он сразу почувствовал себя не у дел, стал метаться из стороны в сторону, выступил из социал-демократии, где не надеялся добиться влияния, объявил себя синдикалистом и в то же время ярко стал проявлять оборотную сторону своего авантюристского темперамента — в разных темных операциях финансового характера. Это окончательно отрезало его от политической эмиграции. Он сам потерял всякое уважение к себе, опускался все ниже и ниже и — может быть, с рассудком, напо-

ловину помутившимся от головокружительных превратностей судьбы — кончил воровством.

Личная судьба Георгия Носаря глубоко-трагична. История раздавила этого нравственно-неустойкого человека, взвалив на него тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и... разбился сам.

Несчастному Носарю рабочие не откажут в сочувствии. Но о разрушении легенды Хрусталева они жалеть не станут. Подводя свои итоги эпизоду хрусталевщины, они скажут твердо и четко:

— Одной иллюзией меньше, одним опытом больше. Теснее ряды и — вперед!

«Луч» № 67,
21 марта 1913 г.

К ЛИКВИДАЦИИ ЛЕГЕНДЫ

(Письмо в редакцию)

В № 67 «Луча» *) я дал краткую характеристику Хрусталева, которая заканчивалась словами: «Личная судьба Георгия Носаря глубоко трагична. История раздавила этого нравственно-нестойкого человека, взвалив на него тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и... разбился сам. Несчастному Носарю рабочие не откажут в сочувствии. Но о разрушении легенды Хрусталева они жалеть не станут»... Цель моей статьи была: облегчить русским рабочим понимание страшного нравственного падения этого человека, сыгравшего в известный момент если не серьезную, то яркую роль в русском рабочем движении. И вот теперь Хрусталев требует меня за мою статью к ответу. Он требует, чтоб я указал ему, «когда, с кем и какими темными финансовыми операциями он занимался».

В этой области я ничего не могу прибавить к тем, совершенно точным «указаниям», которые давались Хрусталеву

*) См. предыдущую статью. *Ред.*

не раз и на которые он, по совершенно понятным причинам, давно перестал реагировать.

В своей статье я не перечислял поименно «темных дел» Хрусталева — по мотивам, которых нет надобности более точно определять. Но после того формальное требование Хрусталева уже было удовлетворено в русской печати. «Часы Циммермана, — писал парижский корреспондент «К. Мысли», г. А. Воронов (№ 126), — маленькая деталь, пустяки по сравнению с подложными векселями на имя г-жи Скаржинской, с растратой эмигрантских денег, с займами под несуществующую адвокатскую контору, и т. д., и т. д.».

Вытесненный естественной логикой вещей из среды людей не только идейных, но и просто опрятных, Хрусталев не только не привел в исполнение данного им три года назад обязательства привлечь обвинителей за «клевету», но и давно прекратил всякие вообще попытки в целях своей реабилитации. И только теперь, когда гласное судебное разбирательство в Париже, затронувшее случайно вырванный мелкий эпизод из жизни Хрусталева, выбросило, после большого промежутка, имя его на поверхность и снова сделало его на миг предметом острого любопытства улицы, Хрусталев собрал последние остатки своей духовной энергии и судорожно заметался в стремлении сделать бывшее не бывшим. Тягостная картина! Толкаемый нерассуждающим инстинктом самосохранения, Хрусталев случайно ухватился — в качестве точки отправления — за мою статью, которая, как показывает приведенная выше цитата, не обличала и, разумеется, не шельмовала, а *объясняла* его, рассматривая его самого скорее как жертву, чем как виновника собственной злосчастной судьбы. В своем ко мне «Гласном обращении» Хрусталев не только отвергает факты, которых я не называл по имени, но которые тем не менее имели место, нет, он пытается на всех и на все по пути набросить сеть сумбурных инсинуаций: на политическую эмиграцию, на партию, к которой я принадлежу, на отдельных моих друзей и прежде всего на меня лично. А так как на свете существуют культурные дикари, которые любят звон разбиваемых бутылок и с наслаждением глядят на человека в припадке падучей болезни, и так как у этих дикарей имеется своя ежедневная пресса, то Хрусталев без труда нашел газету, которая напечатала его «обращение» ко мне. Газета эта называется «Биржевыми Ведомостями».

Возмущаться или негодовать по поводу бессвязного «Обращения» Хрусталева я совершенно не в состоянии, ибо для таких чувств отсутствуют в данном случае все необходимые психологические предпосылки. Я ограничусь тем, что спокойно разъясню все те обвинения и полуобвинения, в которых вообще можно что-нибудь понять.

1. Хрусталев пишет, что я не имею права считаться с сообщениями прессы об его темных делах, «так как та же (?!) пресса обвиняла вас и всех членов Совета в краже общественных денег». «Пресса», обвинявшая членов Совета в хищениях, это — анонимная черносотенная прокламация, распространявшаяся за подписью «Группы русских рабочих» в Петербурге ко времени ареста Совета. Аноним ее давно раскрыт в известном письме г. Лопухина к Столыпину: эта «пресса» была сочинена и напечатана в *петербургском жандармском управлении*: дело шло попросту о внесении замешательства в среду рабочих к моменту ареста их выборного представительства. Как курьез, отмечу, что на меня лично эта прокламация никаких обвинений не возводила, наоборот, прямо отговаривалась неимением насчет меня «сведений». Это исключение, разумеется, чисто случайное, было сделано, чтобы демонстрировать «добросовестность» авторов подлога и придать оттенок вероподобия нелепому документу. Товарищ прокурора Бальц, представлявший обвинение на судебном процессе Совета, энергично и определенно отбросил жандармскую клевету, никем на суде не поддержанную и без труда разрушенную свидетельскими показаниями.

Так обстоит дело с «той же прессой».

2. Хрусталев требует также, чтоб я не ссылался на эмигрантские «слухи», «так как (!) эмигрантская среда взвела и распространила позорящие политически слухи по адресу члена исполнительного комитета Введенского-Сверчкова, и вы вынуждены были выступить в защиту вашего друга в заграничной русской прессе». Здесь имеется, повидимому, в виду следующее. Мой товарищ по президиуму Совета Д. Ф. Сверчков, арестованный в 1910 г. в Москве и приговоренный к трехлетней каторге за побег из ссылки, получил — по особому докладу министра юстиции — чрезвычайное смягчение наказания (5 лет надзора), после того как врачебная комиссия нашла у него туберкулез легких и горла. Так как случай этот сам по себе исключительный и так как лица, не знающие Сверчкова, могли бы предположить, что Д. Ф. добился

смягчения наказания какими-либо своими личными шагами, несовместимыми с политической честью, то я — не в опровержение каких-либо слухов (о них мне решительно ничего не было известно), а в предупреждение самой возможности их — напечатал в «Будущем» краткую заметку с изложением фактических обстоятельств этого дела. Это — все. Больше ничего не было. Имя Д. Ф. Сверчкова привлечено Хрусталевым исключительно для того, чтобы увеличить радиус смуты.

3. Более определенное на вид и очень тяжелое по существу обстоятельство, выдвинутое им против меня, заключается в утверждении, будто в моей книжке «Туда и обратно» (издание «Шиповник», 1907 г.) *) я «разгласил» мой побег и будто «на основании» этой брошюры был арестован крестьянин, вывезший меня из Березова. Во всем этом верно только то, что я бежал из Березова, что я описал свой побег и что в Березове был арестован крестьянин в связи с моим побегом. Однако же крестьянин был арестован совершенно независимо от моей брошюры: по предательству рекомендованного мне им проводника. Незачем говорить, что в книжке не было решительно ни одного слова, которое могло бы прямо или косвенно повредить кому-либо из содействовавших мне лиц. Вся та часть повествования, которая относилась непосредственно к побегу из Березова, имеет в моей книжке совершенно вымышленный характер. Для всякого рассуждающего читателя в этом не могло быть сомнения с самого начала.

Проходя мимо следующей далее политической и теоретической полемики Хрусталева (в этой области нам с ним совсем уж делать нечего), проходя мимо утверждения, будто Совет депутатов был создан не социал-демократией, а им, Хрусталевым (впервые появившимся на втором заседании Совета), остановлюсь еще только «на столкновении» нашем в доме предварительного заключения, которое должно объяснить мою будто бы «вражду» к Хрусталеву. «Гласное обращение» рассказывает, что я «стремился навязывать обвиняемым свою точку зрения, отстаивая, что Совет Рабочих Депутатов готовился к вооруженному восстанию», Хрусталев же этому противодействовал. Что именно я хотел «навязать», совершенно ясно видно из моего письма к политическим друзьям «на воле». Арестованное у одного из них на

*) Вышла после революции в изд. Гиз. Петроград, 1919 г. *Ред.*

вокзале и следовательно никак не предназначавшееся для гласности, письмо это, по требованию моего защитника О. О. Грузенберга, было оглашено на суде. У меня и сейчас имеется выданная мне секретарем суда копия. Вот что в ней значится: «Мы хотим восстановить на суде деятельность Совета, какою она была в действительности. О себе каждый будет говорить постольку, поскольку это будет необходимо для выяснения деятельности Совета или партии... У нас так же мало права преуменьшать или коверкать деятельность Совета, как мало охоты преувеличивать ее». Такова же была позиция и остальных обвиняемых: рассказать, что было. И в этой именно плоскости у нас у всех были столкновения с Хрусталевым, характер которых отсюда ясен сам собою. Неверно, будто «мы обошли на суде выдвинутый вопрос». По поручению всех подсудимых, я об этом именно вопросе произнес на суде речь *).

Но это было не единственное и не главное «столкновение». Из материалов предварительного дознания мы, подсудимые, увидели, что известные показания Хрусталева имели заведомо *предательский* характер. Некоторые из подсудимых настаивали на том, чтобы Хрусталев был немедленно извергнут из нашей среды. Я несу главную долю ответственности за то, что этого не случилось. Объясняя характер показаний Хрусталева его неврастенической распущенностью и озабоченный достойным проведением политического процесса, я — не без серьезного противодействия со стороны части товарищей — настоял на решении, которое оставляло Хрусталева в нашей среде, но обязывало его итти с нами в ногу. Мы отобрали от него соответственное письменное обязательство, препровожденное нами в центральное учреждение партии.

Ввиду этих обстоятельств совершенно ясно, что никто из подсудимых не заблуждался насчет личности Хрусталева. В июне 1907 года, когда я и Хрусталев были уже за границей, все с.-д., сосланные по делу Совета, обратились из ссылки с письмом к руководящим товарищам, в котором указывали, что «по своим политическим и нравственным качествам Хрусталев не может занимать никакого ответственного поста в партии». Под этим

---

*) В стенографическом воспроизведении издательства Н. Глаголева она вошла затем в мою немецкую книгу «Russland in der Revolution». 1909 г.

письмом подписались не только «интеллигенты», но и все сосланные рабочие: Киселевич, председатель союза печатников (Хрусталев входил в Совет в качестве одного из 20 делегатов от этого союза), Злыднев (от Обуховского завода), Немцов, Комар... И действительно: несмотря на фантастическую популярность, созданную ему обывательской прессой, Хрусталев никогда ни в какие учреждения партии не выбирался. Он вышел из партии четыре года тому назад — именно потому, что «по своим политическим и нравственным качествам» не мог иметь в ней места.

«Луч» № 111,
16 мая 1913 г.

4. ПАМЯТИ УШЕДШИХ

СТРАНИЧКА ИЗ ПРОШЛОГО

(К смерти П. А. Злыднева)

Умер в Чите Петр Александрович Злыднев, от разрыва сердца... Сейчас имя Злыднева не многим памятно—по крайней мере, за пределами рабочего Петербурга. Помнят его, впрочем, крепко и некоторые лица, очень далекие от Обуховского завода: сенатор Крашенинников [109]) помнит, граф Витте, надо полагать, твердо помнит, — как не помнить его сиятельству Злыднева?

Петр Александрович, родом откуда-то с юга, работал в 1904—1905 годах на Обуховском заводе. Был он хорошим рабочим-механиком, достигал большой точности и очень ценился администрацией за добросовестность и даровитость работы. Но еще больше ценился он рабочими-обуховцами. В нем было что-то крепкое, внутренне-надежное, спокойно-настойчивое. Глядя на него и слушая его, рабочие чувствовали, что Петр Александрович не зарвется, но и не согнется. У него не только в механических работах, у него и в политике был меткий глаз. Чутьем он отлично определял людей и оценивал обстоятельства, будучи органическим реалистом, нимало не страдал короткомыслием. Любил он больше слушать, чем говорить, а слушая умел отделять словесную шелуху от делового ядра. Агитаторской пламенности в нем не было, но он умел говорить великолепно в своем роде: в число его свойств входил и украинский юмор, но дисциплинированный рассудочностью и совершенно очищенный от южного дилетантизма...

Есть ораторы, которые без остатка растворяются в своей речи. А есть такие, которые невольно внушают слушателю убе-

ждение: «говорит умно, а сам — еще умнее»... К этой второй категории и принадлежал Злыднев. Была у него особенная усмешечка, своя, злыдневская, в которой умное добродушие соединялось с уверенностью в себе. Друзья часто над ним подшучивали — над его спокойствием, ровностью, «положительностью», несмотря на молодость, — ему было тогда 27—28 лет! — он отвечал усмешечкой, да чуть-чуть поводил бровью: «ладно, мол, — мы себя знаем»...

Недавний выходец из провинции, он скоро стал во главе обуховцев, — а обуховцы в Петербурге много значили, особенно в ту пору! — попал в комиссию сенатора Шидловского, а затем, одним из первых, и в Совет Рабочих Депутатов.

Администрация хорошо знала этого небольшого роста коренастого «мастерового», с выдающимися скулами, и знала, что значит его слово для нескольких тысяч обуховских рабочих. И таковы были тогда настроения и отношения, что для поездок обуховских депутатов в город, на заседания Совета, дирекция, по одному слову Петра Александровича, предоставляла казенный катер.

В Совете Злыднев говорил не часто, по важным только вопросам и всегда кратко. Но был он в первую очередь выбран от невского района в исполнительный комитет. А затем, когда, после ареста Хрусталева (26 ноября 1905 г.) установлен был трехчленный президиум, в его состав чуть ли не единогласно избран был Злыднев.

Он сам себя никогда не выдвигал, но и никогда от ответственных постов не отлынивал, а было это уже в ту пору, когда стало совершенно ясно, что уполномоченным Совета не на розах почивать придется: арест Хрусталева и аресты в провинции были достаточно красноречивым вступлением к дальнейшей работе г. Дурново. «Новое Время» в эти дни уже снова окончательно нашло себя: старый лисий хвост покойника-Суворина сразу исчез из газеты и притом навсегда, а его место заняла оскаленная физиономия бывшего непротивленца из «Недели». Я потому упоминаю об этом, что по поводу выборов президиума было что-то такое напечатано в «Новом Времени», с игрой на фамилию Злыднева: злыдни, мол, собираются хозяйничать, в этом роде. Принесли газету Петру Александровичу на заседание исполнительного комитета, — прочитал, усмехнулся спокойно, только в карих глазах темный огонек метнулся... хороший огонек, настоящий, — за один такой огонек человека всю жизнь уважать можно.

Был он мужествен, без всякой рисовки. Мужество у него было, несмотря на молодость, зрелое, умное, — то, про которое у Толстого капитан Хлопов говорит: «храбрый тот, который ведет себя как следует»... Злыднев не выскакивал вперед из рядов, но и не отступал назад, — шел туда, где нужен был, и всегда все делал, «как следует».

Был он крупной индивидуальностью, без индивидуализма. Насквозь артельный, общественный человек, он в этом свойстве своем ощущал всегда основную свою нравственную силу.

Между рабочими и интеллигентами, даже стоящими на одной и той же точке зрения, долго остается какая-то психологическая дистанция, нехватает каких-то смычек, — результат отложившейся в бессознательном разницы социального происхождения. По отношению к Злыдневу этой дистанции не наблюдалось вовсе. Петр Александрович писал с грамматическими ошибками,—только в ссылке он вполне овладел тайнами этимологии и синтаксиса, — а чувствовал себя не только на равной ноге со всякими «руководящими» интеллигентами, но своей спокойной убежденностью, своей реалистической проницательностью, внутренней силой личности— незаметно для себя — внушал многим ощущение своего над ними превосходства. И это ощущение не было ошибочным. Он был крупный человек, и если бы не плохая мышца сердца, разорвавшаяся до времени, он занял бы еще, быть может, большое место в истории нашего времени.

* * *

3 декабря 1905 г. Злыднева арестовали вместе со всем Советом в здании вольно-экономического общества. Родни в Петербурге у него не было, где-то в провинции проживала, кажется, сестра. На свидания к нему ходили только обуховцы, они же заботились о нем, доставляя обильные «передачи». По воскресеньям Петру Александровичу неизменно доставлялся пирог, отличнейший и притом необыкновенных размеров пирог, который должен был одновременно знаменовать собою силу-мощь обуховского завода и великую преданность его Петру Александровичу. Этот хозяйственный пирог вошел серьезным фактором в жизнь дома предварительного заключения. Немедленно собирались соседи по коридору: «На чай к Злыдневу, обуховский завод новый пирог принес»... Злыднев, вернувшись со свидания, стоял на пороге

своего жилища, — в те месяцы камеры не очень-то запирались! — и приглашал: «Пожалуйте, обуховский пирог дожидается»...

Сердце временами сильно досаждало ему, цвет лица становился землистым, вокруг глаз обозначались темные кольца. Но ровное благодушно-умиротворяющее настроение никогда не покидало его. Он ни с кем не ссорился, — посаженные в клетки люди, как и звери, склонны к беспричинным ссорам, — вносил всегда успокоительную ноту в острый разговор и хорошо откликался на чужую шутку. Когда возникал острый вопрос, и шло обсуждение, кто-нибудь непременно восклицал: «А где же Злыднев? Надо Петра Александровича позвать!». И он появлялся со своей подстриженной треугольником бородкой и маленькими умными глазками, быстро разбирался в существе дела и в двух-трех словах подавал свое умное, дельное мнение.

Ровно и спокойно держал себя Злыднев на суде. Ни одна нота не звучала волнением в его голосе, когда он, первый, сделал от имени подсудимых заявление: «Мы решили принять участие в настоящем исключительном суде только потому, что находим это необходимым в целях политических — для широкого публичного выяснения истины о деятельности и значении Совета Рабочих Депутатов».

Стенографический отчет о процессе до сих пор, к сожалению, не издан, а он заключает в себе неоценимый исторический материал. Было вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 250 явились и дали показания. Рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-телеграфные чиновники, полицейместеры, гимназисты, учительницы, гласные думы, дворники, сенаторы, депутаты, хулиганы, профессора и солдаты дефилировали в течение месяца пред судом и, линия за линией, штрих за штрихом восстановляли столь богатую содержанием эпоху Совета...

До известного момента процесс, начавшийся 19 сентября, в самый острый период первого междудумья, в медовые недели военно-полевых судов, велся с чрезвычайной и на первый взгляд даже необъяснимой широтой. Но на самом деле тут был несомненно политический расчет: министерство Столыпина таким путем отбивалось от атак гр. Витте. Чем больше развертывался процесс, тем ярче он воспроизводил картину правительственной растерянности в конце 1905 года. «Попустительство» Витте, его интриги на две стороны, его фальшивые заверения в сферах,

может быть, наконец, его закулисный «договор» с Рабочим Советом, — вот что министерство Столыпина стремилось извлечь из суда над Советом. И оно нашло кое-какой материал, хоть и не совсем такой, какого хотело.

На одном из заседаний суда Злыднев рассказал о своих свиданиях с графом Витте. Таких свиданий было два, оба раза, разумеется, по поручению Совета.

19 октября полиция арестовала двух членов Совета, явившихся на Казанскую площадь распустить собравшийся там митинг. По этому поводу отправлена была к Витте депутация из трех рабочих, во главе со Злыдневым.

«Депутация была принята гр. Витте, — рассказывал Петр Александрович на суде. — При входе ее в кабинет министра, Витте поднялся из-за письменного стола, заваленного грудой бумаг, и, после обычных приветствий, принятых у культурных людей, попросил рабочих сесть».

С каким превосходным тактом излагал Злыднев суду этот эпизод. Он не назвал себя, как участника депутации, хотя всем было ясно, что переговоры вел именно он, — и это придало его повествованию особенно выразительную черту объективизма, к которому только чуть-чуть присоединялся моментами внутренний смешок. «После обычных приветствий, принятых у культурных людей», — эти с еле заметным смешком сказанные слова должны были дать понять судьям и публике, что гр. Витте пожал трем пролетариям руки, — и то, как это было сказано, делало до последней степени ясным даже для судей, что Петр Александрович, обуховский мастеровой, нимало не почувствовал себя польщенным и отлично понимал, какие-такие деликатные обстоятельства времени толкнули гр. Витте на путь приветствий, принятых у культурных людей.

Графу изложили, в чем дело.

— Здесь, вероятно, какое-нибудь недоразумение... — быстро сказал Витте.—Как же это так,—арестовывать неизвестно за что!

Ему снова подтвердили факт.

— Странно... Я сейчас поговорю об этом с градоначальником и попрошу его сделать распоряжение об освобождении ваших товарищей.

Витте подошел к телефону и позвонил.

— Ваше превосходительство, ко мне явилась депутация от рабочих. Они заявляют, что полиция арестовала у Казанского

собора трех их товарищей, отправившихся по постановлению Совета Депутатов распустить демонстрацию... Я не сомневаюсь в их искренности... Пожалуйста.

— Ваши товарищи сегодня же будут освобождены, — сказал Витте, обращаясь к депутации.—Это не больше, как недоразумение.

Но депутацию не легко было «обворожить» предупредительностью.

— Неужели можно назвать «недоразумением» и поведение полиции 17 и 18 октября, результатом которого был ряд ничем не вызванных убийств?

— Да, к несчастью такие случаи действительно были. Но они объясняются тем, что акт 17 октября произвел слишком резкую перемену в нашей жизни. Полиция наша недостаточно корректна, чтобы ее поведение соответствовало провозглашенным свободам, но со временем все это устроится. Она научится, привыкнет. Нельзя же все сразу! — сказал Витте.

После совета прекратить забастовку, со стороны графа, и после указания на необходимость всеобщего избирательного права, со стороны рабочих, депутация удалилась под заключительную фразу Витте: «Скажите рабочим, что я — их друг».

Арестованные были действительно немедленно освобождены.

Второе свидание гораздо ярче обнаружило и личность премьера и его роль. 17 и 18 октября, вследствие недоразумений со стороны «недостаточно корректной» полиции, было, как известно, убито несколько человек. Совет предполагал организовать похоронную манифестацию. Решено было через депутацию предупредить гр. Витте о мирных целях манифестации, как и о том, что Совет берет на себя полную ответственность за сохранение порядка.

«Хотя, по заявлению швейцара, гр. Витте был очень занят, — рассказывал Злыднев, — и только что отказал в приеме каким-то двум генералам, но депутация была принята министром.

— Здравствуйте. Вы от Совета Рабочих Депутатов? Я вас помню, вы были у меня два дня тому назад?

Депутация изложила цель посещения.

— Я лично ничего не имею против вашего желания, — сказал, подумав, Витте. — Такие процессии допускаются на Западе, и я этому сам сочувствую, но это — не в моем ведении. Я вам советую обратиться к Дмитрию Федоровичу Трепову, так как город находится под его охраной.

— Мы не можем обращаться к Трепову, — на это у нас нет полномочий.

— Жаль...

Депутация предложила самому графу поговорить с Треповым по телефону. Витте мялся.

— Пожалуй, поговорю. А все же вам лучше бы отправиться к нему лично.

Витте подошел к телефону.

— Дмитрий Федорович, вы?.. Здравствуйте. У меня здесь депутация от рабочих... Ожидают порядочного скопления народа... Не давая вам никаких указаний, я желал бы, чтобы это обошлось без крови... Что такое? Хорошо. До свиданья.

— Я вам предлагаю обратиться к градоначальнику, господа, — сказал Витте депутации...

Звонок телефона прервал разговор...

— Ну, слава богу, подписана амнистия, поздравляю вас, господа, — сказал Витте, отходя от телефона и обращаясь к депутации.

— Полная или частичная амнистия, граф?

— Амнистия дана с соблюдением благоразумия, но все же достаточно обширная.

Витте быстро написал несколько слов и передал письмо депутации: «оно вам может пригодиться».

— Мы возьмем ваше письмо, но оставляем за собой свободу действий. Мы не уверены в том, что нам придется им воспользоваться.

— Ну, конечно, конечно, я ничего не имею против этого...

Исполнительный комитет, — так закончил Злыднев свой рассказ, — выслушав доклад депутации о результатах поездки, решил к градоначальнику не обращаться. Взятое у Витте письмо было немедленно ему возвращено. Этим и ограничились сношения представителей пролетариата с гр. Витте».

И опять: эти чуть подчеркнутые слова — «письмо было немедленно ему возвращено» — выражали собою всю меру оценки личности и роли премьера, который очень сочувствует манифестациям (в Западной Европе), но ничего не может обещать, от которого ничто не зависит, который ничего не может сделать, — разве что дать рекомендательное письмо. «Письмо было немедленно ему возвращено».

С каким настороженным вниманием слушал судебный зал этот рассказ! А Петр Александрович сел с такой спокойной уверенностью, как если бы он только что передал о своих переговорах с мастером Обуховского завода.

Однако и те, которые надеялись добраться, наконец, до прямых доказательств «сделки» гр. Витте с революцией, не могли не испытывать досады: сделки не оказалось и в помине, — правда, не по вине Витте, надо думать...

История на этом не закончилась. 2 ноября (1906 г.) в день объявления приговора в окончательной форме, в «Новом Времени» появилось письмо вернувшегося из-за границы гр. Витте, который категорически отрицал всякие свои сношения с Советом и попутно ставил себе в заслугу то обстоятельство, что при нем рабочее представительство было разгромлено. Он был тогда же с исчерпывающей ясностью уличен в печати, — и под уличающим открытым письмом первою стояла подпись Петра Злыднева. Граф пошел на уступки и написал второе, чрезвычайно извилистое заявление, смысл которого был тот, что хотя к нему, Витте, и приходила действительно дважды депутация от Совета, но он склонен ныне на нее смотреть так, как еслиб она была и не депутация и не от Совета. О возвращенном ему письме граф, конечно, совсем позабыл. Тогда Злыднев закрепил почти дословно свой рассказ в печати («История С.Р.Д»). Граф Витте умолк.

* * *

Петр Александрович пошел в ссылку, с лишением всех прав состояния. В ссылке он провел 7 лет. На 35-м году жизни отказалось служить сердце.

«Киевская Мысль» № 10,
10 января 1914 г.

ПАМЯТИ П. А. ЗЛЫДНЕВА

Русская социал-демократия незаметно входит в лета. Совсем недавно, кажись, бегала в детских башмачках, — а оглянешься: сколько могил уже позади!.. Состареться, одряхлеть социал-демократия не может: дряхлеют политически те партии, которые примиряются с действительностью. А социал-демократия непримирима. Нравственная и политическая свежесть обеспечена ей, —

доколе не совершит того, что ей положено. Но из эпохи юности мы вышли и вступаем в эпоху зрелости. В этом внешним образом убеждаешься каждый раз, когда оглядываешься назад, на могилы, которых уже так много...

Могила Петра Александровича — в далекой Чите, потому что он принадлежал к той породе русских людей, для которых место жительства определяют другие, хоть их об том никто не просит. Родился Злыднев где-то на юге, кажется, в Николаеве; в самые ответственные месяцы 1905 года стоял в первом ряду рабочих Петербурга, а умер в Чите, едва достигши полной зрелости: вряд ли Петру Александровичу было больше 35 лет.

Много ли на Обуховском заводе сейчас рабочих, которые лично знали Злыднева? Если бы можно было произвести подсчет, это бросило бы яркий свет на превратность судеб передового русского рабочего. Все, что выдвинулось тогда, в 1905 г., из рабочей среды, все, на чем обозначилась печать незаурядности, талантливости, мужества,—все это было выхвачено, заточено, расшвырено: такими мерами ведь надеются задержать, если не совсем остановить процесс политического роста рабочего класса. Но как организм растет и крепнет, обновляя свои клеточки, так неудержимо зреет и класс, повинуясь внутренним законам своего развития, а не полицейским предначертаниям. А отдельные клеточки класса — живые люди — быстро изнашиваются в наших условиях и — отмирают.

Злыднев умер от паралича сердца. Что сердечная мышца у него из рук вон плоха, об этом даже ближайшие друзья его узнали только в тюрьме, в 1906 г., дожидаясь вместе с Петром Александровичем суда над Советом Рабочих Депутатов. Когда зеленоватый оттенок, выше тюремной нормы, ложился на его лицо, а вокруг глаз вдавливались два зловеще темных круга, Петр Александрович, на вопрос о причине, отвечал лаконически: «сердце пошаливает». И мы узнали, что у Злыднева больное сердце. А раньше знали только, что у него сердце честное и мужественное.

Мужество у него было настоящее, высшей пробы, облагороженное сознанием собственного достоинства и никогда не покидавшим его самообладанием. Было в нем что-то прочное, надежное, внутренне-устойчивое и успокаивающее.

И вид у него был, несмотря на больное сердце, такой же надежный: невысокого роста, скорее ниже среднего, коренастый,

широкоплечий, лицо круглое, выдающиеся скулы и спокойно-проницательные маленькие глаза, в которых была, однако же, и смягчавшая весь его облик хохлацкая ласковость.

Влияние Злыднева росло с исключительной быстротой — как все, что совершалось в то исключительное время; — он, вчерашний выходец из провинции, принимал этот факт без удивления и без рисовки, просто и естественно, как должное. Он сам не делал ни одного шага, не говорил ни одного слова, которые были бы продиктованы погоней за популярностью, стремлением «играть роль».

Это мелкое честолюбие дешевых натур было ему совершенно чуждо. Он никогда не заискивал перед массой и нимало не «робел» перед теми из-за-границы прибывшими «вождями», которые в то время впервые встретились лицом к лицу с русской рабочей массой. Он всегда был ровен и верен себе, говорил мало и только то, что думал. Он не был пламенным оратором, — больше разъяснял и взвешивал, чем призывал.

Были ораторы, которые несравненно сильнее воспламеняли слушателей, чем он, но когда возникал вопрос о представительстве — мастерской ли, завода, района или всего петербургского пролетариата — в первую голову называлось имя Злыднева. От Обуховского завода его в феврале провели в комиссию сенатора Шидловского.

В октябре его одним из первых выбрали в Совет Рабочих Депутатов.

От Невского района его избрали в Исполнительный Комитет Совета.

Когда во главе Совета был поставлен трехчленный президиум, Злыднев был чуть не единогласно избран в его состав. Когда Совет отправлял депутацию к графу Витте, оба раза во главе депутации стоял Злыднев. И, наконец, когда обвиняемые по делу Совета решили заявить суду, что их участие в процессе вызывается исключительно стремлением установить историческую правду, сделать это заявление было единогласно поручено Злыдневу. Ясный реалистический ум, самообладание и нравственная непоколебимость делали его прирожденным представителем всякого коллектива, в состав которого он входил.

Вернуться к политической деятельности Петру Александровичу не пришлось. Суд сослал его на поселение в Сибирь, «с лишением всех прав». Среди этих мнимых «прав» русского пролетария

было одно действительное, которое ссылка отняла у Злыднева: право бороться в рядах своего класса. И прежде чем обстоятельства успели вернуть ему это важнейшее из «прав» рабочего социалиста, смерть вырвала его навсегда из наших рядов. Социалдемократия потеряла в нем выдающегося деятеля, а мы, близко знавшие его, потеряли в Петре Александровиче друга, которого научились ценить и любить.

«Борьба» № 3,
9 апреля 1914 г.

ПАМЯТИ Б. Н. ГРОССЕРА-ЗЕЛЬЦЕРА *)

Впервые я познакомился с Гроссером в Лондоне, в 1907 г., во время второго, лондонского, съезда. Видел я его, собственно, еще до революции, в одном из южно-германских городов, где Гроссер, тогда еще студент, выступал оппонентом на моем реферате. Он был тогда совсем еще мальчиком, но в голосе его звучал уже металл настоящего оратора. И в 1907 г., оставив позади себя эпоху революции, Гроссер был все еще убийственно молод. Несмотря на энергичную растительность на лице и складку на лбу, в глазах его можно было без труда прочесть признание в юношеской свежести восприятий и жадности к жизни. В нем — при большой дозе застенчивости — были ноты и жесты уверенности в себе, той изнутри идущей уверенности, которая порождается даровитостью натуры. Эти нервные, как бы повелительные движения и нетерпеливые поблескивания близоруких, очень честных глаз, вперемежку со вспышками юношеского смущения, придавали незабываемую выразительность и угловатую привлекательность всему его образу. Угрожающе худой, с приподнятыми плечами и тонкими руками, он создавал впечатление чрезвычайной физической непрочности. На таких сыновей матери смотрят с щемящей тревогой: устоит ли? Не сломится ли? А его мать должна была глядеть с двойной тревогой: ведь не на торную дорогу вставал ее сын... И только, когда Зельцер говорил, в особенности публично, непосредственное впечатление хрупкости отодвигалось куда-то назад впечатлением внутренней силы, убежденности, нравственного упорства. «А, вот он каков, — говорили вы, слушая Зельцера в первый раз, — нет, он еще за себя постоит, да и за других постоит!» Хрупкий

*) Умер 6 декабря 1912 г. *Ред.*

анатомический аппарат его приводился в движение превосходной нравственной пружиной первоклассного закала.

Мы оказались в Лондоне в одном и том же отеле и в первые дни общими силами преодолевали затруднения, вытекавшие из лондонских расстояний и из незнания английского языка. Это сблизило. Шествуя с ним по бесконечным лондонским улицам, от одного «боби» до другого, я непрерывно ощущал ту радость, какую дает общение с прекрасной человеческой личностью. Его интеллектуальная стремительность, легкость, с какой он реагировал на чужие мысли, меткость его силлогизмов, победоносность его антитез, боевой задор, вспыхивавший тревожными огоньками и в самой непринужденной беседе, все это располагало к нему, — особенно в ореоле его кричащей молодости. Я думаю, будет верно, если я скажу, что внешняя неуравновешенность его натуры и сочетание уверенности в себе с застенчивостью порождали в его старших товарищах и друзьях, — а старше его в ту пору были почти все — симпатию, чуть-чуть покровительственного характера. Но этот оттенок покровительственности бесследно испарялся, как только Зельцер вступал на трибуну. Житейское и фамильярное немедленно отлетало от него, между ним и аудиторией сразу устанавливался необходимый «пафос расстояния». В голосе, сильном и благодарном, крепли властные ноты, жест получал законченность, и политическая страсть с резко выраженным интеллектуальным характером, страсть несгибаемого, победоносного силлогизма, подчиняла слушателей оратору, как власть имеющему. Он был рожден человеком трибуны, т.-е. трибуном.

Уже первое его выступление на лондонском съезде — при выработке порядка дня — обратило на себя внимание. Он говорил ярко, отчетливо, с необходимыми для боевого оратора заострениями. Я и сейчас отчетливо слышу убежденный голос Зельцера, свободно раздающийся под сводами лондонской церкви, в которой происходили заседания съезда; я вижу, как он выбрасывает свою руку то в сторону большевистского, то в сторону меньшевистского крыла; как склоняется и выпрямляется его худая напряженная фигура, повинуясь внутреннему ритму речи. Но этого уж нельзя воспроизвести, это ушло навсегда вместе с его худым и хрупким телом. Остались на бумаге только иероглифы слов. Однако же и на них виден отблеск его духа, смелого, убежденного, дерзающего, бросающего вызов. «Я хочу,—

говорит он, — видеть съезд работоспособным... Я не думаю... Я думаю... Я утверждаю...». В этой частой у Зельцера ораторской форме, исходящей из личного местоимения, не было и тени неприятного эгоцентризма, выпячивания своего *я*. Наоборот, эта субъективная нота согревала его словесное творчество, придавая убедительному силлогизму или выразительной антитезе характер завоеванного убеждения.

Никогда не избегая открытого поля принципиальной борьбы, — идея против идеи, знамя против знамени, — Зельцер никогда в то же время не упускал случая высмотреть незащищенное место у противника и нанести в это место сверхметкий удар гибким полемическим клинком. Он был прирожденным бойцом и ярко ощущал радость меткого удара.

Защищая ту мысль, что в народнических группах рабочая партия имеет более надежного союзника, чем в либерализме, Зельцер такими словами закончил свою речь: «Тов. Плеханов заявил, правда, сегодня, что он не предпочитает политических блондинок политическим брюнеткам, но, говоря это, тов. Плеханов забыл о том, что сам говорил и чему нас учил, правда, на другой стадии борьбы с большевизмом: «Плох тот социал-демократ, для которого все буржуазные партии окрашены в один цвет». Введение на поле брани этой цитаты было несомненно самым ярким аргументом во всей этой полемике.

Когда один из лидеров меньшевизма (Мартынов), развивая свои соображения о поддержке кадетского требования ответственного министерства, разъяснял, что при этом политические качества самих кадет не имели значения; что меньшевики поступали в сущности, как тот пугачевский казак, который говаривал: «мы и из грязи сделаем себя князя», — тогда Зельцер воскликнул: «Я позволю себе спросить, тов. Мартынов, зачем это понадобилось, — разве вы не могли найти другого, лучшего материала?» Протоколы отмечают здесь: «аплодисменты», а моя память прибавляет: и бурный смех.

Я привел эти справки не для того, разумеется, чтобы заставлять умершего бойца снова сражаться с живыми,—по вопросам, успевшим утратить свою остроту. Я хотел только напомнить, как он это делал. И перечитывая с этой целью его речи, я с новой яркостью почувствовал, как много мы в нем потеряли.

После лондонского съезда, подводившего итоги эпохе высшего революционного подъема, я встречался с Зельцером в две

другие эпохи: в 1910 г., во время самой глухой реакции и почти полного политического штиля, и во время бундовской конференции 1912 года, когда можно было уже не только теоретически предсказывать, но и эмпирически констатировать элементы нового оживления.

Зельцер политически окреп под ударами реакции. Молодое лицо его утратило свой юношеский отпечаток, он стал мужем. Мысль его отточилась еще острее, выросло его значение, а сообразно с этим и чувство ответственности. Но боевая непримиримость осталась та же, что и была: чистое золото, без лигатуры. Мы ожидали, что политический трибун получит вскоре доступ в Таврический дворец. Но судьба судила иначе. В то время как неукротимый дух его продолжал бросать вызовы всем силам тьмы и произвола, слабое тело его неожиданно пало, подкошенное ничтожным тифозным микробом.

«Борьба» № 1,
22 февраля 1914 г.

С. Л. КЛЯЧКО

4 апреля умер в Вене на 65-м году жизни, после продолжительной и тяжкой болезни (рак почки), Семен Львович Клячко, — одна из самых обаятельных фигур в галлерее русского освободительного движения.

Семен Львович родился в 1849 г. в Вильне, в еврейской семье. Юношей он был вовлечен в то первое широкое брожение интеллигенции, которое выдвинуло из себя организацию так называемых чайковцев [110]) (по имени Н. Чайковского). В головах молодежи того времени бродили смутные революционные идеи разного исторического происхождения. Мирно-просветительский социализм Лаврова [111]), анархическое бунтарство Бакунина [112]), революционные идеи Маркса и Лассаля, приспособленные к русским условиям путем простой подстановки мужика на место пролетария, — все это связывалось в своеобразное единство высоким нравственным подъемом, нетерпеливым стремлением — «служить народу». Молодой студент Клячко сложился в этой атмосфере конца 60-х и начала 70-х годов, и частицу ее он пронес в себе чрез все дальнейшие этапы жизни...

Об этой эпохе Семен Львович вспоминает в чрезвычайно интересном немецком реферате, который он читал 27 января 1905 г. в социалистическом образовательном обществе «Будущность»

в Вене; реферат этот вышел в с.-д. партийном издательстве отдельной брошюрой: «К истории развития революции в России», за подписью «Старый Революционер». «Запутанная диалектика Лаврова, — говорит Семен Львович, — была нам, надо сказать, не вполне понятна, но одна глава книги («Исторические письма»), где Лавров доказывает, что интеллигенция — за все те преимущества воспитания и образования, какими она в течение поколений могла пользоваться только вследствие экономического угнетения рабочих масс,—отныне обязана отдать себя на служение трудящимся массам,—эта глава была убедительна для всех нас».

Одним из ответвлений от основного ствола чайковцев была группа маликовцев[113]) (по имени Маликова), или «богочеловеков», которая общественной деятельности предпосылала нравственное самосовершенствование в духе мистического идеализма. Молодой Клячко, вместе с некоторыми другими чайковцами, принадлежал также и к маликовцам. «Они утверждали, — пишет об этой группе немецкий историк русского революционного движения А. Тун, — что добрые качества, любовь к ближним, готовность к самопожертвованию свойственны всем людям, что эта «божественная искра» присуща каждому, даже самому ничтожному человеку. Надо только посредством проповеди раздуть ее в пламя, и в человеке проснется «божественное чувство» равенства и братства».

В дальнейшем Семен Львович освободился от всяких видов мистицизма и теоретического идеализма, — он стал убежденным марксистом и судьбу человечества ставил в зависимость не от «божественной искры», а от объективных условий исторического развития. Но в нем самом всегда горело поистине божественное пламя нравственного оптимизма: Семен Львович не идеализировал людей, наоборот, отдавал себе ясный и тонкий отчет в их недостатках и слабостях; но в нем было всегда столько неутомимого благоволения к людям, — таким, как они есть, — что постоянное общение с ним заставляло каждого нравственно подтягиваться, так сказать приподниматься над своим обычным житейским уровнем. Все те многочисленные лица, — самых различных общественных положений, — которые откликнулись на смерть С. Л., все без исключения отметили эту основную черту его облика: мягкий, но покоряющий нравственный авторитет. — И об этом же говорил в проникновенных словах Виктор Адлер над раскрытой могилой...

Кружок маликовцев был разгромлен. Но нравственно-мистический характер их пропаганды, продолжавшейся и в тюрьме, и на допросах, оказал им неожиданное содействие: они все получили возможность беспрепятственно выселиться в Америку, и там молодой Клячко в течение двух лет (1873—1874 г.г.) входит в коммунистическую земледельческую колонию, выполняя тяжелые сельско-хозяйственные работы. Коммуна распалась, Семен Львович переплыл обратно океан и в течение четырех десятилетий жил в Западной Европе, главным образом, в Вене, русским изгнанником. Сорок два года изгнания, в течение которых Семен Львович не раз переезжал из страны в страну, сделали его в буквальном смысле слова «гражданином цивилизованного мира». В с.-д. организациях Австрии, на улицах Лондона, на политических собраниях Парижа, в старых городах Италии, Семен Львович везде чувствовал себя дома. Он превосходно владел всеми европейскими языками, интересовался всеми сторонами жизни и умел наблюдать ее — и спокойно-внимательными глазами художника, и критическими глазами социалиста. Развитие техники, точных наук, искусства, литературы, но прежде всего: общественных отношений и международного социализма — все это входило в сферу его неутомимого внимания.

Семен Львович не был профессиональным политиком, еще менее того — человеком трибуны. В предисловии к упомянутой выше анонимной своей брошюре он скромно говорит о себе, как о «литературном и ораторском профане». А между тем, помимо ясного и проницательного ума, разносторонней и серьезной образованности, он в высшей мере владел тем врожденным тактом, который безошибочно подсказывал ему, что нужно и чего не нужно — в личных отношениях, как и в политике...

Лев Толстой писал о своем богато одаренном брате Сергее, что тому нехватало только некоторых мелких недостатков, чтобы стать большим художником. Это с полным правом можно сказать о Семене Львовиче: у него были все данные для политического деятеля большого стиля, кроме некоторых необходимых для этого недостатков.

Уважаемый член австрийской социал-демократии, пользовавшийся большим влиянием на молодое поколение австрийских марксистов, Семен Львович поддерживал теснейшие связи с освободительным движением в России. У него было много старых друзей среди тех политических деятелей, которые примкнули

к партии социалистов-революционеров. Относясь отрицательно к их програме (см. упомянутую брошюру), С. Л. никогда не отказывал им, однако, в практической поддержке. Но главные усилия его были направлены на поддержку российской социал-демократии. Где бы ни находились прежние идейные марксистские центры: в Женеве, Лондоне или Париже — многочисленные и сложные нити проходили через Вену, и в том узле, где эти нити пересекались, стоял Семен Львович... Он с одинаковой готовностью поддерживал все фракции, и за гостеприимным вечерним столом, в кругу его семейства, перебывали в течение ряда лет представители всех течений и оттенков русского социализма.

Спи с миром! Ты оставил нам нетленное наследство: память о прекрасной личности — без страха и упрека, — которая жила и боролась в наших рядах.

Борьба» № 4,
28 апреля 1914 г.

ПАМЯТИ Д. М. ГЕРЦЕНШТЕЙНА

«Скончался доктор Д. М. Герценштейн, редактировавший в 1905 году газету «Начало» и отсидевший за это год в крепости».

Так сообщают легальные газеты. На самом деле Давид Маркович «Начала» не редактировал, а только дал ему свое имя в качестве ответственного редактора. Это был благородный демократ с искренними социалистическими симпатиями. Он, не задумываясь, дал свое имя непримиримо-революционному изданию. На суде ему приходилось давать объяснения уже в тот период, когда революция была отбита и когда многие даже из тех, что, скрепя сердце, примыкали к «Началу», предались усердному либеральному покаянию; Давид Маркович говорил на суде о редакции «Начала» в тоне глубокой симпатии и политического уважения. Он с достоинством принял из рук контр-революции год тюрьмы и, насколько можно судить, без сожаления принес год жизни, как свой дар делу революционного социализма, с которым он не отождествлялся, но постоять за который считал делом своей личной чести.

Мир его праху!

«Наше Слово» № 172,
27 июля 1916 г.

5. ПИРОГОВ — ГЕРЦЕН — СТРУВЕ

Н. И. ПИРОГОВ

Реакционные эпохи живут воспоминаниями. При ослабленной деятельности общественной воли всегда усиливается работа общественной памяти. В 80-х годах либеральная мысль разработала целый культ эпохи так называемых «великих реформ», и первосвященником этого культа был покойный Джаншиев [114]). Последняя, заканчивающаяся теперь, эпоха тоже была сплошь эпохой воспоминаний. Все партии и идейные течения оглядывались назад, восстановляли образы предшественников, искали исторических корней.

В числе других извлечен был из полузабвения и Н. И. Пирогов. Но таковы черты его общественного облика, что разные, далеко расходившиеся партии, нередко называют его своим. «Голос Москвы» [115]) не раз рисовал Пирогова октябристом, с ярко-национальным устремлением. Изгоев открывал в нем «выходца» *). Шингарев [116]) рекомендовал Пирогова в кадетские докладчики комиссии по смете министерства Кассо. А демократическая печать нередко ставит Пирогова в ряд с Белинским, Чернышевским и Добролюбовым [117]).

Кому же принадлежит действительный Пирогов?

* * *

Первое, что о нем надо сказать, это то, что он крепко умный русский человек. У него меткий взгляд, который насквозь бьет, как хорошая винтовка. В этом здоровом уме сметка, интуитивно-прикладная сторона разума, играет главную роль. Пирогов быстро

*) Мы имеем в виду прославившийся своим откровенным ренегатством сборник «Вехи».

ориентируется во внутренних обстоятельствах дела, отметает все мелкое и внешнее, выясняет для себя основные пружины, тут же делает свои практические выводы, засучивает рукава и приступает к работе. И научные его открытия, насколько могу судить, не имеют в себе ничего синтетического, лишены полета, рождены метким взглядом и крепкой сметкой...

В 66-м году Пирогов на профессорском обеде в Одессе поднял тост за здравый смысл, — чем, к слову сказать, лишний раз рассердил министра Д. Толстого [118]), имевшего основание принять это за злой намек.

Пирогов был неподкупным рыцарем здравого смысла в науке, как и в жизни, — ясного, как кристалл, прозрачного рассудка. При этом нравственная стойкость, упорство в труде, независимость суждений и личное достоинство, — шапки Пирогов ни перед кем не ломал даже в николаевскую эпоху! — верность раз принятой линии в течение десятилетий, — все это рисует его чертами, совершенно исключительными для той среды, в которую он вошел.

Как человек науки и умственной дисциплины и, прежде всего, как крепко умный человек, с ярким чувством действительности и постоянным устремлением в сторону европейского научного и технического прогресса, Пирогов совершенно свободен был от подмоченного квасом национального бахвальства. Сам войдя скромной, но неподдельной величиной в европейскую науку, Пирогов никогда не собирался закидывать Европу шапками или другими частями национального туалета. Прежде всего и паче всего предлагал он учиться у Европы, которая старше, богаче и умнее нас. «Слава богу, что у нас нет средневековых преданий, — говорит однажды Пирогов, но тут же метко прибавляет: — жаль только, что нет никаких». Самобытничанье на пустом месте противно его деловому и честному уму: «кроме западной, другой науки еще нет». С нетерпеливым презрением отзывается он «о каких-то особенностях славянской натуры, требующих будто бы и других способов народного просвещения». В своем дневнике, уж на склоне своей жизни, он снова говорит о своей «непреодолимой брезгливости к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму».

И когда разные национальные публицисты и профессора новейшей формации, ростом в локоть или полтора локтя, начинают брататься с Николаем Ивановичем, то тень Пирогова,

любившего терпкие выражения, неизменно отвечает им словами гоголевской комедии: «Пошли вон, дураки».

* * *

Пирогов — гуманист и хочет воспитать «человека». Но что это значит?

Противоречия абсолютных будто бы нравственных основ воспитания и условий практической жизни Пирогов не мог не видеть. В своих «Вопросах жизни» он к этому противоречию подходит с разных сторон. Он рассказывает, между прочим, как молодые люди, исходящие из отвлеченных нравственных начал христианства, взятых всерьез, приходят в полный разлад с существующим, начинают «дышать враждою против общества», «составлять секты, искать прозелитов», становятся «мрачными презрителями и недоступными собратами». В этих тяжеловесных, стародумовских словах намечена, в частности, линия духовного развития Добролюбова, который исходил от нравственных начал христианства, а пришел к социальному радикализму. С другой стороны, христианский утопист, Лев Толстой, раз усмотрев непримиримое противоречие между «нравственным сознанием мыслящих людей» и всем строем жизни, пришел к выводу: «Carthago delenda est» («Карфаген должен быть разрушен»). «Жизнь, та форма жизни, которой живем теперь мы, христианские народы, delenda est, должна быть разрушена... И она будет разрушена, и очень скоро». («Речь», № 305.) Вот эта решимость на последние социальные выводы из нравственных посылок Пирогову была совершенно чужда.

Изменить направление общества, приблизить его к «нравственным началам»? Нет, это «есть дело Промысла и времени».

Подогнать нравственно-религиозные основы воспитания под нынешнее «меркантильное» направление общества, т.-е. начать делать сознательно то, что делается бессознательно или полусознательно? Пирогов и на это, разумеется, не согласен: это путь фарисеев и иезуитов.

Где же выход из противоречия? Пирогов обращает свой ответ во-внутрь: сделать нас людьми, воспитать волю, образовать внутреннего человека. Противопоставляя николаевской муштре идеал гуманитарного воспитания, отметая иезуитски-фарисейское или солдатски-жандармское пригибание нравственных начал к «меркантильным» потребностям, Пирогов делал

большой шаг вперед, — хотя, разумеется, после Руссо, Песталоцци, Гердера [119]), его гуманистическая точка зрения не была новым словом. Но на этом первом шаге Пирогов и останавливается.

Те, которые воспитали в себе внутреннего человека и не хотели мириться с насильничеством над телом и над духом, своим и чужим, те все — начиная с Радищева и через декабристов [120]), Белинского, Чернышевского до нашего времени, — становились «мрачными презрителями» существующих условий, «замыкались в секты», «искали прозелитов», словом — стремились к изменению «направления общества», не полагаясь на промысл и время. С этой преемственной духовной расой Пирогов не состоит в родстве.

Противоречия между обществом, как оно есть, и личностью как она должна быть, Пирогов не только не разрешает, но даже и не сознает в его глубине. Он хочет только осторожно раздвинуть педагогические рамки воспитания, — нимало не задевая при этом рамок социальных и государственных. Его идеал человека — чисто педагогический идеал, лишенный социального содержания. На Карфаген Пирогов ни с какой стороны не посягал. Не потому не посягал, что боялся николаевских жандармов или жандармов эпохи «великих реформ», — Пирогов был человек мужественный! — а потому, что в нем самом крепко сидел внутренний чин порядка.

* * *

Что Пирогов не был демократом, это ясно каждому, кто знает, что такое Пирогов, кто читал Пирогова. Не только в том смысле не был, что не развернул демократической программы, — такой критерий был бы по тому времени слишком формальным: и Добролюбов не развернул демократической программы! — нет, по всей психологии своей, по складу своих бытовых и общественных восприятий, по своим социальным инстинктам Пирогов не был демократом. К утопически-радикальному движению, начинавшемуся в 60-е годы, он относился как к «нелепой политической пропаганде», с двойным презрением эмпирика-специалиста и просвещенного попечителя, который стремится к «благому воздействию учебного ведомства на праздное народонаселение»... Но Пирогов не был и «общественником», в смысле противопоставления общества государству. Человеком земщины, делегатом

общественного мнения перед опричиной он себя никогда не сознавал. Наоборот, к обществу он на всем своем жизненном пути подходил через ворота государственности. Мимоходом Пирогов упоминает, что выступил «на поприще гражданственности путем науки», — но этим поприщем были: организация санитарной службы, педагогические статьи в органе морского министерства, попечительство в двух учебных округах, мировое посредничество, надзор над воспитанием русских профессоров за-границей, — все гражданственность по назначению. И это не было ни историческим недоразумением, ни случайностью.

Русский демократизм был народничеством, — т.-е. мессианистическим мужикофильством, да и не мог во второй половине прошлого столетия ничем иным быть. Построить государство на крестьянской общине для Пирогова значило отказаться от материального прогресса, и он с презрением отбрасывает «нелепое представление о каком-то мужицком царе, пущенное в ход нашими славянофильскими фантазерами». Чего у нас, по Пирогову, недоставало после освобождения крестьян, так это третьего сословия, «европейского культурного tiers état», отсюда и все наши общественные напасти. На месте среднего сословия у нас что-то такое неопределенное, так, «трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное; есть особи среднего сословия, но самого сословия нема». Разночинная интеллигенция, не имея за собою третьего сословия, прилеплялась к крестьянству, становилась народнической, словом, ударялась в «ярко-красные бредни», боготворила Герцена и Бакунина *) за неимением к почитанию ничего лучшего и выдвигала из себя «гнусную и нравственно ненавистную честному обществу крамолу».

Если оставить в стороне мало привлекательную охранительную фразеологию, то по существу дела Пирогов окажется прав. Более того: его общественный анализ как нельзя лучше объясняет политическую судьбу самого Пирогова. Отрезанный своими глубокими симпатиями к европейскому буржуазному прогрессу от народнической интеллигенции с ее готовностью раствориться в сермяжной правде, и не имея опоры в просвещенном третьем сословии, — ибо у нас трень-брень, а не tiers

*) О Герцене см. следующую статью, о Бакунине — примечание 112. *Ред.*

état, — Пирогов естественно должен был все строить на просвещенном усмотрении власти. Его политическое мышление было насквозь проникнуто духом просвещенного абсолютизма. Только что вот сам абсолютизм был непросвещенный...

То, что было тогда либеральным общественным мнением, прочило Пирогова в министры просвещения. И сам он сознавал себя тремя головами выше всех тех дюжинных бюрократов, которые распоряжались русским просвещением. Но пришел «неудобозабываемый» Д. Толстой, вытолкнул знаменитого хирурга и педагога из рядов бюрократии, да еще и обокрал его пенсию. Пирогов рассердился и поступил, по его собственным словам, как тот итальянский монах, который, уходя из протестантской Германии, очень натурально обнаружил на пригорке свое к ней презрение, приговаривая при этом: «aspice denudatas, barbara terra, nates». («Гляди, варварская земля, на обнаженный зад».) Но этот выразительный жест Пирогова относился всего только к гр. Д. Толстому. Распространительного толкования, на всю barbara terra бюрократии, Пирогов своему жесту не давал. И рычагом возможных реформ и улучшений для него оставалась власть.

* * *

Пробуждающаяся впервые общественная мысль — и не только у нас — чрезвычайно жадно хватается за свободолюбивые уклонения в господствующем классе, вдохновляясь и ободряясь ими, как официальным признанием своих прав на существование.

Русский либерализм, чрезвычайно бедный традициями и еще более бедный верою в свои силы, питал всегда жадность к культу героев бюрократического либерализма: Лорис-Меликова, Святополк-Мирского, Витте или Кони [121]).

По этой линии шло у нас всегда — и даже до сего дня — отмежевание демократии от либерализма. Если либерализм искал каждый раз новой точки опоры в сферах, то демократия слагалась и крепла недоверием к ним. Либерализм простовато верил — и эту веру считал реалистической, — что весь отечественный прогресс встанет на надежные рельсы, как только Пирогов и Кони займут министерские посты. А демократическая мысль испытывала уже свои молочные зубы на критике этих суеверий. Добролюбов, очень сочувственно встретивший пироговскую статью

о воспитании — за «светлость взгляда и благородное направление мыслей», — с очень здоровой демократической недоверчивостью следил за реформаторской работой Пирогова, обличал его оппортунизм и не оставлял никакого сомнения насчет того, что с этой стороны он не ждет спасения. В числе многих других смиренномудрых пискарей, молодой М. Драгоманов [122]), тогда еще студент, возмущается «журнальным крикуном», который вздумал «посягать на такую личность». Добролюбова это нимало не смутило.

Выступая против либерального культа лиц, он требует «не предавать своей задушевной мысли, своего внутреннего убеждения» ради личности, как бы высоки ни были ее заслуги. С чрезвычайной мягкостью по отношению лично к Пирогову, в это время уже опальному, Добролюбов тем решительнее выдвигает радикализм своих суждений по существу. Он намечает весь дальнейший путь развития политической мысли, когда говорит: «Дело могло бы пойти успешно только тогда, когда бы — Пирогов ли или кто другой — направил все свои усилия на решительное и коренное изменение того положения, которое оказалось препятствием для г. Пирогова на пути более широких реформ».

В принципе и Пирогов очень ценит общественное мнение. «Но где его взять?» — спрашивает он. А поскольку оно есть или только формулируется, как угадать это нестройное и неоформленное мнение, — «глядя на него сверху»? Вот где ярко виден политический водораздел.

Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов никак не больше преклонялись перед наличным русским общественным мнением, чем Пирогов. Но они не могли относиться к этому мнению, как к посторонней для них силе; они не могли на него «сверху глядеть», — они могли нападать на него, ненавидеть его, изнемогать от его тупости и неподвижности, но у них не было этого учено-административного «свысока», — они знали один путь: кровью сердец своих питать общественное мнение демократии. Отсюда неизбежность и глубокая значительность конфликта между Добролюбовым и Пироговым.

Защищаясь в своем предсмертном дневнике от добролюбовских обличений, Пирогов напоминает, что его регламент наказаний, кстати не переживший его годового киевского попечительства, уменьшил применение розог на 90%. Это ли не успех? Конечно, успех. Но все-таки как хорошо, что Добролюбов поднял гневный протест против хотя бы и десятипроцентного „только

раствора розги. И если поставить вопрос так: что важнее для развития русского общественного самосознания: скидка ли целых 90% на телесных наказаниях в киевском округе, или же неподкупный гнев Добролюбова против остальных 10%,—то для нас он без колебаний решится в пользу добролюбовского гнева.

И у самого Пирогова совесть была, повидимому, не вполне спокойна; во всяком случае рана, нанесенная ему Добролюбовым, никогда не переставала ныть. Через два десятилетия после смерти юноши-публициста Пирогов не находил ничего другого сказать о нем, как то, что он «боялся, верно, инстинктивно, розог»; а в автобиографическом письме Бертенсону [123]) Пирогов напоминает, что его регламент наказаний был «осмеян нуждающимися в вспомоществовании литераторами».

В этой мнимо-презрительной оценке бывшим профессором, попечителем округа и просвещенным помещиком Пироговым — умершего 25-ти лет от роду Добролюбова, как «нуждающегося в вспомоществовании литератора», раскрывается вся пропасть между ограниченно-бюрократическим либерализмом одного и несгибаемым радикализмом другого.

* * *

Пирогов не раз с насмешкой и возмущением жалуется на охранительных доносчиков, газетных и придворных, которые изображали его то Прудоном, то Маратом [124]). Поистине, без достаточных оснований!

Об отвращении Пирогова к радикализму мы знаем. Но это только отрицательная характеристика его воззрений. Если же представить их в положительном программном виде, то получим ярко выраженный консерватизм государственника, лишь смягченный общими гуманитарными идеями.

В области внешней политики Пирогов, правда, лишь мимоходом, в докладной записке насчет Ришельевского лицея, говорит о самодержавии, православии и славянской народности, как нашем основном капитале в борьбе за влияние на восточных славян — против обольщений «католицизма и грубого вольнодумства».

В качестве мирового посредника, он отстаивает точку зрения просвещенного и добросовестного помещика, который стремится, с одной стороны, удержать землю за собою, а с другой — уста-

новить «нормальные» отношения с крестьянами. К мужицким «предрассудкам» насчет того, что земля божья, царская или народная, он беспощаден. Может быть, народ и считает землю общею, говорит Пирогов, но «государственное начало, выработанное историей народа, так мощно, что не нуждается сообразоваться в законодательстве с народным воззрением».

То же самое и в политике. Пирогов до конца дней своих боялся конституции чисто-бюрократическим страхом: «как бы из нее не вышло катавасии». И в последних записях своего дневника, в 1881 г., значит, после всего движения 60-х и 70-х годов, завершившегося событием 1 марта *), Пирогов формулировал свою политическую программу так: при сохранении самодержавия, как «жизненно-необходимого» начала — «введение выборного земского представительства в государственный совет». А на предмет победоносной борьбы с крамолой он тут же рекомендует добиваться выдачи политических эмигрантов и учредить должность выборных участковых попечителей, под надзором коих должны будут происходить обыски и выемки...

Как все это мало напоминает Марата и Прудона!

И тем не менее, он все-таки был им опасен, этот консерва тивный государственник Пирогов. Будучи в основном с ними, не сходя с твердой государственной почвы на зыбкую общественно-оппозиционную, он хотел, однако, гуманизировать историческую государственность, внести в ее «рутину и бессмыслие» элементы рациональности и целесообразности. Разумеется, на основы «рутины и бессмыслия» социальных отношений Пирогов не посягал. В своих знаменитых «Вопросах жизни» он говорит на первых же страницах: «К счастью еще, что наше общество успело так организоваться, что оно, для большей массы людей, само, без их сознания, задает и решает вопросы жизни и дает этой массе, пользуясь силою ее инерции, известное направление, которое оно считает лучшим для своего благосостояния».

К счастью! — и по отношению к этой большей массе людей противопоставлять принцип рациональности рутине и бессознательности Пирогов никак уж не собирался, да такая задача и действительно была бы глубоко революционной. Пирогов хотел лишь облагородить отношения на общественных верхах, открыть туда доступ европейской мысли, расстегнуть слегка на челове-

*) 1 марта 1881 г. — в этот день был убит Александр II. *Ред.*

ческой личности тугой воротник бюрократизма, внести в обиход другие моральные ценности, кроме ценностей 20-го числа, — но и в этой ограниченной задаче он уже не был с ними, наоборот, против собственной воли оказывался их врагом. И не по недоразумению. Своим изощренным инстинктом господства они безошибочно чувствовали, что рациональность несовместима со всей их постройкой, и становились на дыбы при малейшем прикосновении критики к слепым и глухим традициям.

Пирогов был субъективно прав, когда, обращаясь наверх, без лицемерия и искательства, уверенно и с достоинством говорил: вы ошибаетесь, когда подозреваете во мне врага; я — ваш, я — с вами, только линию свою я веду не от Аракчеева, а от Петра или от Сперанского.

Но и они были правы, когда не слушали его. И вовсе не потому только, что его похвалили в «Колоколе»[125]) или пригласили лечить Гарибальди [126]), а потому, что весь Пирогов, как он был, при всем своем социальном и политическом консерватизме, был совершенно инородным телом в составе бюрократии: самостоятельная личность с прочным позвоночником, критически-деловой взгляд, гуманитарные воспитательные цели, словом, очевиднейший враг-фармазон. Вместить его бюрократия никак не могла. И то, что он оказался низвергнут ею в полуопальную отставку, является хоть и внешним, но очень ярким признанием его нравственной значительности.

Несмотря на крайнюю умеренность своей общественной программы, — ведь если брать чисто формально, вне исторической перспективы, то программа Пирогова окажется много правее октябризма, — Пирогов жил и умер политическим утопистом, несравненно более беспочвенным, чем его антагонист Добролюбов. Вернее сказать, утопизм его и заключался в крайней его умеренности, которая делала его гуманитарную программу политически беспредметной. Если к числу реалистических политиков не может быть отнесен тот, кто, осердясь на блох, валит шубу в печь, то не меньшим фантастом будет и тот, кто хочет вымыть шубу, не замочив шерсти. А Пирогов этим именно и был озабочен.

Ярче всего утопизм Пирогова сказался в центральной области его общественной деятельности: в университетском вопросе.

Пирогов неутомимо отстаивал свободу науки и автономию университета. Он твердо стоял на том, что успешное или продол-

жительное преподавание анатомии не должно непременно находить свое высшее признание в чине действительного статского советника, и он не уставал убеждать, что «университет, поставленный вне табели о рангах, не потеряет своего достоинства». Но на самую табель о рангах, на цитадель государственности, он не посягал, — наоборот, он приспособлял к ней свои реформаторские идеи и ею эти идеи проверял.

Отстаивая автономию университетов, он с убеждением, которое не всем должно было казаться искренним, спрашивал: «Чем это будет противно или вредно нашему государственному устройству?» Интересы научного исследования и интересы государства совпадают, уверяет он, «при всяком образе правления». Более того. Свободу исследования и свободу преподавания он защищает не только со стороны интересов науки, но и с точки зрения существующего строя. У него выходит так, что тем именно и хороша автономия, что она лучше всего противодействует «распространению опасных и вредных общественных псевдодоктрин»,— причем по отношению к Германии такой вредной псевдо-доктриной является для того времени (начало 60-х годов) идея немецкого единства, а для России — идея политической и социальной эмансипации. Эти охранительные соображения проходят, в самых различных вариациях, через все писания Пирогова, посвященные университетскому вопросу, особенно писания официозного характера. А в сущности почти все, что писал Пирогов, нимало себе при этом не изменяя, носило, по меньшей мере, полу-официозный характер.

Правда, пироговская защита университетской автономии была издана в 1863 г. «по распоряжению министерства народного просвещения». Министерский комментарий к «автономному» университетскому уставу 1863 г. особенно рекомендует работу Пирогова, как отличающуюся «наибольшей глубиной и гуманностью взгляда». Полный успех государственного оппортунизма, казалось бы, налицо. Но увы! уже в той же министерской рекомендации вежливо отмечалась «некоторая идеальность» взглядов Пирогова, причем идеальность здесь не могла означать ничего иного, кроме маниловщины, или, в более мягком истолковании: несвоевременности и неприменимости. А отсюда уж вовсе не так далеко оставалось до того, — нужен был только другой тон, который делает другую музыку, — чтобы взгляды самого Пирогова отнести к числу «опасных и вредных общественных псевдо-

доктрин», которые от университета нужно держать подале. И это было вскоре сделано...

В конце концов и сам Пирогов, бывший профессор и попечитель округа, не мог так-таки безоговорочно верить в ненарушимую гармонию свободной науки и отечественного режима. И он действительно вносит в эту предустановленную будто бы гармонию коррективы, — но не к режиму, а к свободе науки. Он находит для этой цели поддержку у либерально-консервативного швейцарско-немецкого правоведа Блунчли. «Если учение выродилось в явную (для кого?) вражду против основ (каких?) общественного порядка и права... тогда наступает право государства... прямо препятствовать злоупотреблению свободой науки». Наука и исследование свободны, поясняет Пирогов. Но свобода науки кончается там, где обнаруживается цель — «представить существующий порядок в искаженном (!) виде и не имеющим никакой разумной причины бытия».

Незачем здесь подробно вскрывать чисто-полицейскую условность и бессодержательность этих определений и ограничений. Что считать неприкосновенными для науки «основами» общественного порядка? Принадлежат ли к ним воровство и проституция, — наиболее устойчивые из всех основ? Ибо считавшееся не столь давно основой крепостное право отменено, а воровство, существовавшее уже в том обществе, кодификатором которого был библейский Моисей, сохранилось до настоящего дня и даже в интендантстве. Что означает *явная* вражда к основам? *Для кого* явная? Разве, например, г. Коковцеву не кажется, что все сговорились «представлять существующий порядок в искаженном виде»? И разве критика нашей нынешней постановки просвещения не может быть подведена под стремление изобразить эту постановку «не имеющей никакой разумной причины бытия»? Не будет ли в таком случае правильнее сказать: правительство имеет право наложить свою руку на научную мысль каждый раз, когда замечает, что ее выводы противоречат интересам правящей группы. А это значит — прощай нас возвышающий обман насчет совместимости науки со «всяким образом правления»!

Ставя свои пределы научной свободе, Блунчли имел в виду буржуазно-парламентарное государство, которое достаточно гибко и эластично и слишком заинтересовано в практических применениях науки, чтобы грубо стеснять ее развитие. А Пирогов созна-

тельно отвлекается от разницы государственного строя и переносит формальные ограничения свободы исследования, подозрительно-эластичные сами по себе, на русскую почву, а миссию стоять у шлагбаумов научной свободы препоручает гр. Д. Толстому и его преемникам, которые, по известной характеристике, отличались только тем, что каждый был хуже своего предшественника.

Вся дальнейшая судьба русских университетов — эпоха Толстого, эпоха Делянова, боголеповская эпоха[127]), когда студентов сдавали в солдаты за то, что они выполняли свою роль общественного «барометра», эпоха сердечного попечения, когда старый генерал выступал, как карикатура нравственно-гуманитарных методов Пирогова в мало гуманитарной обстановке, — вся эта история, всеми своими этапами, одинаково ярко свидетельствует о «некоторой идеальности» пироговского государственного оппортунизма. Нет надобности доказывать, что этот оппортунизм оказался разбит на-голову: с одной стороны, графом Толстым, которого Пирогов так справедливо презирал, а с другой, теми разночинцами, к политическому радикализму которых он относился с такой ограниченной враждебностью.

Не идея автономии была беспочвенна, и не эта идея отделила Пирогова от слагавшейся демократии, а его «нейтрализм» по отношению к «образу правления». «Чем это будет противно или вредно нашему государственному устройству?» убеждал и заверял Пирогов. Carthago delenda est! — отвечали его демократические антагонисты.

* * *

Как с государством, так и с церковью.

«Ни одна господствующая вера, — писал Пирогов, — не оскудеет от того, если наука выяснит... все нападки на нее безверия и скептицизма». А как быть, если наука, повинуясь внутренней логике, сама станет орудием безверия и скептицизма? Что должно посторониться? На этот вопрос Пирогов отвечал уклончивыми и во всяком случае ни для кого не обязательными соображениями, вроде того, что «истинный прогресс поселяет сомнения не в делах веры... а в деле самого научного расследования» и пр.

Сам Пирогов был человек науки, строгий и точный исследователь, — следовательно уже априорно не мог принадлежать к лагерю слепой веры. Но он и не сжигал никогда за собой мостов

отступления. Он сам говорил о себе: «К чести моего ума, я должен упомянуть, что он, блуждая, никогда не грязнул в полнейшем отрицании недоступного для него и святого».

В научно-философской области Пирогов остается тем же оппортунистом, что и в общественно-политической.

Он произвел 11.000 вскрытий человеческих трупов, а сколько операций, а сколько вивисекций на живых животных! Он много работал над хирургической анатомией фасций и артерий. Он ввел вскрытие замороженных трупов, чтобы определить естественное расположение внутренних органов. Но, пробивая острым долотом замороженный человеческий живот, он старался не задеть попутно стальным инструментом веру в бессмертие души. Всегда ли это ему удавалось? Несомненно, нет. И ему злой дух скептицизма нашептывал не раз на ухо вольтеровский вопрос: «Находили ли вы когда-нибудь, доктор, при ваших исследованиях бессмертную душу?». Но если не всегда сохранял он веру, то всегда *желал* сохранить ее, как однажды поправляет он сам себя в своем дневнике. Нет, Carthago delenda est — это не его жизненное правило в теоретической сфере, как и в практической. Он ищет всегда прислониться спиною к существующему, прочно отложившемуся.

В разнообразии и «целесообразном» строении растительных и животных видов Пирогов, вместе со столькими другими, усматривал одно из наиболее разительных доказательств таинственного для нас замысла, охватывающего судьбы всех видов, от вибрации амебы и ранее — до мыслительного процесса в черепе Аристотеля. К Дарвину Пирогов отнесся поэтому с предвзятою недоверчивостью. Однако же противостоять великому биологу, у которого сила обобщения покоилась не на смелой интуиции дилетанта, а целиком вырастала из гениального эмпирического миропроникновения, Пирогов не мог. Он не сказал окончательно ни *да*, ни *нет*, а отошел в сторону, на позиции нейтралитета. Но и допуская условно правоту Дарвина, Пирогов только отодвигал момент вмешательства творческого замысла, но не ликвидировал его. Он способен был еще «весьма хладнокровно» — его слова: — принять свое происхождение от обезьяны, «нисколько не скандализируясь» такой генеалогией, но он не мог перенести «без отвращения — ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании». Если отбросить прочь замысел, как отслужившую свою

службу гипотезу, то чем мы окажемся: беспаспортными продуктами естественного и полового отбора? Или, по выражению самого Пирогова — «бастардами от случки случая с случайною же природою?»

За недосугом Пирогов долго откладывал урегулирование своих отношений к делам веры — впредь до более подходящего времени. Когда же оказался отстраненным от практического реформаторства, да и самое реформаторство пошло задним ходом, тут Пирогов, сидя у себя в имении и чувствуя себя глубоко враждебным и политическому «нигилизму» и тому разгрому, который «полуобразованными» разночинцами учинялся в сфере официальных идеологий, занялся на стариковском досуге окончательным определением своих отношений к вере и церкви. И он сумел ввести свою мысль в старую мистическую колею, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Противоречие между хирургом Пироговым, который из лбов выкраивал носы, по образу и подобию настоящего человеческого носа, и между богословствующим автором дневника, — только мнимое.

По складу ума Пирогов был чистый *эмпирик*. Он признавал право только за непосредственными, прямыми и ближайшими выводами из фактов. И именно потому, что он был крайний, можно бы сказать, вульгарный эмпирик, который не переносит реалистических методов мышления в более отдаленные от материи регионы познания, он легко мог, при столкновении с этими регионами, перескочить в область мистики. Ограниченный эмпиризм в науке и практике есть вообще наиболее верное средство удерживать в равновесии унаследованные предрассудки с практическими завоеваниями научного опыта. Это наблюдалось и наблюдается много раз. Умы, лишенные синтетического размаха, легко капитулируют перед сверхчувственными учениями, как только отходят от фактов на расстояние, необходимое для получения общей картины. До поры до времени они могут вовсе отказываться от завершения своего миропонимания. Но когда ходом жизни они бывают выбиты из чисто-эмпирической колеи и вынуждены давать себе ответы на основные «вопросы жизни», они сплошь да рядом говорят себе: широкие научно-философские обобщения в сущности так же недостоверны, как и мистические; поэтому, если уж выбирать, то лучше те, за которыми гарантии давности и заманчивые возможности в перспективе. Прослужив слишком

пятьдесят лет чисто-эмпирическому направлению, Пирогов, по его собственным словам, пожелал заглянуть «за кулисы эмпирической сцены», — и тут же покорно принял все, что ему было предложено: «моя иллюзия, по крайней мере, утешительна», — откровенно признается он.

В построении утешительной иллюзии он пробует итти методически. В вещество он влагает мировой ум, а в этом материализованном мировом уме открывает отражение верховного разума творца. Если прав Дарвин, то что ж, приходится просто заключить, что «верховный разум творца заблагорассудил произвести человеческий род от обезьяны». Но одно существование верховного разума — голый деизм — не удовлетворяет Пирогова. Ему необходим, заявляет он, идеал более близкий, более человеческий, — он принимает идеал богочеловека. «И я, исповедуя себя весьма часто, не могу не верить себе, что искренно верую в учение Христа спасителя»

Из лойяльности Пирогов причисляет себя в своем дневнике— не без колебаний, правда,— к государственной церкви. Но его суховатая, рационализмом подбитая, бедная фантазией и красками, мистика скорей уже может быть подведена под протестантство, но во всяком случае одинаково далека и от ученого синодского православия и от православия народного.

Консервативный государственник, Пирогов доходит до утверждения, что гражданин, родившийся в государственной церкви, обязан оставаться в ней, независимо от своих действительных убеждений, — как гражданин. «Его внутренние убеждения, его сомнения, его мировоззрение, не соответствующие догматам исповедания, данного ему при рождении, тут не при чем».

Но он требует взамен и от церкви терпимости, по крайней мере, в известных пределах: «какое дело церкви, как я представлю себе дьявола?». С нее вполне достаточно того, что я «не трогаю религии народной и государственной». И действительно, народной религии Пирогов не трогает. Он признает даже, что церковь «не может не поддерживать — народное верование в материальное существование чорта».

Материальная и духовная скудость русской культуры, особенно тогдашней, сыграла с гуманистом Пироговым жестокую шутку. История поставила перед ним резкую дилемму: либо признай «ярко-красные бредни» с их непримиримым отрицанием суеверий и всего на суевериях основанного, —либо же, наряду

с биологией, антропологией, анатомией, потрудись очистить местечко для официальной демонологии, среднего нет, ибо и в философской области у нас посредине — «трень-брень» и ничего больше.

Пирогов долго откладывал решение вопроса в его последних инстанциях, но, как честный с собою человек, решил, что по Сеньке, стало быть, и шапка, и — открыл дверь казенно-коштному чорту.

* * *

На 50-тилетнем юбилее Пирогова в Москве, в мае 1881 г., за несколько месяцев до смерти Пирогова, могло показаться, что все стороны объединились на этом лице, что все общественные линии пересеклись в этом узле. Его чествовали официальная наука, правительство, интеллигенция, студенчество, пресса, московская дума (избрала его своим почетным членом), император.

Но разные стороны чествовали в нем разное: одни хотели хоть слегка прикрыть им наготу свою, другие стремились связать его имя с теми выводами, каких он сам никогда не хотел делать. На чьей стороне было большее недоразумение? История русской общественности по-своему уже ответила на этот вопрос, когда имя Пирогова усвоила общественно-врачебной организации, с тенденциями либерально-демократическими, в значительной мере народническими. Несообразность? Нисколько: ибо какой же другой приют могло бы найти себе имя Пирогова?

«Киевская Мысль» №№ 337, 343,
6, 12 декабря 1913 г.

ГЕРЦЕН И ЗАПАД

(К столетию со дня рождения)

«... Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля прусского, а Паскевич, по-русски, взятками и посулами, надул Гергея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцом революции 1848 г. [128])».

Такими словами характеризует Герцен политическую картину Европы в 1849 г. Два года перед тем он ждал совсем иного, когда за его спиною спускался отечественный шлагбаум.

Революция 1848 года разбилась не о механическое сопротивление реакции, а о свои внутренние социальные противоречия. Ошибки и нелепости вождей были только отражением исторического тупика.

«Порядок» был восстановлен мало-по-малу во всей Европе, и шпионы контр-революции, проникнутые духом чистого полицейского космополитизма, съезжались на свои международные конгрессы для выработки норм круговой поруки.

Эмиграция приняла необычайные размеры. Выходцы были разбиты на национальные группы и политические секты. Поражение революции 48 г. было прежде всего поражением якобинских традиций 93 г. Революция передвигалась отныне на новые классы. Но вожди движения 48—49 годов терялись в новых условиях, ждали близкого прилива, надеялись все «начать сначала», повторяли старые слова. Ожесточенной полемикой друг с другом поддерживали свой падающий дух. Образовавшийся в Лондоне «Европейский центральный комитет», с Маццини и Ледрю-Ролленом во главе [129]), выпустил торжественный манифест, в котором прогресс и свобода братались с священной собственностью, братство подпиралось требованием мелкого кредита, народ провозглашался основою, а бог — увенчанием европейской демократии. Для этих почтенных людей вся мораль событий свелась к ошибкам отдельных вождей и к недостатку среди них согласия. Так как перед 48 г. они в течение ряда лет повторяли известные революционные формулы, то теперь они надеялись упорным повторением старых заклинаний вызвать повторение событий.

Маццини приглашал Герцена примкнуть к европейскому комитету и прислал ему для ознакомления манифест и другие документы. Герцен отказался.

«Что *нового*, — спрашивал он Маццини, — в прокламациях, что в Proscrit? Где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало новой свободы, это эпилог, а не пролог».

Герцен не только вошел, как равноправный, в среду европейской эмиграции, в круг ее «горних вершин»; стоя рядом с поляком Ворцелем [130]), с итальянцем Маццини, которых он любил и нравственно обожал, рядом с французами Ледрю-Ролленом и Луи-Бланом [131]), которых он очень ценил, Герцен чувствовал себя богаче мыслью, проницательнее, смелее, всестороннее их. Или, чтобы говорить его словами, *свободнее* их. «Та револю-

ционная эра, — пишет Герцен, — к которой стремились либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему, эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая жизнь?».

Но почему же они сами, вожди европейской демократии, не видят того, что дано было понять чужому, политическому новобранцу, москвичу, варвару? Да именно потому, что они — каждый из них — действительно представляют кусок своей национальной истории, за ними — классы, партии, организации, события, вчерашние или позавчерашние. Их взгляды и методы действий выработали в себе большую силу внутреннего сопротивления. А за Герценом, если не считать нескольких идейных друзей в двух столицах, нет ничего, кроме его таланта, проницательности, гибкости ума и... превосходного знания европейских языков. Он ничем не связан. В его взглядах нет того упорства, которое дается взаимодействием слова и дела. Над ним не тяготеют традиции. Он не знает над собою властного контроля единомышленников и последователей. Он «свободен». Он — *зритель*. «Равноправный» среди «горних вершин» демократии, он однако же никого в ней не представляет, ни от чьего имени не говорит, он citoyen du monde civilisé (гражданин цивилизованного мира), он отражает только историю этой самой европейской демократии — в «свободном» сознании талантливого, с проблесками гениальности, интеллигента из московских дворян.

Почему Джемс Фази [132]), победоносный женевский революционер, или Маццини, «бывшие социалистами прежде социализма», сделались потом его ожесточенными врагами? — не понимает и удивляется Герцен. Он много спорил с ними, но бесплодно. Почему? спрашивает он, «Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться?»... Он хотел бы, чтоб их сознание было так же свободно, как его, в выборе между либерализмом и социализмом или в сочетании обоих. Но для них это не бесплотные принципы, а политический вопрос — опоры на те или другие классы. Оттого они не просто дискутируют, а «горячатся» и даже борются на-жизнь и на-смерть.

Сталкиваясь с упорством чужих политических взглядов и предрассудков, Герцен приходит к выводу, что главное преимущество его — «незасоренность» психики: «мыслящий русский

человек самый свободный человек в мире», пишет он Мишле [133]).

«Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и, тем самым наиболее русский, тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России... Они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен»... Это уж не Герцен говорит, а Версилов у Достоевского, в «Подростке», но ведь так именно сознавал себя по отношению к Европе Герцен: всех понимает, в их силе и в их слабости, а сам — «свободен».

«Я ни во что не верю здесь, — пишет Герцен своим русским друзьям в 1849 г.,—кроме как в кучку людей, в небольшое число мыслей, да в невозможность остановить движение».

Но «кучка людей» топталась на месте и жила с капитала старых репутаций, «небольшое число мыслей», входивших в идейный обиход близкой Герцену «кучки людей», было полно противоречий и недоговоренностей, слишком очевидных для такого проницательного «наблюдателя со стороны», каким был Герцен. А «невозможность остановить движение» — слишком неопределенное и неустойчивое верование, если оно опирается лишь на кучку фанатически-неоглядывающихся или, наоборот, безнадежно растерянных людей, да на небольшое количество уже отработанных историей мыслей. И действительным ответом Герцена на опыт 48—49 годов явился общественный скептицизм. Крах старых надежд, ожиданий и верований означал для него неизбежность крушения всей цивилизации под натиском отчаявшихся масс.

> «Вам жаль цивилизации?
> Жаль ее и мне.
> Но ее не жаль массам.
> Смирение пред неотвратимыми судьбами!».

Даже Прудон, презрительно глядевший на крушение политической демократии и носившийся со своей худосочной утопией всеспасающего банка, отшатнулся от этих настроений Герцена. «Посоветуйте ему, — писал Прудон своим друзьям, — не делаться сообщником контр-революции, проповедуя какое-то смешное consumatum est (свершилось)».

Герцен безошибочно отгадывал то, что было скрыто от Ледрю и Маццини, от Руге [134]) и Блана: фатальное крушение старых програм, партий и сект. Но — наблюдатель со стороны, не свя-

занный с внутренними изменениями в европейской общественности — он не видел, что под этой лопавшейся и расползавшейся оболочкой совершался более глубокий процесс: политическое самоопределение масс, путем преодоления старой опеки. Крушение *старого* было для Герцена крушением *всего*. Не имея в Европе социальной опоры, чтобы от разбитых иллюзий итти вперед, Герцен оборачивается назад, на то, что оставил за собою, за отечественным шлагбаумом. «Начавши с крика радости при переезде через границу, — пишет он, — я окончил моим духовным возвращением на родину». Герцен становится *социальным руссофилом*.

В начале сороковых годов Герцен, как и Белинский, резко выступает против «славянобесия». Но этот западнический взлет мысли оказался для русской интеллигенции еще не по плечу.

Славянофильство, как идея исторического мессианизма, как пророчество особого призвания народа русского, еще надолго должно было — в том или другом виде — овладеть мыслью образованного русского авангарда: это нравственная компенсация за бедность и мерзость окружающего, за невозможность вмешаться в историю *сегодня* же, это единственный путь примирения со своими общественными судьбами; наконец, это временные идейные ходули, на которых интеллигенция выбиралась из стоячего болота отечественного быта и шла... в Европу. Народничество, т.-е. славянофильство минус славянофильская политика и славянофильская религия, было не чем иным, как первым, *негативным* — свет вместо теней и тени вместо света! — отражением превосходства и могущества европейской культуры во встревоженном сознании мыслящего русского человека. Чтобы перевести негатив на позитив, понадобились еще десятилетия тягчайшей учебы, взлетов и падений...

В своих открытых письмах к Гервегу, Маццини и Мишле, Герцен становится после краха 49 г. провозвестником русского мессианизма. Он объявляет крестьянскую общину залогом социальной справедливости в будущем и обещает Европе спасение — с Востока. Не только образованные русские — «самые свободные люди», но и народ русский оказывается самым свободным в выборе своих путей. В социальном вопросе, т.-е. в основном вопросе всей эпохи, мы «потому дальше Европы и свободнее ее, что так отстали от нее». Раз объявив отсталость и варварство за величайшее историческое преимущество славянства над миром

старой европейской культуры, Герцен доходит до самых крайних и рискованных выводов и в области международной политики.

«Время славянского мира настало, — пишет он в 49 г. — Настоящая столица соединенных славян — Константинополь... Во всяком случае, война эта (война России за Константинополь) — introduzione maestosa et marziale (торжественное вступление) мира славянского во всеобщую историю и с тем вместе una marcia funebre (похоронный марш) старого света.

Приветствуя трубными звуками захват Константинополя, как могущественное вступление славянства во всеобщую историю, Герцен верил, что это будет последним усилием старой России, — но для кого эта вера могла быть обязательной? Какие такие внутренние силы мог указать тогда в России Герцен, этот «свободный наблюдатель», всегда открыто и честно заявлявший, что он ни от чьего имени не говорит и никого не представляет, что он — сам по себе? В глазах демократов Запада завоевание Россией Константинополя могло означать только одно: усиление крепчайшего из оплотов реакции.

В лице своих молодых сил и их идеалов старая Европа ни на минуту не собиралась слагать оружие и ждать спасения со стороны «славной славянской федерации» и русской общины. Отсюда — непримиримая враждебность между Герценом и творцами научной системы социального развития.

* * *

Маркс с пренебрежением отзывался о Герцене, о «полурусском и вполне москвиче», который «открыл русский коммунизм не в России, а в сочинении прусского регирунгсрата Гакстгаузена» [135]). Не менее саркастически отзывался и Энгельс о «раздувшемся в революционера панславистском беллетристе», который собирается обновлять и возрождать гниющий Запад — даже при помощи русского оружия. В свою очередь Герцен тоже не слишком мягко характеризовал сторонников Маркса, как «шайку непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины, Маркса».

Вражду к себе со стороны «марксидов» Герцен объяснял мотивами не весьма высокого порядка: «меня приносили, — говорит он, — в жертву фатерланду из патриотизма».

На самом деле тут были причины, ничего общего с «патриотизмом» не имеющие. В «Былом и Думах» Герцен пытается объяснить

свой антагонизм с немецкой эмиграцией причинами бытовыми: грубостью и невоспитанностью немцев, и идейными: бесплотной абстрактностью немецкого радикализма. Но ни то, ни другое объяснение не может относиться к Марксу. «Германский ум — пишет Герцен — в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т.-е. недействительном значении, и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята»...

Эта характеристика как нельзя лучше охватывает тот самобытный мессианистический немецкий социализм, с которым Маркс и Энгельс свели теоретические счеты. Но в марксизме «германский» ум окончательно преодолел идеалистическую бестелесность абсолютных отрицаний и абсолютных утверждений, свел идеологические противоречия к борьбе материальных общественных сил и отнюдь не верил, что «вещь сделана, если она понята». Нет, причины идейного антагонизма были другие. В то время как Герцен усматривал даже в военном нашествии России на Европу благодетельную встряску для этого полутрупа, Маркс с ненавистью относился не только к официальному, но и к демократическому панславизму, видя в нем страшную угрозу для европейского развития.

В 1848—1849 годы значение России, как оплота европейской реакции, сказалось с небывалой силой. И так как в самой России ничто не шевелилось, то ненависть европейской демократии к официальной России слишком легко превращалась в недоверие ко всему русскому, во вражду к «нации рабов», которая через свое правительство поддерживает рабство во всем мире. А так как и австрийские славяне сыграли в событиях 48—49 годов усмирительную роль, то пропаганда панславизма в данных исторических условиях знаменовала не фантастическую свободную общинную федерацию, а сплочение славянской реакции вокруг Петербурга. Отсюда ненависть Маркса ко всем разновидностям панславизма, ненависть, которая временами ослепляла его и позволяла ему верить нелепой клевете, будто Герцен и Бакунин на нужды панславистской агитации получают деньги от петербургского правительства.

* * *

Народничество, от Герцена ведущее свою родословную, не было отвращением от Запада. Наоборот: можно сказать, что

народничество наше было не чем иным, как *нетерпеливым западничеством*. Страшил длинный путь от бескультурности и бедности нашей до тех целей, которые наметила мысль европейская. «Народу русскому, — так думал Герцен, — не нужно начинать снова этот тяжкий труд... Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, ссылкою, разорением»... («Старый мир и Россия».) Увы! в то время как «мы» думали *за* народ, кто-то другой действовал *за* народ. Только народ, научившийся думать сам за себя, способен отучить других действовать за него. Мы теперь слишком хорошо знаем, что если вещь понята, то это еще не значит, что вещь сделана.

Герцен говорит, что недостаточно признать науку, надо воспитать себя «в науку». Сам Герцен был одним из вдохновеннейших наших воспитателей «в Европу». Его коллизии с Европой, его анафемы Европе были только порождением его благородной и нетерпеливой ревности к Европе. Некоторые не по разуму усердные зовут «назад — к Герцену!». Мы этого не повторим за ними. Вперед — от Герцена! А это значит: воспитание народа — «в Европу».

«Киевская Мысль» № 87,
29 марта 1912 г.

ГОСПОДИН ПЕТР СТРУВЕ

(Попытка объяснения)

После того как Струве бросил свою «асемитическую» петарду, прошло уже довольно много времени. Сперва ахнули — больше, впрочем, из приличия. Затем лениво пожевали челюстями полемики и, наконец, проглотили. Обыватель, полумистическое существо, ради которого одни журналисты бросают свои петарды, а другие изумленно ахают, решил попросту принять к сведению, что Струве — «асемит»... что-то вроде антисемита, впрочем, в высшем идеологическом смысле, так сказать, самого лучшего качества. Но и после этого пассажа, Струве остается несколько, правда, неопределенной, однако же в высшей степени почтенной фигурой: марксист-интернационалист — либерал - идеалист — «государственный» консерватор — националист — славянофил — империалист — «асемит»... Титул немножко длинный. Но это объясняется тем, что его носитель никогда не знал открытого, прямого разрыва со старыми взглядами: он только непрерывно

и неутомимо накоплял новые. Известно, что длинные титулы вообще образуются путем исторического «накопления».

В субъективном сознании, если оно очень счастливо устроено, все может уживаться со всем. Не то в политической практике. Здесь Струве на протяжении ряда лет ведет с собой непрерывную и неутомимую борьбу: сегодня — со своим завтрашним, завтра — со своим вчерашним днем. Куда бы он ни направлял свою рапиру, направо или налево, он за бумажной занавесью полемической арены, как Гамлет — Полония, поражает... самого себя. И не только марксист сражается в нем с идеалистом, — это было бы только в порядке вещей, — но и либерал смертельно поражает в нем либерала.

В июне 1903 г., после грандиозной избирательной победы германской социал-демократии[136]), ссылаясь на судьбу «выродившегося» и «убившего себя» немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии», Струве делает решительный вывод по отношению к России: «русскому либерализму не поздно еще — заклинает он — занять правильную политическую позицию — не против социальной демократии, а рядом и в союзе с ней» («Освобождение» № 25). А после 17 октября 1905 г. он в главную вину кадетской партии поставил ее пагубное устремление налево, которое он сам рекомендовал, вместо спасительного равнения направо, от которого он предостерегал. С тех пор никто с такой настойчивостью, как Струве, не толкал нашей либеральной оппозиции на путь немецкого либерализма, который «предал и предает интересы свободы и демократии».

Мы не собираемся составлять каталог противоречий Струве: задача была бы слишком легкой, а каталог вышел бы слишком длинным. Но мы не можем не привести здесь еще одного примера, благо он бросает сноп света на инцидент последних недель.

По свежим следам кишиневского погрома, Струве сурово обличал сионизм, «воспитывающий идею еврейской национальности и даже государственности и тем недомысленно идущий навстречу «подлому антисемитизму» («Освобождение» № 22). Опираясь на тот факт, что еврейская культура растворяется в культуре других наций, он заявлял, что ему вообще «непонятна идея еврейской национальности» («Освобождение» № 28). Позже, в период реакции, он нашел эту национальность — методом от обратного. Где оказался бессилен культурно-исторический анализ, там

на выручку пришли стихийные «отталкивания». Износивши не бог весть сколько пар башмаков со времени кишиневского погрома, наш идеалист ныне идет навстречу «подлому антисемитизму», как естественному выражению своего собственного «национального лица».

По поводу этого последнего обогащения политической физиономии г-на Струве не только забавно, но и поучительно вспомнить один забытый эпизод.

В № 9886 «Нового Времени» (1903 г.) г. Виктор Буренин писал не более, не менее, как следующее: «Г-н Петр Струве, как показывает его фамилия, принадлежит к разряду инородцев, охотно позорящих Россию и ненавидящих ее». Инородчества своего Струве отрицать не стал, а, сославшись на «Энциклопедический словарь» Брокгауза, чистосердечно покаялся в своем происхождении от «гольштинских выходцев». Если принять в соображение, что Струве состоит теперь проповедником неопанславизма, т.-е. особой системы национально-племенных «притягиваний» и «отталкиваний» — отталкиваний прежде всего от германизма, то сами собою станут напрашиваться соблазнительные вопросы: в какой именно степени из-под действия законов расовых отталкиваний освобождаются гольштинские выходцы? или иначе: в каком именно поколении гольштинские выходцы превращаются в... «немцев по происхождению, но православных славян по духу», как язвительно писал тот же Струве по адресу Плеве («Освобождение» № 28).

Всю политико-писательскую биографию Струве можно бы расчленить на ряд таких эпизодов, под комической оболочкой которых скрывается (повидимому?) ряд личных трагедий. И каждой из этих идейных трагедий, казалось бы, достаточно, чтобы довести политика и писателя до морального банкротства и отчаяния. Но пред нами психологическое чудо: из всех своих идейных катастроф и политических крахов Петр Струве выходит точно из легкой кори — невредимым, жизнерадостным и даже пополневшим. Разгадка чуда, однако, проста — как разгадка всех чудес: как *личность*, Струве не знает банкротства, ибо, как личность, он не участвует в борьбе. Его политические убеждения никогда не сливаются с его духовной физиономией. Он пишет чернилами, а не кровью артерий. Он никогда не подставляет под удары противника своей собственной, личной, живой, человеческой груди. Он выполняет свои очередные идеологические

обязанности — и только. И своими «убийственными» противоречиями он убивает себя так же мало, как Гамлет Полония на подмостках театра: не живое тело свое прокалывает он, а только ту личину, которую пришлось надеть на себя по ходу исторической пьесы.

Главный талант Струве — или, если хотите, проклятие его природы в том, что он всегда действовал «по поручению». Идеи-властительницы никогда не знал; зато всегда стоял к услугам выдвигающихся классов — для идеологических поручений. Еще совсем юношей пишет он от имени земцев — хоть сам нимало не земец! — «открытое письмо» по весьма высокому адресу (1894 г.). Это, кажется, первый взятый им на себя политический мандат. Но вот в подполье 90-х годов завозились, заскребли марксисты. Молоды-зелены они, да и плохо еще свой марксизм проштудировали, но они стоят на очереди, — и Струве садится за стол, чтобы написать для них «манифест» (1898). В этом манифесте он говорит — не ужасайтесь: ведь не от себя! — о предопределенном ничтожестве русского либерализма. В 1901 г. он, от имени социал-демократии, обращается в «Искре» (№ 4) с призывом к земцам и, верный тону социал-демократической газеты, он пишет о «железной поступи рабочих батальонов». Но зашевелились либералы, и Струве, уже через год, ставит «Освобождение», где от имени умеренно-либеральных земцев рекомендует уже не «железную поступь», а ту политическую иноходь, в которой «дерзание» соединено с «мудростью» («Освобождение» № 62). Теперь вот Струве со своего обсервационного поста опытным глазом приметил, что Крестовников в Москве без национальной идеологии ходит и стеариновые свечи продуцирует без философских предпосылок. И Струве садится создавать для Крестовникова философию, в которой стеариновый барыш принимает облик национально-государственной идеи, а эта национально-стеариновая идея, в целях самообороны, вооружается защитным запахом антисемитизма. Eins, zwei... drei... Das ist keine Hexerei! (Раз-два-три... фокус сделан чисто!).

Когда некий простец справился у Струве: в какую графу его биографии отнести написанный им социал-демократический манифест? — Струве объяснил ему, что идей написанного им самим «манифеста» он никогда не разделял, а просто «по просьбе» формулировал господствующие предрассудки марксистской «церкви».

Отчего бы и нет? Простец так и пропечатал. И, может быть, года через два другой простец догадается сообщить нам, что Струве никогда сам не испытывал собственно расовых притягиваний и отталкиваний — скажем стихийного притягивания к черногорскому князю и непреодолимого отталкивания от И. Гессена: нет, он лишь «по поручению» формулировал господствующие предрассудки славянофилов и антисемитов в терминах всемирного тяготения...

* * *

Может быть, в моменты приступов высокомерия, Струве воображает себя не связанным ни с одним классом, ни с одной партией, ни с одной идеей, а непосредственно состоящим в распоряжении Матери-Истории генерал-инспектором по делам идеологии. Нет ничего высокомернее доктринера! А Струве был и остается доктринером до мозга костей.

Доктринером он называл себя сам в предисловии к своей первой книжке «Критические заметки», и хоть против доктринерства он вел с той поры не одну кампанию, однако же этой своей черте, вернее, *сущности* своей, не изменял никогда... Доктринер не тот, кто ставит себе большие цели и, обгоняя события, заглядывает вперед, — как хочет думать маленькая мудрость, которая своим назойливым фальцетом издевается над всем, чего не понимает. Доктринер — тот, кто боится или не умеет материю жизни брать в ее материальности: интересы, как интересы, страсти, как страсти, борьбу, как борьбу, пощечину, как пощечину, — кто всю нашу великолепную, хаотическую, беззастенчивую жизнь должен предварительно пропустить сквозь призму идеологии (права, морали, философии), прежде чем откроет в ней вкус. А в этом и состоит единственная подлинная «страсть» Струве, роднящая его с немецкими профессорами доброго старого времени: ночным колпаком и полами своего философского шлафрока законопачивать все дыры мироздания.

Эстет требует от жизни только «красивости»; он думает, что Варфоломеевская ночь происходила для того, чтобы впоследствии послужить материалом для бурной оперы. *Доктринер* видит в жизни лишь внешние схемы. Точь в точь, как дон-Гусман-Бридуазон, судья у Бомарше [137]), он готов повторять: «Форма, форма-с... святое дело». «Суть тяжбы принадлежит тяжущимся, но форма ее составляет неотъемлемую собственность

господ судей». Доктринер думает, что разрешил смысл великой социальной тяжбы, когда установил юридический смысл манифеста 17 октября. Практический делец укрывается за такие идеи, как «национальное величие» или «свобода в порядке», а доктринер верит, что они действительно способны регулировать жизнь. Верит и Струве, — по крайней мере, хочет верить.

При всем своем доктринерстве, и на девять десятых благодаря ему, Струве благополучно выполнил в высшей степени «реалистическое» поручение: помог широкому слою русской интеллигенции, долгим и кружным, но верным путем, освободиться и от идеи «долга народу», и от «трудового начала», и от «идеи четвертого сословия», и от других старых идей, которые были заповедями, а стали словами; освободив же, помог придвинуться к новым идеям: «Великой России», «дисциплины труда» и «национального лица»... Через болото политического отступничества он неутомимо перебрасывал для интеллигенции идеологические мостки,— да не преткнется ногою своею... Этим исчерпываются его исторические заслуги.

* * *

У г. Струве есть одна в высшей степени — как бы сказать? — неуместная черта. При своей доктринерской черствости он весьма склонен к лирике и пафосу дурного тона (ремесленная подделка под Герцена!), очень любит о «честности высокой» говорить, о «незыблемых» убеждениях, о «раз избранном пути» и даже об «Аннибаловых клятвах». Никто, как он, не любит клеймить беспринципность, нравственный оппортунизм, переметчивость, ренегатство.

Когда Витте в борьбе с Плеве начал играть неожиданными красками политической палитры, Струве заявил о своей органической неспособности понять психологию человека, руководящегося обстоятельствами, а не «убеждениями и принципами». Когда г. А. Гучков, пребывавший дотоле в тиши, впервые показал в декабре 1905 г. свои натуральные мануфактурные уши, Струве сурово призвал его к ответу. «А. И. Гучков в лагере русского общества, — писал он, — начинает делаться тем, чем гр. Витте окончательно определился в лагере русского правительства». При этом Струве удивительным образом умел не видеть, что сам он в лагере русской интеллигенции выполняет ту именно роль, что Гучков в лагере капиталистической буржуазии. — И, нако-

нец, пример последних недель. Когда на старца Суворина обрушился позор его пятидесятилетнего юбилея, кто бросил ему в лицо «слабость его нравственной природы»? кто говорил о «националистическом мускусе», который Суворин впрыскивал в тело старого порядка? кто предлагал издание исторической хрестоматии «Нового Времени»?... Кто швырнул в блудницу первый камень? Тот, кто сам без греха: господин Петр Струве, рыцарь незыблемых принципов, которому не страшны никакие «исторические хрестоматии» в мире!..

Как хотите, это поразительно! Казалось бы, в тот момент, когда все рефлекторы прессы направлены на Суворина, именно Струве следовало бы с достоинством постоять в тени. Ибо в конце-то концов: Незнакомец - Суворин начал свою карьеру, как национал-либерал, а полувековой юбилей свой встретил, как консервативно-националистический антисемит. А Струве начал как интернациональный социалист, а через десять-пятнадцать лет определился как консервативный, антисемитски окрашенный национал-либерал. Путь, пройденный Струве, никак не короче. Что же кроется в пафосе его негодования? Грубое лицемерие? Или святая простота доктринера? Струве первый затруднился бы ответить на такой вопрос, еслиб захотел над ним задуматься...

Конечно, во время самых высоких нот его нравственного возмущения, вам непременно послышится, что у него нравственный зуб — со свистом. И слух ваш не обманет вас. Но все-таки невозможно отрицать, что его «незыблемые начала» и «Аннибаловы клятвы»—не просто фальшь, а искреннее (почти искреннее) самовнушение. Ибо время от времени ноет — не может не ныть — зуб его политической совести, ноет и требует успокоения. Пиная Витте или Суворина, Струве думает, что этим он утверждает свое нравственное *право* пинать. И он уже не успокаивается, пока не разыщет маститого ренегата, чтобы поставить себя рядом с ним, как обличителя и судью. Доктринер до конца, он в доктринерском характере своего отступничества видит свое высшее нравственное оправдание. Смотрите: в то время как Суворин, в погоне за чистоганом успеха, на брюхе прополз путь от Незнакомца до счастливого антрепренера «Нового Времени», он, Петр Струве, перекочевал от социализма к национализму по млечному пути бескорыстной идеологии. Разве не приобрел он этим право судить Суворина и осуждать его?

Нравственный пафос Струве служит ему средством духовного самосохранения. Это форма приспособления его неизменного в своем безразличии нравственного лица к его вечно меняющимся политическим личинам. А если самый пафос у него второго сорта, так это уже зависит от размеров его нравственного лица.

* * *

Нет страсти, гнева, веры, натиска, стиснутых зубов упорства — всего того, что придает ценность не только истине, но и заблуждению. Похотливое резонерство, готовое на все услуги. Анемическое бескорыстие, идущее в хвосте обнаженной корысти и «бескорыстно» заметающее за ней следы или угодливо забегающее вперед и выравнивающее ей дорогу. Бескорыстие, которое нынче служит Крестовникову против рабочих, как вчера — рабочим против Крестовникова. Не похоже ли, наконец, оно, это бескорыстие, на то священное целомудрие полудев, которое от приключения к приключению заботливо охраняется, как неразменный капитал?..

А между тем, пробовали Струве сравнивать с Белинским. С Белинским! — какая скверная безвкусица это сопоставление!.. Представим себе только на одну минуту, что побывавший у Струве простец появляется к Белинскому и спрашивает: «Ваш разбор «Горе от ума» и «Бородинскую Годовщину» вы от себя писали? С действительностью от себя пробовали примиряться? Или только выражали чьи-то посторонние вам взгляды?» Как ужаленный отвратительным тарантулом, вскочил бы Белинский и закричал бы своим пронзительно-чахоточным голосом: «Ступайте вон! Я пишу по внушению духа святого — и да будет проклят тот, кто пишет иначе!». И, может быть, неистовый Виссарион запустил бы даже в простеца чернильницей, как Лютер в чорта, а потом долго и упорно кашлял бы жестоким, непримиримым, фанатическим кашлем...

* * *

О Струве можно писать почти спокойно, ибо весь он позади. Будущего у него нет.

В те времена, когда мы, как «нация», были еще политически безличной, индивидуальная безличность Струве позволила ему стать, как сам он выразился в счастливую минуту, «регистра-

тором» всех нарождавшихся течений. Надевая на себя их схематические личины, он способствовал сложению их действительных политических обликов. В этом его значение. Но эпоха первозданного хаоса оставлена позади. Основные политические грани проведены, и их уже не сотрет никакая сила в мире. Как бы ни неистовствовала реставрация, исторический процесс нельзя вернуть к пункту отправления, политическая бесформенность уже никогда не вернется, — и услуги Струве больше никому не понадобятся. Он получает от истории «вольную» и может итти на все четыре стороны.

Какое употребление сделает он из себя? Не все ли равно? После того как он выполнил свое предназначение, вопрос о его личной судьбе становится совершенно безразличным. Одно можно сказать с уверенностью: Петра Струве ждет черная неблагодарность. Его научно-философские усилия, в свое время учтенные для совершенно нефилософских целей, сегодня уже окончательно позабыты, а для практики в стиле «Великой России» он не пригоден. Тут непреодолимой помехой выступает доктринерская неприспособленность натуры. Незаметно для себя он заживо выходит, вернее, уже вышел, в тираж, — и в будущем сможет утешаться разве лишь длинным политическим титулом своим в новом издании словаря Брокгауза: сперва марксист, затем либерал-идеалист, а после того славянофил-антисемит и великороссийский империалист... из гольштинских выходцев.

«Киевская Мысль» № 109,
21 апреля 1909 г.

6. БОРЦЫ ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Г. И. ЧУДНОВСКИЙ

Из числа ближайших сотрудников «Нашего Слова» два погибли в гражданской войне: Урицкий и Чудновский. Имя Урицкого, этого мягкого и нежного человека, который выполнил в революции столь суровую работу, знают все. Но о Чудновском нужно сказать хоть несколько слов. Он умер слишком молодым, и именно поэтому молодежь не знает его. Это был энтузиаст. Как нередко бывает с молодыми энтузиастами, он в спокойные времена прикрывал свое горение видимостью внешней выдержки, чуть ли не бесстрастия. Он очень серьезно занимался вопросами марксистской теории. Но при первом же крупном внешнем поводе Чудновский загорался с ног до головы. По прибытии из Америки вместе со мною (в начале мая 1917 г.) он, как военнообязанный по возрасту, вступил в армию Керенского и скоро завоевал руководящее положение в одном из корпусов. С первого дня Октябрьской революции он уже не разлучался с винтовкой. Под Пулковым, в бою с казаками Керенского и Краснова, Чудновский командовал одним из отрядов: не потому, что знал военное дело лучше других, а потому, что был решительнее и мужественнее других. Раненый пулей и едва долечившись, снова ушел на линию огня и уже не выходил из нее. Так как горячее всего в то время было на Украине, то Чудновский оказался там. В рядах партизан он сражался с немецкими оккупантами и бандами Рады, которая приговорила его к смертной казни, но не успела повесить. Вступивши в Киев, красные войска спасли Чудновского. Но не надолго. Он погиб при отступлении из Харькова. Убила его гогенцоллернская или же демократическая пуля одного из украинских

«социалистов-революционеров» или «социал-демократов», действовавших в бандах Рады совместно с войсками Гогенцоллерна, осталось неизвестным. Не все ли равно?..

24 апреля 1922 г.
«Война и революция», т. I.

ПАМЯТИ СВЕРДЛОВА

Со Свердловым я познакомился только в 1917 году, на заседании фракции большевиков I Съезда Советов. Свердлов председательствовал. В те времена вряд ли многие в партии догадывались об истинном удельном весе этого замечательного человека. Но уже в ближайшие месяцы он развернулся целиком.

В первый пореволюционный период эмигранты, т.-е. те, которые много лет провели за-границей, отличались еще от «внутренних», «туземных» большевиков. Европейский опыт и связанный с ним более широкий кругозор, а также теоретически обобщенный опыт фракционной борьбы, давали эмигрантам во многих отношениях серьезные преимущества. Разумеется, это деление на эмигрантов и не-эмигрантов было лишь временным, и затем различие стерлось. Но в 1917 и 1918 гг. оно было во многих случаях очень ощутительным. Однако, в Свердлове «провинциализма» не чувствовалось и в те времена. Он рос и креп из месяца в месяц так естественно, органически, как бы без усилий, в ногу с событиями и в постоянном соприкосновении сотрудничества с Владимиром Ильичем, что на посторонний взгляд могло казаться, будто он так и родился готовым революционным «государственником» первоклассного масштаба. Ко всем вопросам революции он подходил не сверху, т.-е. не от общих теоретических соображений, а снизу, под непосредственными жизненными толчками, передававшимися через организацию партии. Каждая новая революционная задача вставала перед ним прежде всего, или конкретизировалась для него немедленно по возникновении, как организационная задача. Иногда, во время обсуждения нового политического вопроса могло казаться, что Свердлов, особенно, если он молчал, что бывало нередко, колеблется или же еще не составил своего мнения. На самом же деле он во время прений про себя проделывал параллельную работу, которую можно обозначить так: кого и куда послать? как направить и согласовать? И к тому моменту, когда определялось общее политическое решение и нужно было подумать об организационной



Я. М. СВЕРДЛОВ

и персональной стороне дела, почти неизменно сказывалось, что у Свердлова имеются уже готовые, очень дальнозоркие практические предложения, обоснованные на справках памяти и личном знакомстве с людьми.

Все советские ведомства и учреждения в тогдашнем первоначальном периоде своей стройки обращались к нему за людьми, и это первое, черновое распределение партийных кадров требовало исключительной личной находчивости и изобретательности. На аппарат, на записи, на архивы опираться нельзя было, ибо все это было еще в крайне слабом виде и не давало, во всяком случае, прямых путей к определению того, в какой мере профессиональный революционер Иванов пригоден в качестве главы какого-нибудь советского департамента, у которого пока что было только имя. Чтобы решить такой вопрос, нужна была особая психологическая интуиция, нужно было в прошлом Иванова найти две, три точки опоры и сделать из них выводы для совершенно новой обстановки. Причем такую пересадку приходилось производить по самым различным линиям, — в поисках то народного комиссара, то заведующего типографией «Известий», то члена ВЦИК, то коменданта Кремля и т. д. без конца. Организационные вопросы эти вставали, разумеется, вне всякой последовательности, т.-е. не от высших постов к низшим, или от низших к высшим, а вперемежку, случайно, хаотически. Свердлов наводил справки, собирал или припоминал биографические сведения, созванивался по телефону, рекомендовал, посылал, назначал. Сейчас я затрудняюсь даже сказать, в каком собственно звании он выполнял эту работу, т.-е. каковы были его формальные полномочия. Но, во всяком случае, значительную часть этой работы он выполнял единолично, — при поддержке, разумеется, Владимира Ильича, — никто этого не оспаривал, потому что это требовалось всей тогдашней обстановкой.

Значительную часть своей организационной работы Свердлов вел как председатель ВЦИК, пользуясь членами ВЦИК для различных назначений и отдельных поручений. «Столкуйтесь со Свердловым!» советовал по телефону Ильич во многих случаях, когда к нему обращались с теми или другими затруднениями. «Надо столковаться со Свердловым», говорил себе новоиспеченный советский «сановник», когда у него выходил разнобой с сотрудниками. Один из путей решения первостепенных практических вопросов состоял — по неписанной конституции — в том,

чтобы «столковаться со Свердловым». Но сам Свердлов нисколько, разумеется, не держался за этот персональный метод; наоборот, вся его работа подготовляла условия для более систематического и упорядоченного разрешения партийных и советских вопросов.

В те времена нужны были во всех областях «пионеры», т.-е. такие люди, которые умели бы самостоятельно, без прецедентов, уставов и положений, орудовать среди величайшего хаоса. Вот таких пионеров и разыскивал для всевозможных надобностей Свердлов. Он вспоминал, как уже сказано, ту или другую биографическую подробность, кто, когда, как себя держал, — делал отсюда заключение о пригодности или непригодности того или другого кандидата. Конечно, ошибок было очень много. Но удивительно, что их было не больше. А главное, удивительным кажется, как вообще можно было подойти к делу, стоя перед хаосом задач, хаосом трудностей и минимумом личных ресурсов. С принципиальной и политической стороны каждая задача представлялась гораздо яснее и доступнее, чем с организационной. Это наблюдается у нас и по сей день еще, вытекая из самой сущности переходного к социализму периода, — а тогда, на первых порах, это противоречие между ясно понятой целью и недостатком материальных и личных ресурсов сказывалось неизмеримо острее, чем ныне. Именно, когда дело доходило до практического решения, многие и многие из нас в затруднении покачивали головой... «Ну, а как вы, Яков Михайлович?» И Свердлов находил свое решение. Он считал, что «дело это вполне возможное», — если послать группу хорошо подобранных большевиков, да направить их, как следует, да связать с кем нужно, да проверить, да подкрепить. Чтобы иметь на этом пути успех, нужно было самому быть насквозь проникнутым уверенностью в том, что каждую задачу можно разрешить и каждую трудность преодолеть. Неистощимый запас *делового оптимизма* и составлял подоплеку свердловской работы. Это, разумеется, не значит, что каждая задача разрешалась таким путем на сто процентов. Хорошо, если она разрешалась на десять процентов. По тому времени это уже означало спасение, ибо обеспечивало завтрашний день. Но ведь в этом и состояла основная работа тех первых тягчайших годов: хоть кое-как прокормить, кое-как вооружить и обучить, кое-как поддержать транспорт, кое-как справиться с тифом, — но во что бы то ни стало *обеспечить завтрашний день революции.*

Особенно ярко качества Свердлова обнаруживались в наиболее трудные моменты, например, после июльских дней 1917 г., т.-е. белогвардейского разгрома нашей партии в Петрограде, и июльских дней 1918 года, т.-е. после лево-эсеровского восстания [138]). И в том и в другом случае приходилось восстанавливать организацию, возобновлять или вновь создавать связи, проверяя людей, прошедших через большое испытание. И в обоих случаях Свердлов был незаменим со своим революционным спокойствием, дальнозоркостью и находчивостью.

В другом месте я уже рассказывал *), как Свердлов прибыл из Большого театра, со Съезда Советов, в кабинет Владимира Ильича в самый «разгар» лево-эсеровского восстания. «Ну, что, — сказал он, здороваясь, с усмешкой, — придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому».

Свердлов был, как всегда. В такие дни познаются люди. Яков Михайлович был поистине несравненен: уверенный, мужественный, твердый, находчивый, — лучший тип большевика. Ленин вполне узнал и оценил Свердлова именно в эти тяжкие месяцы. Сколько раз, бывало, Владимир Ильич звонит Свердлову, чтобы предложить принять ту или другую спешную меру и в большинстве случаев получает ответ: «уже!» Это значило, что мера уже принята. Мы часто шутили на эту тему, говоря: «А у Свердлова, наверно, *уже*!».

— А ведь мы были вначале против его введения в Центральный Комитет, — рассказывал как-то Ленин, — до какой степени не дооценивали человека! На этот счет были изрядные споры, но снизу нас на Съезде поправили и оказались целиком правы...

Несомненно, что блок с левыми эсерами, несмотря на то, что о смешении партийных организаций не было, разумеется, и речи, отразился все же некоторой неопределенностью и на поведении партийных ячеек. Достаточно, например, сказать, что когда мы отправляли большую группу работников на Восточный фронт, одновременно с посылкой туда Муравьева в качестве командующего [139]), то выборным секретарем этой группы в несколько десятков человек оказался левый эсер, несмотря на то, что группа в большинстве своем состояла из большевиков. Внутри разных учреждений и ведомств отношения между боль-

---

*) См. Л. Д. Троцкий «О Ленине», Гиз. 1924 г., стр. 117 и след. *Ред.*

шевиками и левыми эсерами отличались тем большей неопределенностью, чем больше было тогда в нашей собственной партии новых и случайных элементов. Уж один тот факт, что основным ядром восстания оказалась лево-эсеровская организация внутри войск ЧК, достаточно ярко характеризует бесформенность взаимоотношений, недостаток бдительности и сплоченности со стороны партийцев, только недавно внедрившихся в свежий еще государственный аппарат. Спасительный перелом произошел здесь буквально в течение двух-трех дней. Когда в дни восстания одной правящей партии против другой все отношения стали под знак вопроса и внутри ведомств выжидательно закачались чиновники,— лучшие, наиболее преданные, боевые коммунистические элементы стали быстро находить друг-друга внутри всяких учреждений, разрывая связи с левыми эсерами и противопоставляя себя им. На заводах и в воинских частях сплачивались коммунистические ячейки. Это был момент исключительной важности в развитии как партии, так и государства. Партийные элементы, распределявшиеся, отчасти рассеивавшиеся в бесформенных еще границах государственного аппарата и в значительной мере растворявшие партийные связи в ведомственных, тут, под ударами лево-эсеровского восстания, сразу обнаружились, сомкнулись, сплотились. Всюду строились коммунистические ячейки, к которым переходило в эти дни фактическое руководство всей внутренней жизнью учреждений. Можно сказать, что именно в эти дни партия в массе своей впервые по-настоящему осознала, не только с политической, но и с организационной стороны, свою роль правящей организации, руководительницы пролетарского государства, партии пролетарской диктатуры. Этот процесс, который можно бы назвать первым организационным самоопределением партии внутри ею же созданного советского государственного аппарата, протекал под непосредственным руководством Свердлова, — шла ли речь о фракции ВЦИК или о гараже военного комиссариата. Историк Октябрьской революции должен будет особо выделить и внимательно изучить этот критический момент в развитии взаимоотношений между партией и государством, наложивший свою печать на весь дальнейший период, вплоть до наших дней. Причем историк, который займется этим вопросом, обнаружит на этом многозначительном повороте крупнейшую роль Свердлова-организатора. К нему стекались все нити практических связей.

Еще более критическими были дни, когда чехо-словаки угрожали Нижнему, а Ленин лежал с двумя эсеровскими пулями в теле. 1 сентября я получил в Свияжске шифрованную телеграмму от Свердлова: «Немедленно приезжайте. Ильич ранен, неизвестно, насколько опасно. Полное спокойствие. 31/VIII 1918 г. Свердлов». Я выехал немедленно в Москву. Настроение в партийных кругах в Москве было угрюмое, сумрачное, но неколебимое. Лучшим выражением этой неколебимости был Свердлов. Ответственность его работы и его роли в эти дни повысилась во много раз. В его нервной фигуре чувствовалось высшее напряжение. Но это нервное напряжение означало только повышенную бдительность, — с суетливостью, а тем более с растерянностью оно не имело ничего общего. В такие моменты Свердлов давал свою меру полностью. Заключение врачей было обнадеживающим. Видеться с Лениным еще нельзя было: к нему никого не допускали. Задерживаться в Москве не было оснований. От Свердлова я получил вскоре по возвращении в Свияжск письмо от 8 сентября. «Дорогой Лев Давидович! Пользуюсь случаем написать пару строк, благо есть оказия. С Владимиром Ильичем дело обстоит хорошо. Через 3-4 дня смогу, вероятно, видеться с ним». Дальше следовали практические вопросы, воспроизводить которые здесь нет надобности.

Ярко запомнилась поездка со Свердловым в Горки, где после ранения выздоравливал Владимир Ильич. Это было в ближайший мой приезд в Москву. Несмотря на ужасающе трудную обстановку того времени, крепко чувствовался перелом к лучшему. На решающем тогда Восточном фронте мы вернули Казань и Симбирск. Покушение на Ленина послужило для партии чрезвычайной политической встряской, — партия почувствовала себя более бдительной, насторожённой, готовой к отпору. Ленин быстро поправлялся и готовился вскоре вернуться к работе. Все это вместе порождало настроение крепости и уверенности в том, что если партия справилась до сих пор, то тем более справится в дальнейшем. В таком именно настроении ехали мы со Свердловым в Горки. По дороге Свердлов вводил меня во все, что произошло в Москве за время моего отсутствия. Память у него была превосходная, как у большинства людей с сильной творческой волей. Его рассказ заключал в себе всегда деловой костяк, необходимые организационные справки и попутные характеристики людей, — словом, был продолжением обычной свер-

дловской работы. И под всем этим чувствовалась подоплека спокойной и в то же время подмывающей уверенности: «справимся!»

* * *

Свердлову приходилось много председательствовать в разных учреждениях и на разных заседаниях. Это был властный председатель. Не в том смысле, что он стеснял прения, одергивал ораторов и пр. Нет, наоборот, он не проявлял никакой придирчивости или формальной настойчивости. Властность его, как председателя, состояла в том, что он всегда знал, к чему, к какому практическому решению нужно привести собрание; понимал, кто, почему и как будет говорить; знал хорошо закулисную сторону дела, — а всякое большое и сложное дело имеет непременно свои кулисы, — умел своевременно выдвинуть тех ораторов, которые нужны; умел во-время поставить на голоса предложение; знал, чего можно добиться, и умел добиваться, чего хотел. Эти качества его, как председателя, неразрывно связаны со всеми вообще свойствами его, как практического вождя, с его живой, реалистической оценкой людей, с его неутомимой изобретательностью в области организационных и личных сочетаний.

На бурных заседаниях он умел дать пошуметь и покричать, а затем в надлежащую минуту вмешивался, чтобы твердой рукой и металлическим голосом навести порядок.

Свердлов был невысокого роста, очень худощавый, сухопарый, брюнет, с резкими чертами худого лица. Его сильный, пожалуй, даже могучий голос мог показаться не соответствующим физическому складу. В еще большей степени это можно бы, однако, сказать про его характер. Но таково могло быть впечатление лишь поначалу. А затем физический облик сливался с духовным, и эта невысокая, худощавая фигура, со спокойной, непреклонной волей и сильным, но не гибким голосом, выступала, как законченный образ.

— Ничего, — говорил иногда Владимир Ильич в каком-либо затруднительном случае, — Свердлов скажет это им свердловским басом, и дело уладится... В этих словах была любовная ирония.

В первый по-октябрьский период враги называли коммунистов, как известно, «кожаными», — по одежде. Думаю, что во введении кожаной «формы» большую роль сыграл пример Свер-

длова. Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы т.-е. от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась. Товарищи, знавшие Свердлова по подполью, помнят его другим. Но в моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении черной кожаной брони — под ударами первых лет гражданской войны.

Мы заседали в Политбюро, когда Свердлову, лежавшему у себя на квартире в горячке, стало совсем плохо. Е. Д. Стасова, тогдашний секретарь ЦК, явилась во время заседания с квартиры Свердлова. На Стасовой лица не было. — Якову Михайловичу плохо... совсем плохо, — говорила она. И было достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, что дело безнадежно. Мы прервали заседание. Владимир Ильич отправился на квартиру к Свердлову, а я в комиссариат — готовиться к немедленному отъезду на фронт. Минут через пятнадцать ко мне позвонил по телефону Ленин и сказал тем особенным, глухим голосом, который означал высшее волнение: — Скончался. — Скончался? — Скончался. Мы подержали еще некоторое время трубки, и каждый чувствовал молчание на другом конце телефона. Потом разъединились, так как прибавить было нечего. Яков Михайлович скончался. Свердлова не стало.

13 марта 1925 г.

«Яков Михайлович Свердлов».
Сборник воспоминаний и статей. Гиз 1926 г.

ПАМЯТИ М. И. МАРКИНА

Погиб Маркин, это большая потеря. Маркин был превосходный революционер и неустрашимый солдат, настоящий солдат революции. От Балтийского флота он входил в Центральный Исполнительный Комитет 2-го созыва. Преданный и твердый большевик, он, с угрюмой решимостью — некоторая угрюмость была вообще в его характере,— боролся против режима Керенского. Когда Петроградский Совет стал большевистским, Маркин сосредоточенно и неутомимо выполнял в нём самые различные работы и в частности поставил на ноги вечернюю газету Совета («Рабочий и Солдат» [140]). В октябрьские дни он боролся в первых рядах. Связанный со мной тесным содружеством работы, он вступил в начале ноября в комиссариат иностранных дел. Матрос-артиллерист, он, однако, сразу

превосходно ориентировался в механизме комиссариата, производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов, устраивал по-новому канцелярию, конфисковал дипломатическую контрабанду, продолжавшую поступать в вализах из-за-границы, отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью отдельными брошюрами. Немецкие дипломаты в Брест-Литовске с большой жадностью набрасывались на брошюры Маркина, да и не они одни. С начала чехословацкого мятежа Маркин переходит в военное ведомство и сосредоточивает свои силы, главным образом, на волжской речной флотилии. Можно сказать без всякого преувеличения, что наша крепкая флотилия на Волге — создание Маркина. Он проявил ни с чем несравнимую энергию в деле вооружения судов, подборе команд, их воспитания; вел переговоры с профессиональными союзами, добывал для рабочих хлеб, устанавливал премии за скорейшее вооружение пароходов, производил чистку среди матросов, действовал на них словом, примером, где нужно — репрессиями, понукал по телеграфу всех медлителей, не успокаивался ни на минуту, — это был один из драгоценнейших характеров, которые не просто выполняют добросовестно возложенную на них работу, а ставят себе сами цели и всеми силами добиваются их осуществления, сламывая по пути всякие препятствия.

Если бы среди советских работников было побольше таких Маркиных, мы не сдавали бы бесславно городов; на железных дорогах, на заводах, в продовольственном деле не было бы разрухи.

Создав флотилию, Маркин занимал на ней самые боевые посты: сперва в качестве главного комиссара, затем как помощник командующего флотилией тов. Раскольникова [141]), он неустрашимо вел суда в бой; на своем пароходе «Ваня», позже переименованном в «Коммуниста», как настоящий рачительный хозяин, он заботился обо всем. У него на счету был каждый снаряд. Он организовал продовольствие, и в то же время сам ходил по ночам в разведку, устанавливал телефонную связь и побуждал прибрежные пехотные фланги к более решительным действиям. Под неприятельским огнем он был таков, как всегда: несколько угрюмый, твердый, решительный, честный солдат революции. Накануне взятия Казани он руководил десантом в составе 60 матросов. Ему была обещана поддержка пехотных частей;

десант Маркина в ожидании пехотных подкреплений продержался свыше часа под неприятельским огнем, снял замки с береговых тяжелых орудий и, не дожидаясь пехоты, покинул адмиралтейскую пристань, уже пылавшую со всех сторон от неприятельских снарядов. Николай Георгиевич Маркин погиб в бою на своем пароходе «Коммунист». Среди многих наших утрат это одна из самых тяжелых. Его сравнительно мало знали в партии и в общесоветских организациях, ибо он не был журналистом или оратором; но дела его были ярче и выразительнее всяких слов. Я близко знал его на деле и свидетельствую, что Маркин был одним из лучших в наших рядах. Не верится, что его больше нет с нами. Прощай, верный хороший друг Маркин!

ПАМЯТИ ГЕН. А. П. НИКОЛАЕВА, ПОВЕШЕННОГО БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ В ЯМБУРГЕ В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА

На Нарвском фронте командовал одной из наших бригад бывший генерал старой армии Александр Панфилович Николаев. Во время наших неудач под Ямбургом товарищ Николаев вместе с другими попал в плен к разнузданному белогвардейскому бандиту Балаховичу. Несколько сот человек были расстреляны и повешены этим последним в Ямбурге. В числе замученных контр-революционерами оказался и комбриг Николаев. Местные граждане сообщили товарищам, посетившим Ямбург, в том числе и тов. Зиновьеву, подробности о смерти Николаева, рисующие его подлинным героем. Бывший генерал царской армии не только не отрекся от своей связи с Красной армией, наоборот — бросил вызов своим палачам и умер с возгласом: «Да здравствует власть рабочих и крестьян!».

Имя Николаева при жизни его было скромным именем, известным только небольшому кругу лиц. Ныне это имя должно стать известным всей Красной армии, всей стране. Николаев был одним из тех представителей старого офицерства, которые душой почуяли глубокую правду рабочего движения и навсегда породнились с делом Красной армии и рабоче-крестьянской революции.

Вечная память Александру Панфиловичу Николаеву в сердцах трудящихся масс!..

«Коммунистический Интернационал»
№ 9, 1920 г.

ПАМЯТИ Е. А. ЛИТКЕНСА

Еще третьего дня мы обсуждали с отцом покойного Евграфа Александровича, А. А. Литкенсом, есть ли надежда на то, что Е. А. жив и лишь находится в плену у бандитской шайки. Казалось, что такая надежда есть: ограбить его и убить не было расчета, ибо на нем и при нем никогда ничего не было. Хотелось надеяться, что бандиты захватили его в плен, чтобы получить выкуп. А. А. Литкенс собирался в Крым на розыски, я сносился с тов. Фрунзе *), и с часу на час мы ждали какого-нибудь утешительного известия или, хотя бы, только намека... Но вместо этого пришла весть, не оставляющая места никаким сомнениям: Евграф Александрович убит, тело его найдено. Меньше стало одним драгоценным работником и прекрасным товарищем.

С Евграфом Александровичем, а по-тогдашнему с Граней,— я сблизился в начале 1905 года, когда нелегально работал в Петербурге. Через Л. Б. Красина я познакомился и близко сошелся с семьей Веры Гавриловны Аристовой и А. А. Литкенса, тогда старшего врача Константиновского артиллерийского училища. В их квартире на Забалканском пр., в здании училища, не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 1905 года. Там же была явка тов. Красина и моя. Иной раз в квартиру старшего врача, на глазах вахтера, приходили такие типы, каких двор Константиновского училища и его лестницы не видали никогда. Но так как низший служебный персонал относился к старшему врачу с большими симпатиями, то доносов не было и все сходило с рук благополучно. Я познакомился и близко сошелся, хотя был старше их лет на 8, на 10, с двумя братьями — Саней и Граней. Саня, которому тогда было лет 18, студент, входил уже формально в организацию большевиков, много работал, весь горел и скоро сгорел. К концу года он оказался в Орловской губ., развил там необыкновенно широкую и смелую агитацию среди крестьянства, приобрел величайшую популярность в нескольких уездах, стал в течение недель легендарным героем. Потом был арестован, тяжко заболел в тюрьме, молодой организм не вынес величайших потрясений, и Саня умер, вряд ли достигши 19 лет.

---

*) М. В. Фрунзе был тогда командующим войсками Украины и Крыма. О Фрунзе см. в этом томе статью «Памяти М. В. Фрунзе» на стр. 281. *Ред.*

Граня был на год или полтора моложе. В те времена еще гимназист, более осторожный, более критический, но не менее самоотверженный, чем брат, он, насколько помню, не входил еще в партийную организацию, но все его молодые силы были в распоряжении революции. В подполье каждое самое маленькое действие достигается ценою величайших усилий, преодоления бесконечных трений и препятствий. Вот для этих-то задач и нужна была самоотверженная, безыменно-героическая молодежь. Граня был ее лучшим представителем. Он выполнял все, что нужно было, без вопросов, без претензий, твердо и четко.

Еще вспоминается мне, что этот юноша, чуть не подросток, с угловатыми манерами, свойственными переломному возрасту, и не устоявшимся голосом, нежно и трогательно любил маленьких детей: он ухаживал за ними в свободные часы, как хорошая няня. Это сочетание застенчивой и верной нежности с некоторой внешней суровостью и четкостью мысли и поступков он сохранил на всю жизнь, — на всю свою недолгую жизнь.

В 1907 году, после побега из Сибири, проездом через Петербург, я побывал на Забалканском проспекте. Сани уже не было. Граня был студентом, много работал, но ни от чего не отказывался. А время было такое, что многие начали отказываться.

Потом началась для меня эмиграция, и я потерял Граню с поля зрения. В первое время еще переписывался с семьей его, затем оборвалась и переписка...

Встретились мы снова уже в 1917 году. Сперва я не узнал его, «помощника присяжного поверенного». Но когда он понастойчивее взглянул, я по светлым ясным глазам и улыбке признал Граню, который, как младший брат, ухаживал за мной когда-то, когда мне пришлось хворать на квартире его семьи. Мы много говорили о годах, которые разделили нас, хотя говорить приходилось урывками, меж заседаний съездов, фракционных совещаний, митингов и проч. У Евграфа Александровича была тогда осторожность в подходе к основному вопросу революции: буржуазная или социалистическая? Презирая соглашательство и меньшевистское прислужничество буржуазии, всей душой тяготея к большевикам, с которыми он был связан всем своим прошлым, Евграф Александрович колебался в вопросе о том, как сочетать хозяйственную отсталость и разоренность России с перспективами социалистического переворота. Зато он твердо решил в тот период для себя другой вопрос: о необходимости

для спасения революции вырваться из адского круга войны, хотя бы и ценою сепаратного мира с Германией. А в те времена — май-июнь 1917 года — самая мысль о сепаратном мире, даже на крайнем левом фланге революции, встречала обычно гневный отпор.

Работа Е. А. Литкенса протекала в 1917 году вне Петербурга, а затем, когда партийный и правительственный центры были перенесены в Москву, Литкенса уже, кажется, не было в Москве. Таким образом до 20—21 годов встречались мы случайно, урывками, но каждое такое свидание приносило радость. О работе Литкенса в армии, как всегда энергичной и, насколько знаю, успешной, я мог следить только издалека и по бумагам. Чаще стали встречи, когда Литкенс перешел на центральную работу в Москву. К порученной ему большой организационно-административной задаче он относился с величайшей серьезностью, не скрывая от себя всех трудностей, и объективных и субъективных. В своей потертой солдатской шинелишке и видавшем виды военном картузе не раз забегал он ко мне с чертежами, схемами, предложениями, в первый период своей деятельности. Были ли эти схемы и планы правильными, или нет, судить не могу за отдаленностью своей от этого дела. Думаю, что многое, и притом самое существенное, было правильно. Но больше всего подкупало и привлекало в нем стремление внести ясность, отчетливость в отношения и в работу, т.-е. те именно качества, которых нам нехватает. Революционер до мозга костей, он, однако, с величайшей враждебностью относился к стремлению заменить ясный план, твердый метод работы — революционной импровизацией, наитием, а чаще всего непродуманной отсебятиной и хаотической самодельщиной. Такие работники нам нужнее всего. Только через них преодолеем разруху во всех областях. Такие работники действуют не на авось, а ищут системы и вырабатывают ее, создают школу и воспитывают в ней. А без школы, без системы, без навыков, без традиций отчетливого труда нельзя создать ни социалистической организации просвещения, ни, тем более, социалистического общества высокой культуры.

И вот Е. А. Литкенса нет; переутомился, надорвался, заболел, поехал в Ялту на поправку, попал под бандитскую пулю, погиб. Было ему, должно быть, не более 34 лет. Мы за эти годы научились многому, и, в том числе, терять друзей. Но сердце,

тем не менее, упорно не хочет признать, что Евграф Александрович убит, что нет больше среди нас милого товарища Грани.

«Правда» № 93,
27 апреля 1922 г.

В. П. НОГИН

(Речь на похоронах)

— Товарищи! Я вспоминаю, что в первый раз увидел Виктора Павловича Ногина — «Макара» — 22 года тому назад в Лондоне, куда он приезжал по вызову Владимира Ильича и где он работал над усовершенствованием печатного нелегального станка. «Макар» поставил себе задачей создать бесшумнодействующий аппарат, и с настойчивостью, которая отличала этого молодого текстильщика, он работал над маленьким делом усовершенствования техники тогдашней печати, — которой скоро — я говорю об «Искре» — суждено было перевернуть сверху донизу всю нашу страну. В последний раз я видел и слышал Ногина накануне его отъезда в Америку, куда он ехал как председатель нашего текстильного синдиката, одной из самых могущественных хозяйственных организаций мира. В беседе со мной Ногин окидывал широким оком марксиста-революционера международную обстановку, положение хлопководства в Америке, пути дипломатии и перспективы революции. Это был большого исторического размаха революционер, вышедший из школы Маркса и Ленина.

Сейчас я сближаю эти два момента, разделенные 22 годами. Виктор Павлович — у рукоятки небольшого подпольного ручного станка, и Виктор Павлович — у рычага величайшего текстильного синдиката. Колоссальное различие обстановки! Четверть века борьбы и глубочайших переворотов! А в начале его и в конце его Виктор Павлович один и тот же. На протяжении этого периода он жил — и материально, и духовно — с рабочим классом. Это был все тот же скромный, простой рабочий человек, накопивший большие знания, имевший большой кругозор, но оставшийся до конца сыном пролетариата. И в эти же 22 года укладывается вся история нашей партии, — партии, прошедшей от ручного подпольного станка до руководства могущественнейшим хозяйством, до переговоров с буржуазными владыками мира от имени нового государства рабочих и крестьян.

И тяжко, и отрадно. Тяжко — потому, что мы хороним соратника, друга, верного и стойкого борца, подобных которому история создает не часто. Отрадно — потому, что 26 лет работы Ногина врезались драгоценным клином в историю рабочего класса.

И перед его прахом окинув взглядом все, что сделал он, лучший из лучших, мы опустим его в могилу с этим смешанным чувством глубокой скорби и высокого нравственного удовлетворения. Надо сказать молодняку: иди по этим стопам, и ты недаром проживешь жизнь! А тебе, Виктор Павлович, от глубины наших потрясенных сердец — последнее братское прости!

«Правда» № 118,
27 мая 1924 г.

ПАМЯТИ М. С. ГЛАЗМАНА

Вот уже четвертый день, как облако кошмара стоит над головами всех тех, которые знали Глазмана и успели узнать о его гибели. Глазман, мужественный и твердый, при всей своей физической хрупкости, выносливый и беззаветно преданный революции, — Глазман застрелился.

Глазман был исключен Московской Контрольной Комиссией из партии. ЦК уже признал это исключение ошибкой. Следствие об этой ошибке идет своим путем. Но между исключением и признанием ошибочности этого исключения Глазман успел застрелиться. Несмотря на свою выдержку, на свое исключительное нравственное мужество, Глазман оказался не в силах вместить ошибку. Слишком она была чудовищна. Глазман застрелился. Этого нельзя уже повернуть назад.

В партию Глазман вошел, вернее сказать врос, через гражданскую войну. По специальности он был стенограф, и притом прекрасный. Впрочем, все, что Глазман делал, он делал хорошо: внимательно, точно, добросовестно, до конца. Вот этим своим качеством, высшей честностью в работе, он и привлекал к себе прежде всего всех тех, кто способен ценить это драгоценное качество. Добросовестность в работе имела у Глазмана отнюдь не просто «служебный» характер. В Глазмане не было решительно ничего от службиста, чиновника, хотя работа его на добрую половину носила канцелярский характер. Глазман был революционер, партиец. Добросовестность в работе была у него проявлением революционного долга, который проникал его насквозь.



М. С. ГЛАЗМАН

На вид хрупкий, тщедушный, Глазман был неутомим в работе. Это не значит, что он не утомлялся, — нет, землистый цвет лица и темные полосы вокруг глаз говорили нередко о страшной усталости, — но он не хотел знать ее. Неторопливо и с виду даже флегматично — он пожирал работу. Хорошо бы подсчитать число чистых рабочих часов Глазмана за шесть лет его революционной службы: многим, очень многим этих рабочих часов хватило бы лет на двадцать.

Глазман был приглашен стенографом в наш военный поезд в августе 1918 года, т.-е. в том именно месяце, когда этот поезд сформировался для похода на Казань. С тех пор мы с Глазманом почти не разлучались. Его жизнь и его работа — а жизнь Глазмана исчерпывалась работой — протекали на моих глазах. Он стал моим ближайшим сотрудником. Авторитет этого маленького болезненного человека, со спокойными движениями и слабым, всегда ровным голосом, признавался всеми. Это был авторитет нравственной силы, революционного долга, честности, высшего бескорыстия. Даже стенографская работа Глазмана получила, силою обстоятельств, характер подвига: в течение трех лет ему приходилось стенографировать преимущественно в вагоне, на полном ходу поезда. Вот я и сейчас вижу эту хрупкую спину, согнувшуюся над вагонным столиком. Вагон качает так, что трудно устоять на ногах перед свисающей с потолка картой. Глазман прирос к стулу, движений его маленькой сухощавой руки почти не видно; но он весь — одно напряжение. И так — часами, иногда днем, иногда ночью, чаще — днем и ночью. Статьи, приказы, разговоры по прямым проводам, все шло через руки Глазмана. Когда он представлял на проверку или на подпись пачку расшифрованных им стенограмм, в них, несмотря на чудовищно-тяжкие условия работы, редко-редко можно было найти ошибку, недоразумение, промах. Глазман был весь — внимание, весь — добросовестность; он не любил ошибок. Но судьбе захотелось, чтоб он сам пал жертвой «ошибки».

Глазман был не только стенограф, секретарь, — он был солдат революции, и не в переносном, а в самом прямом и точном смысле слова. Он хорошо знал употребление винтовки, маузера, парабеллума. Не мало поручений приходилось ему выполнять в огне и под огнем. В особо трудные часы, когда с поезда высаживалась команда, чтобы заткнуть какую-либо дыру, Глазман спрашивал: «Разрешите мне отправиться с командой». И хоть

трудно было оставаться без Глазмана, но и отказать нельзя было. Неуклюже сидела папаха на этой небольшой, всегда коротко остриженной голове; трехлинейная винтовка казалась слишком большой для его роста и впалой груди; пенснэ под папахой еще более нарушало воинский вид. Однако, это был настоящий воин, тихий, спокойный, ровный герой, не замечающий своего героизма. Медленно, как бы флегматично, сходил Глазман со ступенек вагона, а через неделю или две возвращался обратно. И снова его рука выписывала мелкие-мелкие иероглифы на столике вагона, мчащегося со скоростью 60 верст в час.

Глазман был долго секретарем Революционного Военного Совета. Он сидел на заседаниях неподвижно и как бы безучастно. Но он все слышал, во все вникал, все понимал. Нужная справка появлялась в его руках в нужную минуту. Он схватывал предложения на-лету. Он работал безмолвно и бесшумно, но с какой замечательной точностью!

Бесчисленное количество дел проходило через его руки: партийных, военных, личных, случайных. Сколько поручений получал он во время конгрессов, съездов, конференций! Он все записывал, выполнял или следил за выполнением, — и во всяком деле, во всяком поручении обнаруживал замечательное нравственное чутье и личный такт, всегда правильно определяя, что важно и что неважно, где правда, а где фальшь. Когда нужна была справка партийного характера, я каждый раз с изумлением убеждался, как прекрасно он помнит все решения и прения партийных съездов, как внимательно следит за партийной литературой.

Да позволено мне будет сказать, как многое в моей личной работе связано было с этим неоценимым товарищем и соратником. Вся моя литературная работа последних шести лет протекала в постоянном сотрудничестве с Глазманом. Это сотрудничество далеко выходило со стороны Глазмана за пределы стенографических записей. Нет, он был всегда в курсе самой работы, подбирал материалы, находил источники, справки, цитаты. С какой милой застенчивостью он подавал советы, которые всегда были продуманы, серьезны и ценны.

В последнее время он много работал над подготовкой к печати двух томов моих, относящихся к 1917 году. Он неутомимо рылся в газетах и архивных материалах, открывал неподписанные статьи и резолюции, сверял, сопоставлял. Я поражался точности

его суждений, остроте его догадок. Он выглядел страшно утомленным, но не хотел уходить в отпуск, прежде чем не доведет работы до конца. Я уехал из Москвы 20 августа. 2 сентября вечером я получил от Глазмана письменный запрос по поводу ряда литературных работ. Как был я в тот час далек от мысли, что автора запроса уже нет в живых! На другой день получилась телеграмма: «Сегодня покончил самоубийством Глазман, после того как узнал о своем исключении из партии». Слишком неожиданным явился для него этот удар. Он мог ждать на фронте смерти от вражеской пули, мог ждать и ждал дальнейшего развития туберкулеза, но он не мог ждать и не ждал исключения из партии. Этого удара он не вместил.

Исключение Глазмана признано высшим учреждением партии неправильным. Он похоронен сегодня, — в тот день, когда пишутся эти строки, — как революционер, как партиец, как большевик, т.-е. таким, каким он жил.

Сошел в могилу драгоценный человек, чистый, твердый, без искательства и без лукавства. Один из тех, на кого партия может положиться в самых тяжких условиях. Такие, как Глазман, остаются верны до конца. Какая утрата! Какая скорбь для всех, знавших его! Ушел так страшно от нас милый, тихий, ровный Глазман. Прости, молодой друг, что мы не охранили и не сберегли тебя.

Архив, 6 сентября 1924 г.

ПАМЯТИ МЯСНИКОВА, МОГИЛЕВСКОГО И АТАРБЕКОВА

(Речь на траурном заседании в Сухуме 23 марта 1925 г.)

Товарищи! За последние год-полтора смерть не щадит тех рядов, которые замыкают в себе строителей нашего Советского Союза. Мы потеряли за это время величайшего человека новой эпохи и, можно сказать, величайшего революционера всей истории человечества — Владимира Ильича. После его смерти из наших рядов вырвано было немало ценных и дорогих нам фигур большого революционного и политического значения. Еще только на-днях мы узнали с изумлением и душевным трепетом, что т. Нариман Нариманов [142]), который только что был, вместе со всем Центральным Исполнительным Комитетом, в Тифлисе, на очередной сессии, вырван из наших рядов сердечным ударом.

Не успели мы освоиться с тяжелой вестью о гибели одного из лучших провозвестников освободительной борьбы народов Востока, как нас постигает новый, на этот раз тройной удар. После смерти Ильича это самый большой удар, который постиг трудящиеся массы Советского Союза и нашу коммунистическую партию. Этот удар, эту огромную политическую утрату мы ощущаем с тем более острой сердечной скорбью, что гибель трех прекрасных борцов кажется такой случайной, ненужной, такой бессмысленной, — представляется так, что стоило бы своевременно протянуть руку, и мы могли бы их спасти. Какая-то техническая случайность, а, может быть, и не случайность (об этом нужно бы справиться у меньшевиков), — мы пока что причин этой катастрофы не знаем, — во всяком случае что-то постороннее, лежавшее вне борьбы, вне обычной жизни и вне организма этих товарищей, что-то внешнее пресекло одним ударом их жизнь. Вторые сутки, как мы все ходим под гнетом этого кошмарного известия, которое мы еще в течение недель и месяцев будем душевно переваривать, чтобы привыкнуть к нему, но думаю, что старшие из нас не привыкнут к нему до конца своих дней.

Главное, что нужно было рассказать об этих товарищах, было уже сказано сегодня здесь. Я позволю себе лишь кое-что дополнить, отчасти и по личным воспоминаниям. Эти три товарища ушли от нас совсем еще молодыми, конечно, молодыми с точки зрения старшего поколения, а не с точки зрения комсомольцев. Старшему из них — Мясникову не было еще и 40 лет. Следующий по возрасту был т. Могилевский, которому было около 35 лет. И, наконец, т. Атарбекову было всего 32 года. Им всем вместе было не многим более ста лет. Каждый из них имел еще перед собою добрую половину своей сознательной жизни. Каждый из них еще нужен был нам, потому что впереди много больших задач и много трудностей — и в рамках Закавказской Республики, и в рамках нашего Союза, и в рамках мирового союза рабочего класса. А каждый из них был незаменимой, единственной в своем роде революционной и человеческой фигурой.

Тов. Мясников был старшим среди них и по возрасту, и по работе, и по значению. Старый, крепкий подпольный партиец, о котором только еще третьего дня мне пришлось разговаривать как о живом, деятельном, как о товарище, который прибудет сюда, в Сухум, на-днях. Тов. Каспарова вспоминала его

работу в подполье, в Баку, напряженнейшую энергию этого подпольного революционера-большевика, который в самые тяжкие годы реакции, распада, ликвидаторства не считал слишком малой для себя даже и самую частичную, техническую, повседневную работу, которую лучшие из старшего поколения, стиснув зубы, проводили в то время в подполье, подготовляя Красный Октябрь. И в Октябре и после Октября Мясников оставался верным себе. Помню, как в момент, когда восстание чехо-словаков разрослось в серьезную опасность, Яков Михайлович Свердлов сказал: «надо из Смоленска вызвать Мясникова». Его вызвали. Я его тогда увидел впервые. Он выглядел тогда значительно моложе, чем в последние годы: эти семь лет борьбы и испытаний на многих наложили свою неизгладимую печать. Мясников выглядел тогда моложе, в нем было еще нечто юношеское. Как сейчас помню его первый взгляд на смуглом лице, взгляд слегка исподлобья и в то же время открытый, вдумчивый, острый взгляд революционера, который по первому призыву партии, в самый трудный момент молчаливо, без слов говорит: «я готов». Это были трудные дни и часы. В боях, под огнем, под ударами чехо-словаков и белых, складывались тогда первые полки Красной армии. Мясников был одним из первых и лучших ее строителей. В военной работе, как и во всякой другой, он проявлял самостоятельность, критический взгляд, инициативу. Потом его перебросили секретарем Московского Комитета, т.-е. руководителем партийной организации в самом сердце нашего Союза, — в трудные и труднейшие дни гражданской войны. Тогда жизнь партийной организации, а следовательно и работа ее секретаря сводились, главным образом, к тому, чтобы отбирать среди коммунистов, в партии, в профессиональных союзах, в разных ведомствах, лучших, наиболее неустрашимых, наиболее тердых, наиболее самоотверженных — для фронтов гражданской войны. Позже т. Мясников работал на транспорте, в период развала железнодорожного дела, когда наша судьба и прежде всего судьба польского фронта зависели от нашей способности перебросить войсковые части с Волги и Сибири на Западный фронт. Мясников и здесь до конца выполнил свой долг, как один из руководящих работников по оздоровлению транспорта. Вряд ли вообще есть такая отрасль работы, к которой он не приложил бы творческой руки. Он был за последние годы секретарем Закавказского Краевого Комитета. Что это значит — ясно без слов. Он был руководите-

лем партийной организации этой в высшей степени сложной Закавказской Республики, с ее переплетом национальных отношений, с ее культурной пестротой, с ее тяжким наследием прошлого и ее величайшими задачами будущего. Он здесь стоял зорким механиком у партийного мотора, который приводит в движение зубчатые колеса советских органов, профессиональных союзов, кооперации, — направляет и вдохновляет хозяйственную и культурную жизнь Закавказья. И с этой наиболее ответственной своей работой он справлялся с честью до последнего дня, до последнего издыхания. Он летел сюда, в Абхазию, на Съезд Советов, но, к несчастью, не долетел...

Следующего по возрасту, тов. Могилевского, я знал меньше, чем т. Мясникова, но знал все же достаточно, чтобы высоко ценить и искренне любить его. Было нечто в высшей степени подкупающее в его тонкой, подвижной фигуре, остром взоре, молодой улыбке, сопровождавшей веселую шутку. В первый раз, помнится, я встретился с Могилевским по поводу забытого уж ныне дела французского депутата Лафона, который приезжал к нам, в Советский Союз, в качестве «друга» — он по крайней мере так заявлял, мы-то были другого мнения — во время нашей войны со шляхетской Польшей. По дороге Лафон заезжал в Варшаву и вел дружеские разговоры с Пилсудским и другими вождями буржуазной Польши, которая находилась в войне с нами. Мелкий буржуа, филистер, который считал себя социалистом и считает себя таким до сего дня, Лафон до такой степени не понял духа и характера пролетарской революции и ее суровой борьбы против буржуазии, что считал возможным приезжать в качестве друга в пролетарскую Москву и одновременно наносить визит буржуазной Варшаве, которая воевала с пролетарской Москвой... Тов. Могилевский прекрасно понял, что нельзя оставлять безнаказанным такой акт политического разврата и наложил на Лафона руку. Я имел объяснение с этим самым Лафоном в присутствии Могилевского, которого я тогда еще почти не знал. Надо вам сказать, что т. Могилевский жил долгое время в Париже, изучил французскую жизнь, владел французским языком и понимал Лафона насквозь. Задача состояла в том, чтобы дать политический урок французскому пролетариату, чтобы сказать французским рабочим: вот кто ваши представители, — господа Лафоны, которые едут с дружескими заверениями к пролетарской власти, а по дороге наносят визиты пала-

чам рабочего класса. Такова была политическая задача Могилевского в деле Лафона. Помню одну мелочь, которая характеризует его тонкость, его лукавую находчивость. Я объяснялся с Лафоном, и затем спросил т. Могилевского, понимает ли он по-французски. Он ответил с подчеркнутой четкостью: «никак нет». Дело в том, что с Лафоном была его жена, русская, которая служила переводчицей, и т. Могилевский, по соображениям совершенно понятным, не был заинтересован в том, чтобы Лафон знал, что его следователь понимает по-французски. Но я в то же время заметил в глазах Могилевского иронический огонек, который сразу заставил меня внимательнее взглянуть на него: иногда в мелочах обнаруживается человек целиком. Эпизод с Лафоном, дело которого т. Могилевский провел до конца, до высылки Лафона из России, — сыграл крупную роль в развитии французской коммунистической партии. Тогда ведь к нам симпатий было хоть отбавляй. Все эти Лонге, Блюмы, все эти мелкобуржуазные политики, которые называют себя социалистами, все они нам «симпатизировали». Лонге писал «дружеские» письма Владимиру Ильичу, которые тот с презрительной усмешкой бросал в корзину. И тут нужно было твердо сказать французскому рабочему классу, что революция, Советская власть и диктатура пролетариата — это серьезное дело, это не вопрос условностей и этикета, — нет, ты должен твердо знать, с кем ты: с буржуазной ли Варшавой или с пролетарской Москвой? И вот, уловить этот момент, оценить его в международном масштабе и преподать крепкий политический урок, — это сумел Могилевский. И это одно дает меру человека.

Тов. Атарбеков был, как и т. Мясников, армянин, но он представлял, в психологическом смысле, совсем другую натуру. Мясников, с его глубоким внутренним революционным напором, был спокойный, вдумчивый человек, политик и руководитель. Атарбеков был боец, ударник. Он был насквозь порывистой натурой, — пламенел, рвался вперед, особенно в наиболее острые моменты. Рабочему классу, революции и партии нужны и тот и другой тип, нужны все темпераменты, ибо для всякого найдется свое место, своя работа, своя роль. Атарбеков выполнял в тяжкие часы тяжкую работу по непосредственной расправе с врагами рабочего класса. И он ее выполнил геройски, т.-е. беспощадно. Тут уже упоминалось, что белогвардейщина изображала Атарбекова отродьем человеческим, зверем. Одно время имя Атарбе-

кова переходило по всей белой печати, как имя, олицетворяющее все «зверство» большевизма. Хотя мы сейчас и не вынуждены больше, к счастью, вести такую беспощадную расправу, какую вели в первые годы, — ибо мы стали гораздо крепче; хотя мы сейчас и находимся в дипломатических сношениях с буржуазными государствами, принимаем послов, отправляем послов, и буржуазные дипломаты, и буржуазные политики как бы склонны милостиво закрывать глаза на наше вчерашнее прошлое, — они, дескать, не замечают, или не помнят, что мы пришли к власти путем суровой расправы с буржуазией (а наша заграничная эмиграция повседневно напоминает им об этом), — несмотря на все это, мы не только не «стыдимся» нашего вчерашнего дня, нет, мы гордимся тем, что рабочий класс сумел выдвинуть своих Атарбековых, которые обеспечили победу революции. За последние годы Атарбеков отдавал свою энергию административно-хозяйственной работе, как руководитель почтово-телеграфного дела в Закавказьи. Остро-отточенным кавказским кинжалом можно резать хлеб, — так и Атарбеков, пламенный ударник, выполнял с успехом мирную культурную работу.

И еще нужно отметить одно обстоятельство, наиболее ярко выраженное у Мясникова, но общее для всех троих. Они успели показать в своей работе, эти закаленные борцы, эти несгибаемые революционеры, величайшую гибкость и чуткость к повседневным потребностям и нуждам разноплеменных масс Закавказской Республики. Тов. Бахтадзе упоминал, что каждый из них был — и прежде всего, разумеется, Мясников — воплощением интернационализма. Владимир Ильич передал через Мясникова в Закавказье заповедь: внимательно относиться к тому, чем живет и дышит основная, т.-е. крестьянская масса Закавказья. Вопрос крестьянский здесь помножен на вопрос национальный. Беда, если пролетариат и крестьянство начинают говорить на разных языках. Вдвойне беда, если разные политические языки совпадают с разными национальными языками. Тогда выдвигается опасность вавилонского столпотворения! Национальный вопрос в Закавказьи есть вопрос величайшей важности, и невнимание к нему было бы гибелью и для партии и для Советской власти. Но творческое внимание к национальному вопросу может проявить только такой коммунист, который сам насквозь проникнут интернационализмом. Мы ведь знаем «внимание» к национальному вопросу со стороны националистов старых партий

Закавказья. И азербейджанские националисты-муссаватисты, и партия дашнаков Армении, и грузинские меньшевики, — все они обращали очень большое «внимание» на национальный вопрос. Но это внимание, продиктованное мелкобуржуазной узостью и корыстью, приводит только к сваре и кровавым конфликтам. Интернационализм состоит не в том, чтобы высокомерно игнорировать национальные задачи. Нет, подлинный интернационализм требует особого внимания к национальным потребностям масс, требует поднятия национальных чувств массы до классовых и общекультурных задач, чтобы открыть массе доступ к мировой, общечеловеческой культуре. Вот эту истинно освободительную работу выполняли, как лучшие среди нас, Мясников, Могилевский и Атарбеков.

И вот они ушли от нас и больше не появятся в нашей среде. Мы потеряли товарищей, друзей, братьев. И особенно тяжко думать, — повторяю снова, — что они погибли в результате трагического случая, воздушной катастрофы. Вряд ли мы дознаемся когда-либо с точностью о действительных причинах их гибели. Ведь живых свидетелей того, что произошло, нет! Они погибли все: и три пассажира, и летчик Шпиль, и механик Сагарадзе. В телеграмме, которую здесь огласили от Областного Комитета, есть заключительная фраза: «Да будут прокляты те роковые законы, которые вызвали эту катастрофу!». Эти роковые законы суть законы человеческой слабости. Эта катастрофа — каковы бы ни были ее ближайшие причины — является показателем одновременно и силы человека и слабости его. Сила в том, что человек научился летать, научился передвигаться не только по земле и воде, но и по воздуху. Но вместе с этим он и погибает не только на воде и на земле, — он научился погибать и в воздухе. Здесь, стало быть, еще слабость наша: овладевая стихиями, мы не овладели ими еще полностью и целиком. Воздушная стихия — да и не только она — наносит нам еще нередко страшные удары. Через гибель этих трех борцов, через утрату этих пяти работников мы подходим к основной задаче всей нашей работы и к основной цели коммунизма. В чем, товарищи, смысл и задача человеческой культуры? В том, чтобы обеспечить человеку победу над враждебными силами природы, в том, чтобы человека, который был рабом стихий, рабом холода, голода, болезней, сделать господином и повелителем всех сил природы. Буржуазия в этой области достигла многого. Буржуазия приняла из рук феодаль-

ного, крепостнического общества хозяйство мало развитое. Крестьянство всегда было и по сей день еще остается в рабстве стихий: по сей день оно зависит от дождя и засухи, от циклонов, от бурь, от морозов, которые вот здесь заморозили значительную часть абхазской растительности, от болезней, от эпидемий... Буржуазная индустрия и буржуазная наука совершили колоссальные завоевания в области подчинения природы человеку. Но они совершили эти завоевания в интересах привилегированного меньшинства. Наша задача состоит в том, чтобы продолжить дальше культурную работу тысячелетий, т.-е., с одной стороны, поднять науку и технику до небывалой высоты, а, с другой — сделать ее не служанкой привилегированного меньшинства, а орудием в руках братски объединенных трудящихся масс. Нужно, чтобы полет стал безопасным и в то же время доступным для всех!

Я думаю, что вы, товарищи, найдете много способов и путей почтить память погибших борцов. Но наиболее достойный способ отдать и отдавать повседневно должное их памяти состоит в том, чтобы повторять себе: мы только в самом начале нашего великого коммунистического пути, не только наши воздушные, но и наши земные пути еще ненадежны, наши шоссе плохи, наводнения срывают наши мосты, много еще в этих прекрасных областях — невежества, болезней и бедности... Если, однако, трудящиеся массы Закавказья сумели взять в свои руки власть и сумели отстоять ее, то именно для того, чтобы обеспечить выполнение нашей основной работы: поднять материальную и духовную культуру народных масс, покрыть Закавказье прекрасными путями сообщения, поднять научную и техническую выучку молодого поколения, превратить общими силами этот одаренный природой край в цветущий сад. И в этом цветущем саду, если не мы, то наши сыновья и дочери воздвигнут лучшие, чем можем сделать сегодня мы, памятники нашим погибшим борцам: Мясникову, Могилевскому, Атарбекову.

«Правда» № 73,
31 марта 1925 г.

СКЛЯНСКИЙ ПОГИБ

Жизнь неистощима на злые выдумки. Кабель принес весть о гибели Склянского. Он утонул в каком-то американском озере, катаясь в лодке вместе с председателем правления акц. общества

«Амторг» Хургиным [143]). Один телефонный звонок за другим, — и тот же тревожный, недоумевающий вопрос, как бы заранее ждущий опровержения: «Вы слышали? — Погиб Склянский». Но опровержения дать нельзя, потому что весть, к несчастью, достоверна. Тела утонувших найдены.

В моем распоряжении немногим более получаса — перед деловой поездкой, которую нельзя отложить. О Склянском, с которым революционная работа так тесно связала меня, хочу и надеюсь рассказать подробнее. А сейчас лишь несколько бегло набросанных строк.

Впервые я увидел Склянского осенью 1917 года на одном из фронтовых совещаний. Совсем молодой военный врач, Склянский был одним из немногих, чуть ли даже не единственным большевиком на этом совещании. Он больше слушал, чем говорил. Он учился. Он уже тогда умел переводить речи и мысли на язык строго практических задач. Эта его способность выросла потом в крупнейший организаторский талант, который он проявил и в военном деле, и в хозяйственном. Очень молодым еще Склянский занимал чрезвычайно ответственный пост. Он стоял непосредственно у административного аппарата армии — и в какие годы! — в годы, когда армия формировалась в дыму и пламени непрерывных боев. Так как во всяком человеческом деле большое переплетается с малым, то приходилось иногда слышать, что у Склянского много честолюбия или властолюбия. Не знаю. Не замечал. То, что мне бросалось каждый раз снова в глаза, несмотря на нашу повседневную работу бок о бок, это неистощимый запас *трудолюбия*. С утра до вечера и затем с вечера до глубокой ночи он просиживал в своем рабочем кабинете за приемами, над докладами, штатами, сметами и приказами. В годы гражданской войны можно было позвонить к Склянскому в любое время ночи: он всегда был на посту, с воспаленными глазами, но ясным и спокойным рассудком. Несмотря на молодость, это был человек исключительно ровного настроения, питавшегося несокрушимой верой в нашу окончательную победу. Утрата городов, губерний, целых областей никогда не вызывала в нем ни малейших колебаний, а только заставляла просиживать лишние часы над расчетом сил и средств для возвращения утерянного. «Прекрасный работник», — говорил о нем десятки раз Владимир Ильич с тем особым вкусом, с каким он отзывался о преданных, стойких, настойчивых и добросовестных строителях...

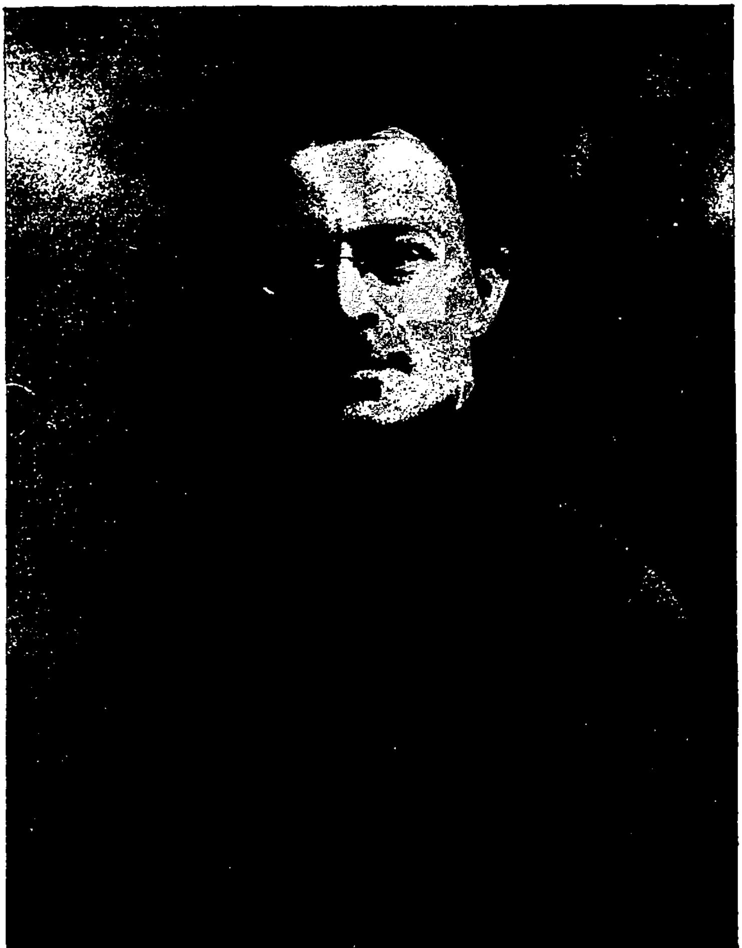
Мне надо кончать. В ближайшие дни я постараюсь досказать. Здесь остановлюсь лишь на последнем нашем свидании за день до отъезда Склянского за-границу. Он уже проделал к тому времени огромную работу как руководитель одного из крупнейших наших трестов (Моссукно). Я с интересом следил за этой его работой и по его собственным коротким репликам по телефону, и по отзывам других хозяйственников. Обычный отзыв был такой: «Хорошо работает Склянский». И вот он ходом своей работы подошел к необходимости посмотреть своими глазами постановку производства за-границей, ибо на очередь дня у него встало создание новых фабрик. Он просидел у меня перед отъездом не менее двух часов. Большая поездка в Европу и Америку радовала его. Он жадно хотел видеть, слышать, перенять, пересадить. В суконной промышленности он работал с той же сосредоточенной энергией и неутомимостью, с тем же организаторским талантом, как и в гражданской войне. Казалось, что этот человек только разворачивается, и что трехмесячная его хозяйственная экскурсия откроет в его строительской работе новую большую главу. Но борец, который так превосходно плыл по волнам Октябрьской революции, утонул в каком-то жалком американском озере. Погиб огромный опыт строительства, который сочетался с молодой, едва початой, творческой силой. Тяжкий удар для партии, для рабочего государства, — вдвойне тяжкий — для друзей.

«Правда» № 196,
29 августа 1925 г.

ПАМЯТИ Э. М. СКЛЯНСКОГО

(Речь в клубе Красных Директоров 11 сентября 1925 года)

Я бы хотел представить вам нечто более законченное и вместе с тем нечто более достойное памяти Эфраима Марковича, который был для меня не только товарищем и сотрудником, но и близким другом. К сожалению, условия и обстоятельства работы не позволили мне еще не только собраться с документами, но и собраться с мыслями, так как настоящий вечер явился для меня неожиданным. Я попробую, однако, хотя бы и в недостаточно связных чертах, набросать образ борца, который так неожиданно, так трагически был вырван из наших рядов.



Э. М. СКЛЯНСКИЙ

Склянский был человеком исключительным. Это ясно видели и понимали все, кто работал с ним бок о бок. Это чувствовали и широкие советские круги. Это признавали и люди иного мира, представители другого класса. Собираясь сюда, на наш вечер воспоминаний, я получил неожиданно для себя письмо из Германии от неизвестного мне текстильного деятеля, который пишет мне по поводу смерти тов. Склянского, незадолго перед тем проезжавшего через Германию и остановившегося там недели на две-три для ознакомления с германской текстильной промышленностью. Так вот, этот совершенно незнакомый человек, некто доктор Гирш (доктор означает в данном случае не врач, а окончивший университет), пишет мне: «С великим сожалением я узнал о внезапной гибели господина доктора Эфраима Склянского, и я считаю моим человеческим долгом выразить вам по поводу этой тяжелой потери свое искреннее сочувствие. Я имел великую радость вступить с господином Склянским в сношения, которые облегчили ему достижение цели его путешествия, предпринятого для ознакомления в Германии со всеми новыми достижениями, которые были бы полезны для русской текстильной промышленности. И в течение недели нашей совместной работы мы проводили время не только в деловых разговорах при переездах и осмотрах, но также и в частных беседах о самых различных вопросах. Из этих бесед я убедился, что встретил одного из самых значительных людей, каких я только встречал на своем жизненном пути. Я могу поэтому понять, как велика та потеря, которую вы испытываете», и пр.

Таково письмо случайного лица, человека другой среды, другого склада, человека, которому Склянский не «товарищ», а «господин». Вот впечатление, которое получил наблюдательный немецкий мануфактурист, встретившись со Склянским, так сказать, на одном из жизненных перекрестков. Такова была эта человеческая фигура, что, поставленная на любую работу, на любой пост, в любые условия, она обнаруживала, как сказано в письме, свою исключительную значительность.

Меня свела судьба со Склянским осенью 1917 года. Он был тогда молодым зауряд-врачем. Во врачи он вышел в 1916 году, в V царскую армию. Сведения об его более ранней жизни я получил только в последнее время от одного из близких покойному Эфраиму Марковичу лиц, так как в годы, проведенные в со-

вместной работе, было не до того, чтобы посвящать друг друга в подробности своих биографий.

Родился Эфраим Маркович в 1892 г. В нынешнему году, в августе, ему исполнилось 33 года — значит, он только подходил к полному расцвету своих жизненных сил. Он окончил гимназию в Житомире, идя все время первым. В университете учился в Киеве, принимал участие в революционной жизни студенчества. Был марксистом, с 1913 года определенно примкнул к большевикам. Во время войны стоял на большевистской позиции, был непримиримым противником оборонцев. В V армии стал средоточием подлинно революционных элементов, наиболее видным большевиком, завоевал большое влияние, был, если не ошибаюсь, представителем армейского комитета на одном из питерских совещаний в 1917 году, — точно, впрочем, не могу сказать, был ли он делегирован от корпуса или от армии. На военном совещании, где он был одним из немногих большевиков, он обращал на себя внимание спокойной уверенностью, краткими репликами, саркастическими взглядами по адресу ораторов школы Керенского, которыми изобиловала тогда трибуна. Двадцатипятилетний Склянский был уже вполне законченный и зрелый революционер-большевик, который прекрасно разбирался и в общей политической обстановке, и в труднейших условиях фронтов того времени, когда на верхах большевики составляли небольшую кучку, а в низах стихийное большевистское настроение нарастало, но не находило еще политической оформленности. Уже дело ставилось в партии на рельсы подготовки будущего восстания, и со Склянским руководившие петроградские товарищи говорили, как с одним из надежнейших организаторов восстания.

Естественно, что после переворота Склянский попал из царской армии в революционную, — тогда была создана первая коллегия Народного Комиссариата по военным делам. После моего перехода на эту работу я с ним познакомился теснее и и ближе, и могу сказать без тех преувеличений, которые допустимы в речах, посвященных памяти погибших товарищей и друзей, — могу сказать, что за все годы работы, встречаясь с ним с небольшими перерывами ежедневно, ведя с ним по телефону деловые разговоры по нескольку раз в день, чувствовал, что мое уважение и любовь к этому несравненному работнику росли изо дня в день. Это была превосходная человеческая машина, работавшая без отказа и без перебоев. Это был на редкость дарови-

тый человек, организатор, собиратель, строитель, каких мало. Да, талантливость организатора широкого масштаба, связанная с деловой уверенностью, с выдержкой, со способностью отдавать свое внимание мелочам повседневной кропотливой работы, — это встречается не часто. Между тем именно это сочетание большого творческого размаха со способностью сосредоточения на мелочах, сочетание таланта с трудолюбием — это и создает настоящих строителей, и одним из лучших представителей этого типа в наших рядах был Э. М. Склянский.

Можно подумать, что этот вчерашний юный студент сразу родился государственным человеком крупного масштаба. Оглядываясь назад и представляя себе всю обстановку того времени, приходится только дивиться всей упругости и гибкости человека, который со студенческой скамьи из провинциального украинского города попадает на фронт, а с фронта в Народный Комиссариат по военным делам, где, с одной стороны, заведывали стихийно распадавшейся и разлагающейся старой армией, а, с другой — приступали к созданию новой. Тут, наверху, было большое количество старых спецов, в среде которых производилась работа тщательного отбора — привлечения одних, отстранения других. Вот эта-то работа с самого же начала была в огромной степени работой Эфраима Марковича. На работе строительства он сразу поднялся и сразу же сумел внушить к себе доверие и уважение своей деловитостью, своей проницательностью, своей твердой рукою, своим метким глазом. Я бы сказал, что у него был подлинно «хозяйский глаз», — конечно, не в старом собственническом смысле, а в новом социалистическом, — глаз делового, заботливого строителя, который со всех сторон охватывает порученную ему область хозяйства, взвешивает обстоятельства, расценивает людей, знает, кого куда поставить, а кого и отстранить. Организационная выдержка, понимание схемы организации и метода работы, умение оценить человека, понять, на что он способен, деловая твердость, всегда готовая отстранить непригодного работника, — таков Склянский. Эта твердость со стороны могла казаться иной раз жестокостью, но была только высшей деловитостью. Разве не таков дух пролетарской партии? Дело выше лица и лиц. Склянский, лично очень внимательный товарищ, умел всегда подниматься выше личных соображений, хотя бы и самых почтенных, умел быть суровым там, где этого требовало дело.

Я никогда не видел Эфраима Марковича в смятении или растерянности; тем более не видел я его никогда в испуге или панике, а между тем за все годы гражданской войны он был тем средоточием, где собирались прежде всего все сведения, донесения, рапорты о всех злоключениях и бедствиях на наших фронтах. А вы знаете, что таких злоключений было немало. Был период, когда казалось, что все рушится, рассыпается, что почва исчезает из-под ног. А Склянский непоколебимо сидел у телефона, принимал донесения, рапорты, сносился по прямому проводу, запрашивал, приказывал, проверял, верша свое для внешнего мира мало заметное, но огромное дело. В любое время дня или ночи (тогда ночь мало чем отличалась от дня) можно было позвонить по кремлевскому проводу: «Дайте Склянского»,— и Склянский всегда своим осипшим от переутомления голосом давал последние справки о том, как обстоит дело на таком-то фронте, — кратко, деловито, точно. Сколько раз, когда мне приходилось бывать у него или у Владимира Ильича — сколько раз при мне Владимир Ильич вызывал Склянского по телефону, чтобы узнать, что делается в Архангельске или на Западном фронте, под Вильной, или за Уралом, — и Склянский всегда с безошибочной точностью (у него была исключительная память!) давал последнюю информацию, называя числа и даты, потери или трофеи, — а было время, когда одно перемежалось с другим. Он всегда стоял в самом средоточии той партийно-советской машины, которая строила нашу армию, которая подправляла ее после потерь, которая правильностью своей работы обеспечивала ее устойчивость и победы. История это так и запишет за ним.

Я перебирал сегодня, вернее, бегло перелистывал в течение десяти-пятнадцати минут тетради, в которых переписаны записки Владимира Ильича к Склянскому и записки Склянского Владимиру Ильичу (оригиналы этих записок сданы в Ленинский институт). Дух той эпохи живет в этих беглых случайных записках. Происхождение их в общем таково: на заседании СТО или на заседании ЦК партии, куда вызывался Склянский, Владимир Ильич посылал ему записку в две-три строчки, которая, резюмируя самую сущность положения данного момента, требовала того или иного ответа. И часто на той же самой бумажке Склянский отвечал и опять получал от Владимира Ильича какой-нибудь дополнительный запрос. Сами по себе эти записки ярко отражают

природу их отношений. Я беру наугад одну или две из этих записок, — они все одинаково характерны в своей яркости и простоте. Вот, например, записка от 24 апреля 1919 года. Ленин пишет Склянскому: «Надо сегодня дать за вашей и моей подписью *свирепую* телеграмму и главштабу и начзапу, что они обязуются развить *максимальную* энергию и *быстроту* во взятии Вильны». Ответа нет, очевидно, он был написан на другой бумажке, которая затерялась. Насчет бумажек, как и насчет всего прочего, Владимир Ильич был очень экономен, бумажку вырезывал в квадратный вершок, писал на ней мельчайшими буквами, оставляя место для ответа, а потом еще и свободный уголок заполнит новым вопросом. Вот другая записка Ленина Склянскому от 26 апреля: «Надо вам: 1) дать сегодня телеграммы об экстренных мерах помощи Чистополю в Реввоенсовет *востфронта* и *6-ю армию;* 2) самому поговорить сегодня по прямому проводу с востфронтом» (написано рукой тов. Ленина). «Лучше, если вы сейчас напишете телеграмму «такому-то» (написано рукой тов. Склянского). «Говорили с Рудзутаком?»[144]) (написано рукой тов. Ленина).

Вот еще одна очень характерная переписка. Повод ее таков: в Черном море к нашему берегу подходил близко иностранный миноносец без спроса и разрешения, потом ушел. Он не был нами обстрелян, — возможно, что наши береговые пушки не были достаточно сильны, а возможно, что не решились, или прозевали. Владимир Ильич написал на бумажке Склянскому: «Почему мы не обстреляли миноносец?» Ответ Склянского: «Вне сферы нашей досягаемости». Записка Владимира Ильича: «Надо по телеграфу передать такому-то и велеть подтянуть *сугубо*» (слово сугубо подчеркнуто). Что это значит? Склянский пишет на основании доклада из Одессы: «Вне сферы нашей досягаемости». А Владимир Ильич не весьма доверяет этому докладу, думает: знаем мы вашу недосягаемость, наверное, прозевали, отсюда приписка: «подтянуть сугубо». Таких записок немало. Это — осколки деловых повседневных связей и переговоров. Есть целый ряд телеграмм, написанных рукой Склянского на фронт и надписанных рукой Владимира Ильича. Это значит, что когда нужно было на фронте где-нибудь нажать, или, наоборот, воодушевить, или о чем-нибудь важном сообщить, или, наоборот, потребовать объяснения, то Владимир Ильич звонил Склянскому, или, наоборот, Склянский звонил Владимиру Ильичу. Склянский

составлял телеграмму, Владимир Ильич поправлял и подписывал, и телеграмма свое действие на месте производила безошибочно. Такое постоянное и тесное сотрудничество между Владимиром Ильичем и Склянским само по себе уже бросает свет на фигуру Эфраима Марковича. Не раз, а много раз приходилось по разным поводам слышать от Владимира Ильича восторженный отзыв о Склянском: «Прекрасный работник!» Это он говорил о нем особенно в те трудные времена, когда Склянский находился в самой сердцевине военно-административного аппарата. Свои впечатления от работы Склянского, от энергии его, неутомимости, находчивости и четкости, от его деловой правдивости Владимир Ильич выражал двумя словами: «Прекрасный работник!» И этот отзыв переймет история.

В последний период своей работы — на хозяйстве — Эфраим Маркович оставался тем же, каким был в годы гражданской войны. Он внес в область своей новой работы те же качества проницательности, воли, дисциплины, трудового энтузиазма, огромный организаторский талант, беспредельную преданность партии и рабочему классу, — и все это с еще более высоким коэфициентом накопленного опыта и выросшей творческой личности.

Он выражал мне как-то сожаление, что ему не удалось начать работу в области хозяйственной с поста красного директора, что он сразу попал председателем треста, не имея того предварительного опыта, который мог бы получить непосредственно на фабрике. Но он старался докопаться в новом деле до дна. Он возглавил трест Моссукно в тот период, когда торговые операции стояли, до известной степени, над производственными, когда все увлекались вопросами сбыта и оборота и еще почти не подходили к вопросам более правильной, более рациональной постановки самого производства. После назначения его председателем треста я нередко разговаривал с ним, преимущественно по телефону, о промышленных делах, — и на все вопросы получал, как всегда, краткие и яркие ответы, характеризующие ту или другую сторону дела, — и на этих ответах я лично многому учился.

Склянский был у меня в последний раз накануне своего отъезда в Америку, и мы провели с ним в беседе, должно быть, часа три. В нем все дышало жаждой увидеть и услышать зарубежный мир, — в сущности, он совершал свое первое путешествие за-границу, — и я был глубоко уверен, что этот человек вернется из путешествия более обогащенным внутренне, чем всякий дру-

гой, что он сумеет там увидеть то, что нужно увидеть, научится тому, чему нужно научиться, принесет нам то, что нам нужно, чтобы усилить нас в области хозяйства и культуры. Но не сбылось. Переплыв океан, он утонул в озере. Выйдя невредимым из Октябрьской революции, он погиб на мирной прогулке. Такова предательская игра судьбы. И вот мы в трауре склоняемся перед памятью его...

Не потому только мы его высоко ценим, что он был наш, нет, не только поэтому. Его высоко ставили и люди другого лагеря. Не заботясь о том, он всегда показывал свой настоящий рост и тем, для которых он был чужим, для которых он был врагом. Тем более он дорог нам. Тем тяжелее утрата. Тем острее скорбь.

Поправить нельзя. Жизнь разрушена. Но тем сильнее хочется закрепить в памяти старшего поколения и в сознании младшего, хочется сохранить для будущих поколений этот прекрасный молодой героический образ столь богато одаренного борца. Говоря ему с болью и скорбью «прости, Эфраим Маркович», хочется вместе с тем с благодарностью прибавить: он был среди нас, он был наш, он работал с нами, боролся за то дело, которое объединяет всех нас, он — наш товарищ и друг — Эфраим Маркович Склянский.

«Правда» № 217,
23 сентября 1925 г.

ПАМЯТИ М. В. ФРУНЗЕ

(Речь на траурном заседании, посвященном памяти Михаила Васильевича Фрунзе, в г. Кисловодске 2 ноября 1925 г.)

За последние годы удар следует за ударом, образуя в рядах передовых борцов советской страны одну брешь за другой. Последний удар — один из тягчайших — поразил нас 31 октября. Около трех часов пополудни я получил из Москвы от т. Сталина телеграмму, которая заключала короткий, но страшный текст: «Фрунзе скончался сегодня от паралича сердца». Я знал, как и все вы, или, по крайней мере, многие из вас, что т. Фрунзе болен,— но кто же из старшего поколения революционеров здоров? — и каждый из нас думал, что болезнь его преходящая, что он вернется к своей ответственной работе. И вот— грозная телеграмма, которую несколькими часами позже, в более пространном виде, получила вся страна, весь Советский Союз.

И так же, как многие из вас, я держал в руках клочок бумаги с траурной вестью и старался вычитать не то, что там было написано, а нечто другое, менее грозное, менее безнадежное. Но текст не поддавался толкованиям, как и тот страшный факт, который в нем сообщен, не может быть — увы! — ни оспорен, ни отменен. Михаила Васильевича Фрунзе не стало, ушел навсегда один из храбрейших, из лучших, из достойнейших, и завтра революционная пролетарская Москва будет хоронить почившего борца на Красной площади. Первое чувство было — туда, в Москву, где протекала работа Михаила Васильевича за последний период, чтобы отдать ему последнюю дань, в рядах его ближайших соратников и друзей. Но в субботу и в воскресенье поезда в в Москву не было, а тот, что ушел сегодня, придет в Москву слишком поздно. Но все равно, товарищи, не одна Москва, а весь Советский Союз сегодня в трауре, склонив головы и знамена, отдает дань уважения и скорби памяти славного борца. И здесь, в Кисловодске, мы объединены одним горьким чувством, одной скорбной мыслью, которые сливаются с мыслями и чувствами всего рабочего класса и его руководительницы, коммунистической партии, потерявшей одного из лучших своих сынов.

Молодым студентом примкнул Михаил Васильевич к делу рабочего класса. В Иваново-Вознесенске протекала его работа в дни первой революции (1905 года) и в последовавшие затем тяжкие и мрачные годы реакции. Личная отвага уже тогда отмечала этого из ряда вон выходящего молодого революционера. Он стрелял в пристава, который принимал участие в насилиях над иваново-вознесенскими рабочими, и этот акт, вместе со всей остальной его работой, привел Михаила Васильевича в 1907 г. на каторгу, где он провел в тягчайших условиях, подорвавших его здоровье, долгий ряд лет. Только в 1915 году он выходит на поселение.

Условия каторги надломили его здоровье, но не сломили его духа: он вышел из ворот каторжной тюрьмы тем же, каким вошел, твердым, несгибающимся революционером-большевиком.

Революция 1917 года застает его в том же Иваново-Вознесенске. Он снова в среде рабочих-текстилей. Он агитатор, он организатор, он боевой руководитель. Вокруг него собираются ряды в славные дни Октября 1917 г. Всего семь дней не дожил Михаил Васильевич до восьмой годовщины Октябрьской победы!

После Октября Фрунзе отдает свои исключительные силы, главным образом, организации обороны советского государства. Он работает как руководящий военный комиссар Ярославского военного округа, из молодых рабочих-текстилей он создает первые крепкие, сколоченные регулярные части.

Гражданская война охватывает кольцом страну, и Михаил Васильевич является в Москву, стучится в дверь Центрального Комитета и требует отправки его на боевой фронт гражданской войны. И вот он на Востоке, в боях против Колчака. Он командует армией, он — бывший студент-революционер, каторжанин, который не прошел военной выучки, — оказывается во главе одной из революционных армий, при сомнении одних, при недоверии других, при естественном вопросе у всех: справится ли? Но он справился, и с честью, и со славой. Вскоре он становится во главе группы из четырех армий. Помню, с какой любовью и гордостью пропускал он на смотру, кажется, в Самаре, полк иваново-вознесенских текстилей. «Эти не выдадут!» И они действительно не выдали...

В области Войска Уральского, затем в Туркестане, затем в Бухаре проходят пути, по которым водил свои революционные полки М. В. Фрунзе. И у армии, и у партии, и у Центрального Комитета сложилось уже тогда твердое мнение: где трудно, где на фронте неустойка, где требуется из рук вон выходящее мужество, крепкая воля, быстрый глазомер, — туда послать Фрунзе. И вот он на Украине руководит боевыми действиями против последнего крупного вооруженного врага, против Врангеля. Достаточно назвать одно географическое наименование, чтобы оно ярким пламенем славы озарило имя М. В. Фрунзе: это слово — *Перекоп*! В страницах героической борьбы Красной армии оно горит немеркнущей зарницей героизма и, вместе с тем, правильной, методически проведенной подготовки.

Ибо две черты одинаково характеризовали этого полководца. Прежде всего — личная храбрость, которая необходима каждому воину, все равно, рядовой ли это солдат или такой, который ведет в бой полки, отряды и армии. Личная храбрость отличала Михаила Васильевича, как революционера и как солдата, с головы до ног. Он не знал, что значит смятение души перед лицом врага и опасности. Он был в огне — и в жарком огне — не раз, и вражья пуля, которая иной раз не щадила лошади под ним, щадила его самого. Но полководцу личной храбрости мало.

Ему нужно мужество решения. Перед лицом врага, когда от решения зависит столь многое, естественны сомнения: каким путем ударить? какой способ избрать? как сгруппировать силы? наступать ли сегодня или выждать? наступать ли вообще или отступать? Есть ведь десятки возможных решений, и между этими решениями колеблется мысль, отягощенная ответственностью. Фрунзе умел спокойно и трезво обдумать, выслушать и взвесить. Взвесив — твердо выбрать. А выбрав — довести до конца. У него было мужество решимости, без которого нет военачальника, нет полководца. И он непосредственно обеспечил нашей стране блестящую победу над Врангелем. Имя Фрунзе, наряду с другим именем — Перекоп, навсегда останется в памяти людской, как прекрасная революционная легенда, в основе которой лежит живой исторический факт.

Фрунзе руководит затем организацией военных сил на Украине, которую он очищает от бандитизма, сочетая политическое проникновение с военным ударом. Затем Михаил Васильевич переводится партией в Москву, где ставится во главе Красной армии и Красного флота. И все мы вправе были ждать, что здесь его исключительные силы и дарования развернутся в полном объеме. Но не сулила жестокая судьба. Кто прошел через испытания каторги, кто прошел невредимым через огонь гражданской войны, кто не раз, не два, где этого требовала революция, ставил свою жизнь на поле брани ребром, — тот пал под ударом судорожного сокращения небольшой мышцы, которая называется человеческим сердцем. Эта мышца — мотор нашего организма. И тот, кто сам был могучим двигателем революции и армии, пал, неожиданно сраженный, когда его внутренний двигатель, сердце, оказался парализованным навсегда.

И вот завтра, товарищи, будет Красная Москва хоронить М. В. Фрунзе. И мы, здесь собравшиеся, как и многие тысячи, сотни тысяч и миллионы во всем нашем Союзе, — объединяемся с Москвой в общем горьком чувстве невозвратной утраты. Трудно искать в эти часы слов утешения, да и нет и не может быть утешения личного, потому что исчезла, ушла навсегда героическая человеческая личность, которой не вернешь, товарищи, которой не вернешь... Но мы не только горюем и оплакиваем славного соратника. Как революционеры, мы думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. И если нет утешения личного в утрате героической человеческой личности, то есть утешение общее,

коллективное, утешение политическое в глубоком сознании того, что дело, которому от молодых годов и до последнего биения своего больного сердца служил, день за днем, М. В. Фрунзе, что это дело торжествует, и что те траурные знамена, которые склонятся завтра над могилой усопшего, не выпадут из твердых рук победоносного рабочего класса. Есть утешение в том, что Красная армия, в рядах которой, а затем и во главе которой покойный работал, боролся и служил делу пролетариата, — что эта армия растет, сплачивается и готова отразить попрежнему — и лучше прежнего — возможные удары врагов. Да, есть утешение в том, что дело, которому служил Михаил Васильевич Фрунзе и от которого его оторвала жестокая насильница — смерть, что дело это бессмертно. Оно пройдет из народов в народы, оно пройдет из веков в века, и всюду, где наши отдаленные потомки будут вспоминать о героической борьбе пролетариата, они будут с благодарностью, с уважением, с любовью называть того, кого завтра Москва собирается провожать в последний путь. Склоним же наши знамена и наши отягченные горестью сердца перед памятью борца и скажем: прощай, героический воин Октябрьской революции, прощай, славный военачальник Красной армии, прощай, Михаил Васильевич, незабвенный боец, бесстрашный революционер — прощай навсегда!

А мы, оставшиеся, и на этот раз сделаем то, что революционерам надлежит делать в часы тягчайших утрат: теснее сомкнем ряды, чтобы скорее заполнить брешь. Ушел человек большого размера — двух, трех, пять поставим, но брешь заполним. Ибо борьба не знает остановки. Ибо партия, потерявшая одного из самых отважных своих знаменосцев, поведет рабочий класс вперед, к новым боям, к новым жертвам, и понесет народам всего мира то знамя, под которым славно жил и славно боролся героический воин революции Михаил Васильевич Фрунзе.

«Известия» № 259,
13 ноября 1925 г.

Приложения

Приложение № 1

Манифест австрийских интернационалистов

(Интернационалисты Австрии к интернационалистам всех стран)

Голос правды задушен в Австрии постыдным образом. Народы этого государства прозябают, не имея ни малейшей возможности дать выражение своему отчаянию по поводу все возрастающей нужды и безмерного угнетения. Свобода никогда не чувствовала себя в Австрии, как у себя дома, но во время войны создались обстоятельства, которые обычно знаменовали только работу кровавого царизма. *Бесследно уничтожена конституция, свобода мнений устранена, не ограничен в своей работе палач.* С ужасом узнает когда-нибудь цивилизованный мир, как правосудие в Австрии не только унизилось до роли военной машины в самой стране, но и превратилось в публичную женщину, доступную каждому оттенку политической реакции. Тайное отправление правосудия объявляется необходимостью, дабы задушить самое робкое движение политической критики. Целая армия цензоров выпущена против прессы. Они организованы в качестве тайного сообщества, ибо от последнего прокурора и до министра юстиции они все слишком трусливы и жалки, чтобы взять на себя открыто личную ответственность за все вероломство и за весь идиотизм их полуночных деяний.

Бешенство против печатного слова достойно дополняется угрозами тюрьмы и виселицы, самые чудовищные юридические убийства стали повседневным, бытовым явлением. Мы не хотим говорить о длинной серии суммарных приговоров, которые на основе призрачных улик обрушили на головы чешских граждан — только на том основании, что в их руках оказался один из сме-

хотворных «освободительных» манифестов царя. Мы хотим лишь указать на то, каким преследованиям обречена даже самая невинная попытка выражения мыслей. Немецкий социал-демократ Лангер во Фридвальдау переписал стихотворение в честь мира, которое беспрепятственно появилось в австрийских буржуазных газетах, воспроизвел его на гектографе и разослал нескольким знакомым. Он был приговорен *к смерти через повешение*, затем по особой милости наказание заменено было ему 5 годами каторжных работ. Так выглядит эта Австрия, и поистине невозможно отрицать, что она прямо-таки создана для борьбы против царизма.

У нас в Австрии господствуют в настоящее время без всякого ограничения русские порядки. Они не приобрели, правда, всемирной огласки, но только потому, что нам нехватает необходимого дополнения царизма: эмиграции. Голос правды в Австрии задушен, и он до сих пор не бежал еще за-границу. Но позор всякого унижения имеет, в конце концов, свои границы, и мы, *оставшиеся верными Интернационалу социал-демократы Австрии, поднимаем наш голос*, дабы сообщить нашим братьям в других странах о том бессилии, на которое нас осуждает тюрьма, именуемая нашим отечеством, дабы засвидетельствовать перед ними, что мы твердо решились пользоваться каждой возможностью в интересах освободительной борьбы пролетариата, что мы вместе с ними хотим оставаться честно на своем посту, которым был и будет для нас — *боевой фронт классовой борьбы*. Мы знаем, как много в разных местах нашей страны товарищей рабочих и работниц чувствуют так же, как и мы, и как много есть там, в земляных окопах, таких, для которых наши слова будут подлинным облегчением. Но вместе с тем мы не переоцениваем степени сознательности масс, ибо, как ни презренна является эта Австрия для всех слоев населения, как ни смеется и ни издевается над нею каждый чиновник, который является ее орудием, как ни мало готовы нации и классы отождествлять себя с этим черно-желтым государством;—мы тем не менее слишком хорошо знаем, к несчастью, какие массы населения способны еще в тупом отчаянии, молча, переносить всякие деяния насилия. Австрийцы привыкли к абсолютизму, и им, как и всем рабам, нехватает доброй доли чувства стыда. Поистине, по отношению к ним в настоящее время можно решиться на все. У нас фабрикуют «патриотическое воодушевление» — по потемкинским образцам. Начиная с министерств

и кончая агентами полиции, все государственные учреждения объединились в качестве одной банды вымогателей. Богемия является особенно излюбленным полем их деятельности. Там они вымогают принятие верноподданнических адресов, в газетах вымогают опубликование рекламных статей в пользу военных займов, вымогают вывешивание черно-желтых флагов над домами. Бесчестие этой банды уступает только ее глупости, которая позволяет ей думать, что все эти бесстыдства останутся тайными и неотомщенными.

Они довели в настоящее время Австрию до могильной тиши. Но наступит время, когда не только весь цивилизованный мир, но и народы Австрии сами заклеймят методы этого низкопробного государственного искусства полной мерой презрения, ибо если мы сейчас выступаем со слабыми средствами, то, в конце концов, удастся все же выполнить тот долг, который предначертал нам Маркс: «Необходимо наличный гнет сделать еще более чувствительным, присоединив к нему сознание гнета, позор — еще более позорным, сделав его публичным достоянием».

* * *

Всеми силами души мы ненавидим смертельного врага народов — царизм, но не менее ненавидим мы кровавого недруга народов, наше черно-желтое варварство. Мы знаем, что вместе с войсками царя белый террор вошел бы в наши земли, но мы знаем не хуже, что если нынешние австрийские властители выйдут победителями из войны, мы вступим в период такого террора в нашей собственной стране, какого мы еще никогда не испытывали. С подобными планами носятся имущие классы. Они, выступившие под боевым кличем «долой царизм», заботятся только о том, чтобы подольше укрепить в Австрии позорище абсолютизма. Они выступили, чтобы «освободить Польшу», а теперь они только и говорят о том, чтобы ставшую габсбургской Польшу поставить под железный кулак военной диктатуры. Поляки будут освобождены от необходимости посылать своих представителей в Думу, и они взамен этого должны будут видеть свое счастье в том, что поляки Галиции будут лишены всех политических прав. И как на севере, так же и славяне юга должны насладиться всеми благословениями австрийской диктатуры. И в центральной части Австрии то же самое: правящее безумие, которое при помощи подавления народов губит и разрушает это госу-

дарство национальностей, надеется там справлять свои величайшие оргии. Ему, этому безумию, момент покажется благоприятным, чтобы в Австрии учредить надолго деспотию немцев, а в Венгрии — деспотию мадьяр. Чехи и украинцы, итальянцы и словены, «патриотизм» которых оказался недостаточным, должны быть при помощи новых ударов поощрены на пути любви к отечеству.

Перед лицом этой потрясающей действительности и этих еще более потрясающих планов будущего мы твердо стоим на почве того убеждения, которое социал-демократия всегда стремилась внушить властителям: *Австрия будет существовать как демократическое федеративное государство национальностей, или она не будет существовать вовсе.*

Черно-желтая камарилья может упиваться фантазией, будто тот кнут, которым она правит народами во время войны, может быть удержан и для времени мира. Немецкая буржуазия может питаться безумной идеей, будто наступил, наконец, момент подчинить своей власти — с помощью германского союзника — поднимающиеся нации этого государства. Вся эта политика угнетения может вести только к полнейшему разложению и распаду этого сложного государственного образования. Правящие в Австрии никогда ничему не научались из истории, и они и впредь не хотят ничему учиться. Об этом свидетельствуют те планы, которые все еще видят в Австрии собственность династии, а не обиталище народов. Австрии можно помочь только путем решительного низвержения господствующей системы, путем полной победы национальной автономии и демократического самоопределения.

Мы, австрийцы, лишены примитивнейших прав. Мы не имеем их во *внутренних* делах и еще менее — во *внешних*. Мы, в стране которых было совершено преступление непосредственного почина войны, был приложен фитиль к пороховой бочке, мы получили убедительнейшее поучение насчет характера конституционного порядка нашей внешней политики.

Тот бессовестный цинизм, который сфабриковал постыдный ультиматум Сербии, не был бы никогда возможен, если бы подобные решающие дипломатические шаги должны были проходить через контроль парламента. Мы по крайней мере, несмотря на все разочарования, которые мы пережили, еще и сегодня убеждены, что такое решение могло бы быть принято только через трупы социал-демократических депутатов.

Мы, австрийцы, *совершенно* лишены конституции, но мы не забываем, что и во всей остальной Европе она существует только *наполовину*. Повсюду еще сохраняется позорное положение — независимость внешней политики от парламентаризма. Повсюду еще важнейший вопрос судьбы народов, вопрос о войне и мире, остается в распоряжении кучки безответственных дипломатов и монархов.

С этого абсолютизма, к сожалению, не была в начале войны сорвана маска. Парламентская комедия, к которой был допущен народ — в то время как война зачиналась через его голову,— удалась блестяще. Представители рабочего класса приняли в ней в большинстве случаев участие. Вместо того чтобы установить ответственность и отклонить всякое сотрудничество в парламенте, который был поставлен перед совершившимся фактом, они спустились до того, чтобы создавать ширмы абсолютизму.

Им как бы не приходило в голову, что в это время уже вообще не существовало парламента, что с начала войны он был низведен на роль демонстративного собрания на службе абсолютистского режима. В свежем воспоминании о новой габсбургской шляпе Геслера *), предназначенной для Сербии, мы с удвоенной силой чувствуем, что для пролетариата не может быть никакого мира с монархической системой. И если она в иных странах и превратилась для внутренних вопросов в пустую форму, то для внешних она все еще остается сильнейшим оплотом абсолютизма. Непреклонная борьба за демократическую республику является повелительным политическим долгом международного социализма. При всех наших будущих действиях и требованиях на переднем месте должно стоять: демократический контроль над внешней политикой, решение самим народом вопросов войны и мира.

Во внешней, как и во внутренней, политике все внушает один лозунг: *никакой солидарности с царящей в Австрии системой!* И тем не менее вожди австрийской социал-демократии не сумели стать на этот путь. Поэтому их политика «держаться до конца» на стороне имущих классов была воистину политикой страуса. Они должны были насильственно закрывать глаза перед австрийской действительностью. Они игнорировали царизм у себя дома, чтобы с воодушевлением бороться против него в России, они

*) Шляпа, которой требовал поклонения габсбургский наместник Геслер в Швейцарии.

заглушали в себе сознание черно-желтой провокации к войне, чтобы тем больше разговаривать о «вынужденной обороне немецкого народа».

Поэтому вообще не существует какой-либо общей точки зрения в австрийской социал-демократии. В ней имеются патриоты всех оттенков, от бешеных немецких националистов и до истинных черно-желтых государственников. «Рабочая Газета» была местным столкновением этого хаоса тенденций. Правда, после краткого опьянения войною, она основательно устала и довольно ясно выражала свою тоску по миру, она вела также упорную партизанскую войну против подвохов цензуры, но ее политика оставалась тем не менее неизменно в границах верноподданнейшей оппозиции. Ибо нельзя одновременно «держаться» в войне и возбуждать против нее. А патриотизм оставался для нее во время войны выше социализма.

Война стала делом партии, обеспечение возможности «держаться» превратилось в единственную партийную задачу. *Политическая партия превратилась в филантропическое общество большого стиля*. Мы не отрицаем успехов этой работы по оказанию помощи. Но она не может заменить *политическую* функцию социал-демократии. Вместо того чтобы обличать существующую систему и возлагать на нее ответственность, все усилия были сосредоточены на том, чтобы «заступаться» в отдельных случаях. Та особая австрийская политика, которая хочет, чтобы в партии видели *помощницу*, а не *обвинительницу*, та политика, которая хочет *удовлетворить* массы маленькими успехами, вместо того чтобы указать им на истинные причины их *недовольства*, политика, которая порождает нищенскую психологию, вместо того чтобы учить социалистическому мышлению, эта политика оказалась всецело господствующей. Результат: этим путем поддерживали правящих, стараясь помочь им преодолеть свою неспособность, прикрывали господствующую систему собственной репутацией, брали на себя ответственность и пожинали недовольство, которое уже не раз направлялось против партии, а не против истинных виновников.

Абсолютизм, опирающийся на § 14 конституции, избавил социал-демократических депутатов от затруднительной задачи голосования по поводу военных кредитов. Мы не знаем, взяли ли бы они действительно, ввиду преступной австрийской провокации, на себя позор соучастия преступлений. Но мы знаем,

что подавляющее большинство их восторгалось политикой фракции германского рейхстага. Австрийская социал-демократия начисто отказалась от собственной политики, она тащилась в хвосте немецкой. И таким образом вся скорбная история немецкой социал-демократии, начиная с 4 августа, стала одновременно и историей нашей партии.

Лозунг классовой солидарности в устах австрийской социал-демократии звучал самой горькой насмешкой. Но не только с чисто австрийской точки зрения, но прежде всего как интернационалисты, осуждаем мы политику, которая принижает социал-демократию до роли прислужницы войны. Мы—так же мало милитаристы, как и пацифисты. Мы не апеллируем к насилию, но мы и не избегаем его. Наш метод — это не война, а революция. Международные социалистические конгрессы ясно заявили, что когда механизм мобилизации приходит в движение, то наступают самые неблагоприятные условия для политической акции пролетариата. Они никогда не обманывали себя надеждой, что можно будет помешать взрыву войны при помощи насилия. Свои надежды они возлагали не на международную революцию против войны, а на революцию в отдельных странах после войны. Они указали на то, что следствием немецко-французской войны явилась коммуна, а следствием русско-японской войны — революция в России.

Интернационал не чувствовал в себе силы и не мог поэтому даже сделать попытку помешать набору солдат и взиманию налогов. Но должна ли была поэтому социал-демократия опуститься до роли орудия ведения этой войны? Правда, что это война, которую правящие классы всех стран надеются превратить в завоевательную для народов, на которых она лежит таким тяжелым гнетом, превратилась в борьбу за существование, чтобы не быть стертыми с лица земли. Эта крайняя необходимость заставляет их итти на службу к воинствующему империализму, от нее они не избавятся, пока длится война.

Эта борьба за существование не есть ни причина, ни цель войны, она вытекает из ее механики. Это не политическая борьба народов, а форма, в которой находит себе выражение политический метод господствующего класса.

«Борьба за существование» может поэтому служить увлекающим призывом в устах руководителей этой войны, но она не может являться составной частью социал-демократической

политики. Народы вынуждены вести борьбу за существование, но социал-демократия теряет право на существование, если она превращается в орган ведения войны.

Народы стараются продержаться в этой войне и ничего другого не могут сделать. Но должна ли с.-д., как политическая партия, рекомендовать такую политику! «Держаться до конца», — ведь это значит *страдать до конца*, *голодать до конца*, *убивать до конца*. Народы стараются «держаться», и им ничего другого не остается. Но с.-д. должна превращаться не в герольда этой нужды, а в ее обвинителя: она должна обличать капиталистическое общество, обличать господствующую систему, обличать виновных, обличать вся и всех, которые несут ответственность за то, что народ осужден на эту горькую необходимость «держаться». И если с.-д. должна довести что-нибудь до конца, то не войну, а *свою* политику.

* * *

Господствующие классы ведут войну за раздел земного шара, за господство над миром. К теории, которая доказывает, что пролетариат должен помогать империалистам своей страны, чтобы таким образом увеличить и свою долю добычи в этой войне, мы можем относиться только с презрением. Ужасно и то, что рабочий класс в этой войне служит орудием империализма, и мы должны были бы отказаться от всякой надежды на лучшее будущее, если бы пролетариат еще унизился до роли его соучастника.

Цели, выставляемые в этой войне, являются целями господствующих классов. Нашей целью является не мировое господство той или иной касты, а мировое господство международного пролетариата. Как бы ни разделил теперь империализм весь мир, задачей социализма остается завоевание этого мира. Если империалистический лозунг апеллировал к самым худшим инстинктам в пролетариате, то боевой клич «долой царизм» призывал к его высшим идеалам. Вся ненависть и все презрение, которые накопились в душе австрийского и германского пролетариата к террору кровавого Николая, вспыхнули ярким огнем в самом начале войны. Революционного порыва, нашедшего себе тогда выражение, мы не отрицаем, но мы знаем, что пролетариат стал политической жертвой организаторов войны. Прусские генералы и тайные советники, по своей специальности далеко не «антицаристы»,

с холодным расчетом выбрали этот лозунг, на который дали себя поймать социал-демократические массы.

Ни один интернациональный конгресс не принимал решения вести войну против России и не разрешал какой-нибудь секции вести ее. И с полным основанием. Ибо немцы, которые ведут войну с Россией, должны в то же время воевать с Францией. И так же мало является детищем Интернационала «война с прусским милитаризмом», которую ведет Франция в союзе с Россией. Ни в союзе с царем, ни в союзе с габсбургами и султаном нельзя быть знаменосцем свободы. В сложном комплексе всемирной войны нет ни одной цели, которая недвусмысленно служила бы делу демократии. Ни на победу центральных держав, ни на победу четверного согласия она не может возлагать никаких надежд. Для нее в этой войне существует только политика строжайшего нейтралитета. В эпоху империализма война не может служить для пролетариата методом демократизации. Лозунги борьбы с царизмом и прусским милитаризмом служили только для прикрытия военных целей господствующих классов и обострили противоречия среди Интернационала. Искусство дипломатов внушило почти всем народам убеждение, что они явились жертвой нападения. Даже австрийцы с клеймом сербского ультиматума использовали идеологию самообороны, и этот обман лучше всего удался среди социалистов всех стран. Они сейчас же заявили, что налицо имеется оборонительная война.

Но не в почине войны, а в ее цели должны социалисты искать решения вопроса, имеем ли мы дело с необходимой обороной. Для господствующих классов оборонительная война служит только предлогом, чтобы увлечь за собой массы, в действительности же они стремятся, в случае победы, извлечь из войны как можно больше выгод. *Для социалистического пролетариата, наоборот, всякое использование победы есть измена идее обороны.*

Цели, которые преследует демократия в войне, не могут быть тождественными с теми целями, которые ставят себе милитаристы. Генералы ведут войну, чтобы предписать свою волю врагу, социалистическая демократия стремится только к тому, чтобы враг не мог предписать ей свою волю. Народы не желают поражения, но они не нуждаются и в победе над другими народами. Победа одного народа означает для другого поражение, нищету, угнетение, одним словом, все те ужасы, для предотвращения которых ведется оборонительная война. Генералы хотят

ждать, пока враг будет молить о мире. Социалистическая демократия должна требовать, чтобы победитель первый протянул руку примирения, чтобы он всегда готов был заключить мир на условиях status quo ante (какие были до войны).

Ибо таким миром достигается цель обороны. Но социалисты не сумели провести последовательно даже идею обороны. Уже раздаются в их рядах голоса, что война не должна кончиться «без всякой пользы», что все эти кровавые жертвы «не должны быть принесены даром». Так социалисты унижаются до морали, которая не стесняется ограбить разбойника, если удалось его обезоружить. Старый Интернационал хотел установить, как верховный закон, регулирующий отношения между народами, «простые законы нравственности и справедливости, которые регулируют отношения между частными лицами». Современные социалисты не стыдятся *нужду обороны превратить в добродетель прибыли.*

Провозглашенная 4 августа военная цель социал-демократии давно уже достигнута. Отпор удался. Почва Германии и Австрии освобождена от врагов, центральные державы могут быть уверены, что в случае прекращения войны территория их останется неприкосновенной. И все же социал-демократия продолжает итти на буксире у господствующих классов. Она и теперь еще не ставит вопроса: намерено ли правительство заявить открыто, что оно готово заключить мир на условиях status quo ante?

Социал-демократия боится поставить такой вопрос, потому что у ней нет готовности сделать все выводы из отрицательного ответа, потому что она не решается использовать свое влияние, чтобы доказать, что она стоит на почве своей декларации 4 августа.

Лозунг оборонительной войны оказался блестящим средством для возбуждения патриотизма в пролетариате. Мы не так наивны, чтобы ожидать, что какая-нибудь из воюющих держав принимает его всерьез. Поэтому, мы можем только надеяться, что война эта кончится всеобщим истощением, не оставив ни победителей, ни побежденных, и что таким образом исполнится желание: всем правительствам — поражения, всем народам — непобедимость!

Рабочий класс нисколько не заинтересован в том, чтобы при помощи этой войны «решен» был хотя бы один из стоящих на очереди вопросов. Для него самым выгодным исходом явилась бы такая ситуация, при которой после войны все осталось бы по-старому, при которой метод войны был бы вконец скомпроме-

тирован, при которой народы всех стран выступили бы против своих правительств. Эта война является ужасной школой, через которую должны пройти народы, но также и единственной, в которой они поймут, что нужно, наконец, провести в жизнь свою политику солидарности всех народов.

* * *

Нашим желанием является не победа, а окончание войны. Мы не даем себя обманывать фразой о «прочном мире», о «гарантиях против новых войн». В особенности мы осуждаем всякие завоевания, которых требуют под предлогом улучшения стратегического положения ввиду будущей войны.

Мы знаем, что при господстве империалистических вожделений мир всегда будет подвергаться опасности новой войны. Мы убеждены, что правящие классы никогда не в состоянии будут разрешить противоречия между тремя критериями государственных разграничений: экономическим, национальным и стратегическим. Пролетариат в его теперешнем положении не может убаюкивать себя надеждой, что можно противоречия, порожденные капиталистической системой, разрешить в рамках современного общества. Все силы свои он должен употребить на то, чтобы проводить *свою* политику, свою *социалистическую* политику.

Как австрийцы, на которых вследствие сотрудничества армий возлагается ответственность за политику Германии, мы осуждаем злоупотребления идеей защиты отечества для оправдания завоеваний и объявляем аннексию французской или бельгийской территории в какой бы то ни было форме преступлением...

Мы не знаем, закончится ли освобождение Польши от ига царизма *новым разделом* несчастной страны или *аннексией*, которая осчастливит ее только благами гогенцоллернской или только благами габсбургской культуры. Мы, международные социал-демократы, не можем шутить со свободой народов и потому мы требуем только, чтобы поляки сами распоряжались своей судьбой. Мы убеждены, что польский пролетарий питает одинаковое отвращение к русскому царизму, к прусскому гакатизму и черно-желтому варварству. Мы убеждены, что если бы с ними хотели серьезно обращаться, как с «освобожденными», то они высказались бы только за независимую польскую республику. Мы знаем, что в капиталистическом обществе польский вопрос не будет

разрешен, и на все освободительные легенды мы смотрим всегда, как на искусное стимулирующее средство в интересах военного воодушевления.

Мы не закрываем глаза на все трудности, связанные с решением этого вопроса, мы знаем, что если Австрии «посчастливится» аннексировать, в качестве победительницы, Польшу, то для государства это послужит началом конца. Как в Германии, так и в Австрии, при заключении мира с.-д. может провозгласить только один лозунг: никаких аннексий.

Во имя международной солидарности мы протестуем против всяких военных контрибуций. *Все* народы обнищали вследствие этой войны, все являются ее жертвами. Мы клеймим цинизм патриотов всех стран, которые надеются утихомирить свой народ за счет еще большего обнищания других народов.

Пролетарии всех стран осуждены на то, чтобы нести все последствия империалистической военной политики, они сделают это в полной солидарности друг с другом.

Не на переложение этого обнищания с одних плеч на другие возлагают они свои надежды, а на общую борьбу против эксплоататоров всех стран.

* * *

Австрия в экономическом отношении представляет наиболее уязвимый пункт Европы. Если война будет продолжаться до истощения всех сил, то Австрия явится той страной, которая рухнет первой. Мало того, что наш народ бессовестно грабят военные поставщики, что его отдали в жертву аграриям, что его выдали на поток и разграбление безусловно неспособной администрации,—кроме всего прочего, он стал еще жертвой эксплоатации со стороны своих союзников. Своя рубашка ближе к телу — восклицает немецкое правительство и тянет к себе из голодающей Австрии все запасы, которые оно только может достать. Гешефт прежде всего, говорят патриоты Венгрии, и таким образом родственники бетиары вымогают за худшие жизненные припасы максимальные цены и искусственно обостряют нужду в другой половине империи.

Если бы патриотизм имущих классов не был только комедией, то при виде наших голодающих жен и детей уже давно должны были бы быть нарушены «священные» интересы частной собственности. Но превыше любви к отечеству стоят для них выгоды

денежного мешка. Они скорее предпочтут полное истощение народа, чем конфискацию собственности. И, вправду, для нас теперь недостаточно одной экспроприации экспроприаторов. Народ хочет избавиться не только от ужасов голода, он хочет положить конец этой резне, он хочет мира. Как и во всех других странах, так и в Австрии ужасы и муки, вызванные этой войной, превзошли уже все, что люди согласны дольше нести. Тысячами тянутся по улицам городов калеки и инвалиды, в каждом доме плачут вдовы и сироты. И весь народ жаждет всей душою только одного, только *мира*.

Поступивши в начале войны на службу военной политики, отказавшись от своих интернациональных обязанностей, призвав «держаться до конца», социал-демократия лишила себя возможности выступить в роли политического выразителя этой воли к миру. Бессильно и бездейственно она должна позорно тащиться в хвосте правящих классов.

* * *

Мы, оставшиеся верными заветам Интернационала социал-демократы в Австрии, ни на минуту не скрывали от себя, что первое решительное поражение в этой войне потерпел социалистический Интернационал.

Исполнились исторические судьбы. Все противоречия социалистической политики теперь ярко выяснились. То, что мы пережили, есть не что иное, как воплощение диалектической идеи, проникавшей социалистическое движение в течение последних десятилетий. В эпоху мира — интернациональная политика против войны, во время войны — национальная политика обороны страны. Но в муках этой войны зарождается интернациональная политика на высшей ступени.

Ибо только теперь пролетариату ясен стал весь антагонизм в его современной политике. Он видит, что нельзя одновременно сражаться на двух фронтах, сражаться одновременно вместе с пролетариями всех стран и согражданами всех классов. Он начинает сознавать теперь: *участие социалистических партий в обороне страны необходимо обуславливает их отказ от участия в борьбе за мир!*

Теперь лишь стало ясно, что только социалистический Интернационал является наиболее пригодным орудием пролетарской акции в пользу мира. А между тем и это драгоценное благо было

с легким сердцем отброшено. Когда взрыв войны вызвал первые приступы патриотического опьянения, то Интернационал, который мог бы быть теперь *всем*, превратился для них в ничто. И именно теперь, когда так настоятельно сказывается нужда в кампании в пользу мира, становится мало-по-малу ясно, какой удар нанесен Интернационалу.

С отчаянием и возмущением должны мы теперь констатировать все эти последствия нашей непоследовательной политики. Интернационал осужден на молчание, когда уже давно настала для него пора поднять свой голос. Все державы старой Европы уже выступили с объявлением войны. Только Европа будущего отреклась от роли великой державы, только она не в состоянии выполнить свою задачу: объявление войны международного пролетариата против всех воюющих держав.

И точно так же, как Интернационал не в состоянии положить конец всем ужасам этой страшной войны, он не может приступить к выполнению еще более важной задачи, возложенной на него Штуттгартским конгрессом: «использовать вызванный войной экономический и политический кризис, чтобы повести агитацию среди народа и таким путем ускорить уничтожение капиталистического классового господства».

Мы не надеемся, что все зло, причиненное в начале войны социалистическому Интернационалу, может быть исправлено еще в ходе войны. Мы потерпели сильное поражение и долго еще будем нести все его последствия. *Нам придется начать сначала.*

Война воспитает в массах сознание, что в эпоху империализма их глубочайшие жизненные интересы лежат в интернациональной области. И они, таким образом, будут подготовлены к воистину интернациональной политике. Они поймут, что борьба против военных вооружений возможна только как борьба на жизнь и на смерть, в которой они готовы не останавливаться ни перед какими жертвами, в которой они готовы пожертвовать даже отечеством. В страшной школе этой войны они научатся, что в случае конфликта между интересами человечества и интересами одной страны, должны стоять выше интересы человечества. Их не испугает тогда обвинение, что для них отечество ничто, и они мужественно выполнят свою высшую задачу. Так следствием войны явится суверенитет интернационализма в рядах пролетариата.

Только признав свою историческую вину, только провозгласив принципы истинно интернациональной политики, смогут социалисты реабилитировать социал-демократию в глазах рабочих масс. Пока только маленькие группы начали эту борьбу за истинно интернациональную политику пролетариата. Их задачей, в первую голову, является пробуждение пролетариата к сознанию необходимости этого социалистического движения в *собственной* стране. Но эти группы черпают уверенность в том факте, что они не стоят изолированно, что они имеют единомышленников и в других странах. *Как такую манифестацию интернационализма, мы приветствуем Циммервальдскую конференцию.* Мы чувствуем себя более сильными, когда вспоминаем о всех тех наших товарищах, которые в этой всемирной войне продолжали высоко держать знамя социализма. С чувством сильнейшего стыда и глубочайшей симпатии вспоминаем мы в особенности о братских партиях тех стран, которые являются «врагами» Австрии. Мы вспоминаем о мужественном выступлении *сербских* товарищей против войны, о столь богатой жертвами борьбе *русской* социал-демократической фракции Государственной Думы и прежде всего о прекрасном, образцовом поведении итальянских социалистов. В них воистину горел энтузиазм *постоянной армии социальной революции.*

Нас мало, а предстоящая нам задача колоссальна. Но мы не дадим себя запугать и черпаем уверенность в воспоминании о союзе коммунистов, из которого выросло всемирно-историческое движение пролетариата.

Пусть они нас преследуют, пусть они нас гонят. Наше дело все же победит. «Ибо дух, братья, они не в состоянии убить!».

«Наше Слово» №№ 257, 258, 263, 264,
4, 5, 11 и 12 декабря 1915 г.

Приложение № 2

Манифест Плеханова

«Мы обращаемся к сознательным рабочим, крестьянам, ремесленникам, приказчикам, — короче, ко всем тем, которые едят свой хлеб в поте лица своего и, страдая от недостатка материальных средств и от политического бесправия, борются за лучшее будущее для себя, для своих детей и братьев.

Мы шлем им свой горячий привет и настойчиво просим их:

Выслушайте нас в это роковое время, когда, овладев западными крепостями России, неприятель занял значительную часть ее территории и угрожает Киеву, Петрограду и Москве, т.-е. важнейшим центрам ее общественной жизни.

И прежде случалось нашей родине переживать кровавые ужасы неприятельского нашествия. Но никогда еще не приходилось ей отбиваться от врага так хорошо вооруженного, так умело организованного и так заботливо обдумавшего свое хищническое предприятие, как теперь.

Ее положение опасно до последней степени. И вот почему на всех вас, на всех сознательных детях трудового народа России, лежит огромная ответственность.

Если вы скажете себе, что вам и вашим менее сознательным братьям все равно, кто бы ни победил в происходящем теперь великом международном столкновении, и если вы поведете себя соответствующим образом, то Россия будет раздавлена Германией. А когда Россия будет раздавлена Германией, тогда плохо придется также и ее союзникам. Это не нужно доказывать.

Если же, наоборот, вы станете держаться того убеждения, что поражение России вредно отразится на интересах ее трудящегося населения, и если вы всеми силами станете содействовать самозащите нашей страны, то ей и ее союзникам удастся избежать грозящей им страшной опасности.

Вдумайтесь же хорошенько в создавшееся теперь положение дел.

Вы очень ошибетесь, если вообразите, что рабочему народу нет надобности защищать нашу страну. На самом деле ничьи интересы не страдают так жестоко от нашествия неприятеля, как интересы трудящегося населения. Так называемым высшим классам, т.-е. более или менее богатым людям, гораздо легче избежать невыгодных последствий поражения их страны.

Возьмем для примера франко-прусскую войну 1870—1871 г.г.

Когда немцы осадили Париж, и когда в нем страшно поднялись в цене все предметы необходимости, то, разумеется, бедные страдали от этого гораздо больше, нежели богатые. Точно также, когда Германия взыскала с побежденной Франции пять миллиардов военного вознаграждения («контрибуции»), то заплатила его, в последнем счете, та же беднота: для уплаты контрибуции были

значительно повышены косвенные налоги, тяжесть которых почти целиком падает, как известно, на низший класс.

Этого мало. Наиболее вредным для Франции последствием ее поражения 1870—1871 г.г. было замедление хода ее экономического развития, задержавшее рост освободительного движения ее рабочего класса. Вы понимаете, что чем медленнее растет это движение, тем более отдаляется время освобождения трудящейся массы от ее эксплоатации высшими классами. Другими словами, поражение Франции вредно отразилось не только на тогдашних интересах ее народа, но и еще того больше — на всем его последующем развитии.

Разгром России Германией еще сильнее повредит нашему народу, нежели повредило французскому народу поражение Франции. В экономическом отношении наша родина является отсталой по сравнению с государствами европейского Запада. Лишь после отмены крепостного права в 1861 году ускорилось развитие ее производительных сил, прежде совершавшееся крайне медленно. Более быстрый ход развития производительных сил способствовал пробуждению сознания в трудящейся массе. У нас появилось рабочее движение, народился сознательный элемент в крестьянстве. Буря 1905—1906 г.г., сильно пошатнувшая наш старый порядок, была неизбежным политическим последствием экономического переворота, пережитого Россией во второй половине XIX века. И можно было с уверенностью сказать, что, чем быстрее будут расти ее производительные силы, тем сознательнее будет становиться ее трудящееся население, и тем скорее наступит час окончательной гибели царизма. Но война, навязанная нам Германией, грозит прекратить это выгодное для народа течение дел. И в этом заключается главная опасность для России нынешнего момента.

Войны вообще вызывают теперь невероятно большие расходы. России, как стране экономически отсталой, гораздо труднее выносить эти расходы, нежели богатым государствам Западной Европы. На спине русского народа и прежде лежал очень тяжелый государственный долг. Теперь долг этот растет не по дням, а по часам. Вдобавок, обширные местности России подвергаются сплошному опустошению.

Если окончательная победа достанется немцам, то они потребуют от нас огромного военного вознаграждения: в сравнении с ним совершенным пустяком представляются те потоки золота,

которые, после войны 1871 года, потекли из побежденной Франции в победоносную Германию.

И этим не ограничатся наши победители. Наиболее последовательные и откровенные глашатаи политики германского империализма уже теперь говорят, что нужно потребовать от России уступки значительной территории, которая притом должна быть совсем очищена от ее нынешнего населения для большего удобства немецких колонистов. Никогда еще хищники, мечтавшие об ограблении побежденных народов, не обнаруживали такого циничного бессердечия.

Но нашим победителям недостаточно будет неслыханно большой военной контрибуции и отторжения наших западных окраин. Уже в 1904 году Россия, находившаяся тогда в затруднительном положении, вследствие преступной авантюры на реке Ялу, вызвавшей японскую войну, вынуждена была заключить очень невыгодный для нее торговый договор с Германией. Договор этот одновременно затруднял как развитие нашего сельского хозяйства, так и успехи нашей промышленности. А это значит, что он одинаково невыгодно отражался как на интересах земледельца, так и на интересах нашего промышленного рабочего. Легко представить себе, какой договор навяжет нам теперь победоносный германский империализм. В экономическом отношении Россия станет германской колонией. Ее дальнейшее экономическое развитие крайне замедлится, если не остановится совсем. Земледельцы, вытесняемые нуждой из деревень, утратят возможность находить себе заработок в промышленных центрах и вместо того, чтобы делаться сознательными пролетариями, способными энергично бороться за свое освобождение, станут превращаться в жалких босяков, готовых служить бессознательным орудием в руках всякого рода погромщиков и авантюристов.

Вырождение и развращение значительной части ее трудового народа — вот чем грозит России германская победа.

Этого, казалось бы, довольно. Однако и это не все. Победив Россию, Германия, конечно, расторгнет ее союз с Англией, Францией и другими странами европейского Запада. Тогда возобновится печальной памяти союз трех императоров. Само собою разумеется, что крайне жалкую роль будет играть в этом союзе представитель побежденной России. Но не это печалит нас. Беда — великая, неизбывная беда — будет в том, что, под предлогом союза с Россией, Берлин возьмет на себя заботу о поддер-

жании «порядка» в Петрограде. Всем известно, какие твердые надежды возлагали на «бронированный кулак» германского императора наши реакционеры в своей борьбе с революционным движением 1905—1906 г.г. И они были правы. Не говоря уже о веками испытанной международной солидарности реакционеров, германские империалисты существенно заинтересованы в поддержании нашего старого порядка, безмерно ослабляющего силу сопротивления России внешнему врагу. Если до сих пор освободительному движению пролетариата и крестьянства противостояли только силы российской реакции, то, в случае победы Германии, к ним присоединятся гораздо более могучие силы реакции германской. И тогда вам надолго придется сказать «прощай» своим освободительным планам.

А к чему поведет победа Германии на Западе Европы? После сказанного излишне распространяться о том, как много ничем незаслуженных экономических бедствий принесет она трудящемуся населению союзных с Россией западных стран.

Мы хотим обратить ваше внимание лишь на следующее.

Англия, Франция и даже Бельгия с Италией далеко опередили в политическом отношении германскую империю, до сих пор еще не доросшую до парламентского режима. Победа Германии над этими странами была бы победой монархического принципа над демократическим, победой старого над новым. И если вам дорог демократический идеал, если вы стремитесь у себя дома устранить самодержавие царя и заменить его самодержавием народа, то вы должны желать успеха нашим западным союзникам, вы не можете не желать его.

Недавно один из крайних левых депутатов, по всей справедливости заклеймив в своей речи полную несостоятельность царского правительства в деле защиты России, прибавил, что скоро народ наш сам станет решать вопрос о войне и мире. Но это предполагает революцию, а первой задачей революционного правительства в России явилась бы борьба во что бы то ни стало, борьба на жизнь и на смерть с германским империализмом. Это было бы обязательно для него как в интересах союзных с нами демократических стран, так и для окончательного торжества российской революции над темными силами международной реакции.

Равнодушное отношение к исходу нынешней войны было бы для вас равносильно политическому самоубийству, т.-е. отказу

от роли вождей трудового народа в его движении к лучшему будущему. Самые важные, самые жизненные экономические интересы пролетариата и крестьянства требуют от вас деятельного участия в обороне страны.

Не смущайтесь доводами людей, утверждающих, что тот, кто защищает свою страну, отказывается от участия в борьбе классов. Эти несчастные сами не знают, что говорят.

Во-первых, для успешного хода классовой борьбы необходимы известные общественно-политические условия, которых у нас не будет, если восторжествует Германия.

Во-вторых, если трудящееся население России не может не защищать себя, когда его эксплоатируют российские помещики и капиталисты, то непонятно, отчего ему следует оставаться бездеятельным, когда на его шею хотят накинуть аркан эксплоатации германские помещики («юнкеры») и германские капиталисты, к величайшему сожалению, поддерживаемые теперь значительной частью германского пролетариата, изменившего своему долгу солидарности с пролетариями другихстран.

Всеми силами стараясь перерубить накидываемый на его шею аркан германской империалистической эксплоатации, российский пролетариат будет вести классовую борьбу в том ее виде, который является теперь наиболее своевременным и наиболее плодотворным.

Те же неразумные люди скажут вам еще, что, защищаясь от немецкого нашествия, вы поддерживаете наш старый политический порядок. Они желают поражения России из ненависти к царскому правительству. Подобно одному из героев нашего гениального сатирика, Щедрина, они смешивают отечество с начальством. *Но Россия принадлежит не царю, а трудовому российскому народу*. Защищая ее, он защищает самого себя, защищает дело своего освобождения. Мы уже показали, что упрочение нашего старого порядка явилось бы неизбежным следствием германской победы.

Это прекрасно понимают российские реакционеры. Лишь скрепя сердце обороняют они Россию от Германии. Рассказывают, что недавно отставленные министры Маклаков и Щегловитов еще в ноябре прошлого года подавали царю докладную записку, в которой объясняли выгоды заключения мира с Германией. Если это и неверно, то хорошо придумано, так как пора-

жение Германии было бы поражением дорогого реакционерам монархического принципа.

Наш народ никогда не простит царизму его неспособности к роли защитника России от внешнего врага. Но если бы передовые, сознательные элементы населения не приняли участия в борьбе с этим врагом, то царское правительство сказало бы: «Не моя вина в том, что нас побеждает Германия; виноваты изменившие своей родине революционеры». И это оправдало бы его в глазах некоторой части населения и, следовательно, пошло бы на пользу реакции.

Вашим лозунгом должна быть победа над внешним врагом. В деятельном стремлении к такой победе будут освобождаться и крепнуть живые силы народа, что в свою очередь будет ослаблять позицию врага внутреннего, т. е. нынешнего нашего правительства.

Повинуясь указанному лозунгу, вы должны быть мудры, как змии. Хотя в ваших сердцах горит огонь благородного негодования против ваших угнетателей, но в ваших головах должен неизменно царить холодный политический расчет. Вам необходимо знать и помнить, что усердие не по разуму иногда хуже полного равнодушия.

Всякое революционное «вспышко-пускательство» в тылу армии, борящейся с неприятелем, по своему значению равнялось бы измене, так как было бы услугой внешнему врагу и сильно облегчало бы положение врага внутреннего, плодя недоразумения и рознь между вооруженной силой России, с одной стороны, и передовой частью ее населения — с другой.

Да что вспышки! Даже к стачкам можно прибегнуть теперь, во время войны, только всесторонне взвесив все их возможные военно-технические, нравственные и политические последствия.

Гром войны, конечно, не сделает российских предпринимателей более бескорыстными, чем были они в мирное время. При получении, распределении и исполнении множества казенных заказов, неизбежных при «мобилизации промышленности», господа предприниматели станут, по своему всегдашнему обыкновению, относиться очень заботливо к интересам капитала и совсем беззаботно к интересам наемного труда. Вы будете вполне правы, возмущаясь таким их поведением. Но во всех тех случаях, когда вам захотелось бы ответить на него стачкой, вам надо подумать, не повредит ли она делу обороны России.

Частное должно подчиняться общему. Рабочие всякой данной фабрики обязаны помнить, что они совершили бы, без сомнения, величайшую ошибку, если бы имели в виду только свой собственный интерес, позабыли о том, как жестоко пострадают от германской победы интересы всего российского пролетариата и всего российского трудового крестьянства. Горе тем, которые, будучи ослеплены соображениями, имеющими лишь местное и временное значение, совершат действия, способные повредить всему будущему нашего освободительного движения.

Не прекращая своей справедливой борьбы за улучшение своего всегда тяжелого экономического положения и планомерно сопротивляясь всем попыткам ухудшить это положение, вам ни на одну минуту не следует забывать, что не только внешние, но и внутренние враги народа стараются использовать для своих целей каждое необдуманное выступление и что, быть может, реакционеры сами мечтают о том, как бы вызвать рабочих на частичные выступления и, разгромив по частям силы рабочих, иметь свободные руки для заключения позорного мира с Германией и для сохранения своей власти над трудящимся народом.

При виде полной негодности царского правительства как орудия национальной самозащиты, в наших передовых кругах высказывается иногда тот взгляд, что, пока существует это правительство, ровно ничего нельзя сделать для этой защиты. Возникновение такого взгляда весьма естественно. Однако, это не мешает ему быть глубоко ошибочным.

Если передовые элементы нашего населения откажутся принимать участие в обороне России вплоть до того времени, когда падет наше нынешнее правительство, то они тем самым отдалят время его падения.

Тактика, которую можно характеризовать формулой: «все или ничего», есть анархическая тактика, совершенно недостойная сознательных представителей пролетариата и крестьянства.

Генеральный штаб германской армии радостно приветствовал бы известие о том, что она усвоена этими элементами.

Поверьте, что он готов оказать поддержку всем тем, которые вздумают проповедывать ее у нас. Ему нужны «беспорядки» в России, ему нужны стачки в Англии, ему нужно все то, что облегчает осуществление его завоевательных планов.

Но вы не захотите его обрадовать. Вы не забудете слов дедушки Крылова: «что враг советует, то верно худо».

Вам надо настаивать на том, чтобы все ваши представители самым деятельным образом участвовали во всех учреждениях, под напором общественного мнения создаваемых теперь для борьбы с внешним врагом. Чем прочнее утвердятся они в таких учреждениях, тем легче им будет также вести борьбу за избавление России от ее внутреннего врага.

Ваши представители должны по возможности принимать участие в работе не только специальных технических учреждений (военно-промышленных комитетов и пр.), которые создаются для обслуживания нужд армии, но и всех других организаций общественного и политического характера: органов сельского самоуправления, деревенских кооперативов, рабочих союзов и больничных касс, земских и городских учреждений и Государственной Думы.

Положение таково, что к свободе нам нельзя притти иначе, как идя по пути национальной самообороны.

Заметьте, что мы вовсе не говорим: «сначала победа над внешним врагом, а потом уже свержение врага внутреннего».

Вполне возможно, что свержение этого последнего явится предварительным условием и залогом избавления России от германской опасности. Французские революционеры конца XVIII века никогда не справились бы с неприятелем, со всех сторон нападавшим на Францию, если бы не держались тактики самых крайних и самых смелых революционных выступлений. Но и они прибегали к таким выступлениям лишь в такой мере, в какой назревало всенародное движение против старого порядка. Они были сознательными и непримиримыми врагами необдуманного вспышко-пускательства и не без основания склонны были смотреть на проповедников вспышко-пускательства, как на сознательные или бессознательные орудия в руках внешних и внутренних врагов народа. Пусть они послужат нам примером как по части неукротимой революционной энергии, так и по части трезвой политической осмотрительности.

Мы, подписавшиеся под этим воззванием, принадлежим к различным направлениям российской социалистической мысли. Между нами есть социалисты-революционеры и есть социал-демократы. Мы расходимся во многом. Но мы решительно сходимся в том, что поражение России в борьбе с Германией явилось бы также поражением ее в борьбе за свободу. И мы думаем, что, руководясь этим убеждением, наши действующие на местах

единомышленники должны были бы сблизиться между собою для дружного служения своему народу в час переживаемой им смертельной опасности.

Члены Российской социал-демократической рабочей партии и партии социалистов-революционеров: *Г. Плеханов, А. Бах, Л. Дейч, Э. Зиновьева-Дейч, П. Аксельрод, И. Бунаков, Н. Авксентьев, А. Любимов (Марк З-р.), В. Воронов, А. Аргунов.*

Члены II Государственной думы: *Г. Белоусов* и *Г. Алексинский*.

10 сентября 1915 года.

Примечания

[1]) *Бебель, Август* (1840—1912) — один из наиболее выдающихся деятелей германской социал-демократии, признанный политический вождь партии в период империи. В германском рабочем движении начал работать с 1862 г.; в 1865 г. был председателем лейпцигского просветительного рабочего ферейна; с 1864 по 1867 г. — членом постоянного бюро союза немецких рабочих ферейнов, с 1867 по 1869 г., — председателем этого бюро. Токарь по профессии, Бебель в начале своей политической карьеры примыкал к крайне левому крылу буржуазного либерализма, и лишь в 1865 г., под непосредственным влиянием В. Либкнехта, он переходит на точку зрения революционного марксизма. В 1869 г., на съезде в Эйзенахе, Бебель вместе с В. Либкнехтом организует германскую социал-демократическую партию, которой он руководит до конца своей жизни. В германском и международном рабочем движении Бебель отстаивал ортодоксально-марксистскую линию. В течение своей многолетней деятельности Бебель проявил себя как блестящий организатор, исключительный тактик, первоклассный оратор и парламентский деятель. Перу Бебеля принадлежит целый ряд литературных произведений, из которых наибольшим успехом пользовалась книга «Женщина и социализм». В статье «Отходит эпоха», помещенной в этом томе, читатель найдет характеристику Бебеля, данную Л. Д. Троцким в 1915 г.

Либкнехт, Вильгельм (1826—1900) — один из основателей германской социал-демократической партии. Свою политическую деятельность начал с участия в революции 1848 г., после неудачного исхода которой эмигрировал в Швейцарию. Возвратившись в 1862 г. по амнистии, Либкнехт ведет марксистскую пропаганду среди рабочих Лассалевского союза. Много занимался агитационно-просветительной работой. В своей многолетней парламентской деятельности он вел выдержанную революционную линию, никогда не отступая от своего лозунга «никаких компромиссов с реакционерами». В эпоху действия исключительного закона против социалистов (1878—1890) Либкнехт, вместе с Бебелем, был активнейшим организатором подполья. После отмены закона о социалистах был главным редактором ц. о. германской социал-демократии «Vorwärts».

[2]) *Сен-Симон, Анри (Генрих)* (1760 — 1825) — французский социалист-утопист, родился в старинной аристократической семье. Разочаровавшись в окружающей среде, Сен-Симон становится решительным врагом паразитических сословий. В своих многочисленных сочинениях Сен-Симон развивает мысль о прогрессивном движении человеческой истории и предсказывает замену современного ему эксплоататорского строя социалистическим обществом, основанным на началах взаимной солидарности и общего сотруд-

ничества. В этом будущем обществе стремлениям человеческой личности будет обеспечен самый широкий простор; вместо власти человека над человеком будет существовать только власть коллективного человека над вещами. Учение Сен-Симона опиралось на молодую буржуазную радикальную интеллигенцию. — В России идеи Сен-Симона были довольно сильно распространены среди передовой русской интеллигенции 30-х и 40-х годов.

Фурье, Шарль (1772—1837) — родился в семье богатого провинциального купца. В своих сочинениях Фурье дает яркое изображение быстро созидавшегося в его время капиталистического общества с его анархией производства, подавлением и угнетением человеческой личности. Показав все вопиющее несовершенство современного ему строя, Фурье рисует затем картину будущего общества, в котором будет царить полная гармония. Фурье представлял себе идеальное общество будущего в виде федерации отдельных трудовых союзов, по 1.500 — 2.000 человек в каждом (так называемые «фаланстеры»). Он считал, что подобная организация общежития обеспечит полное удовлетворение потребностям и стремлениям каждой человеческой личности. Один из типичнейших утопистов, Фурье был уверен, что для создания идеального общественного строя вполне достаточно доброй воли отдельных лиц, которые проникнутся сознанием его превосходства.

Оуэн, Роберт (1771—1858) — известный английский социалист-утопист. Родился в семье шорника. В детстве служил приказчиком в Лондоне и др. городах. 20-ти лет получил место директора текстильной фабрики в Манчестере. Вскоре Оуэн приобрел в Нью-Ланарке (Шотландия) фабрику, в которой стал практически проводить свои социально-реформаторские взгляды. Он значительно сократил рабочий день, увеличил заработную плату, построил гигиенические помещения и т. д. Эти меры сильно подняли производительность труда рабочих. Успех Оуэна заставил его повести агитацию среди промышленников за издание фабричного законодательства в духе его реформ. Не ограничиваясь агитацией среди английской буржуазии, Оуэн совершает поездку во Францию, в Германию и др. страны и ведет переговоры с руководящими государственными людьми о своем плане разрешения рабочего вопроса. Не добившись в этом направлении никаких результатов, Оуэн уезжает в Америку, где создает так называемые «коммуны органических интересов», продолжая проводить в них свои опыты, не увенчавшиеся, однако, сколько-нибудь значительным успехом. К чартизму Оуэн относился отрицательно. Он считал неправильной идею классовой борьбы пролетариата и верил в возможность мирного сотрудничества рабочего класса и буржуазии.

[3]) *Лассаль, Фердинанд* (1825—1864) — знаменитый немецкий социалист, один из основателей немецкой социал-демократии. Историческая заслуга Лассаля и главный итог его политической деятельности заключаются в том, что он сумел пробудить рабочие массы Германии от спячки, в которую они погрузились после революции 1848 г. Лассаль, ведя отчаянную борьбу с либералами, державшими под своим влиянием рабочих, толкнул своей энергичной агитацией последних к организации самостоятельного Всегерманского Рабочего Союза. Таковой и был создан в 1863 г. под пожизненным председательством Лассаля. В области теории социализма и программы политической деятельности Лассаль хотя и считал себя учеником Маркса

и Энгельса, однако значительно отклонялся от их мировоззрения. Так, исходя из неправильного понимания законов, которыми регулируется заработная плата рабочего, считая ее минимум постоянной и неизменяемой величиной, он выдвигал, как панацею от зол капиталистического общества, производительные рабочие товарищества, субсидируемые государством. С другой стороны, Лассаль придавал преувеличенное значение всеобщему избирательному праву, для проведения которого он пускался в не всегда безупречное политиканство с Бисмарком. Лассаль оставил после себя целый ряд крупных научных трудов и печатных речей. Назовем его «Гераклита», исследование в области греческой философии, «Систему приобретенных прав», философско-правовое исследование, «Бастиа-Шульце», экономическое исследование, наконец, его речи: «Сущность конституции», «Программа работников», до сих пор не потерявшие своего научного и литературного достоинства. После смерти Лассаля его приверженцы, лассальянцы, слились с эйзенахцами-марксистами на съезде в Готе в 1875 году, образовав единую германскую социал-демократическую партию.

[4]) *Гед, Жюль* — лидер марксистского направления во французском социализме. В юности был бланкистом, к марксизму перешел с конца 70-х годов. Вместе с Лафаргом Гед является основателем французской рабочей партии. Из старых вождей II Интернационала Гед был самым последовательным защитником революционного марксизма и в течение нескольких десятилетий вел непримиримую борьбу с реформистскими тенденциями во французском движении. С начала мировой войны Гед превращается в социал-патриота и входит даже министром без портфеля в кабинет Вивиани. В последние годы престарелый Гед уже не принимал участия в политической жизни.

Лафарг, Поль (1842—1911) — один из наиболее выдержанных французских марксистов; был лично знаком с Карлом Марксом, который и оказал решающее влияние на развитие его политических и научных взглядов. Принял активное участие в деятельности Парижской Коммуны, после разгрома которой бежал в Испанию. Вернувшись во Францию после амнистии, он быстро выдвинулся в ряды влиятельнейших вождей французского рабочего движения. Перу Лафарга принадлежит ряд выдающихся научных трудов и брошюр. В старости, сознавая свою непригодность к дальнейшей работе, покончил жизнь самоубийством. (См. подробн. т. XII, примечание 75.)

[5]) *Убийцей Франца Шумайера* — оказался рабочий Куншак. На допросе Куншак заявил, что убийство совершено им исключительно по мотивам политической мести. Куншак еще в 1905 г. был известен своими доносами на рабочие организации и систематическим штрейкбрехерством. Подвергнутый за это бойкоту рабочими социалистами, он в течение долгого времени не мог найти себе постоянной работы. Убийством одного из любимых вождей с.-д. рабочих он хотел отомстить социалистическому пролетариату Вены.

[6]) *Штуттгартский конгресс II Интернационала* — был созван в 1907 г. (16—24/VIII). На конгрессе было представлено 25 наций и все пять частей света. Россию представляли 39 делегатов, в том числе Плеханов, Ленин, Троцкий. Всего было 886 делегатов. Важнейшими вопросами по-

рядка дня конгресса были: колониальный вопрос, отношения между партией и профсоюзами, эмиграция и иммиграция, милитаризм и международные конфликты. Последний вопрос занял на конгрессе центральное место. В результате жарких дебатов большинством голосов была принята резолюция, решительно осуждающая военные приготовления буржуазных стран и определяющая характер отношений социал-демократии к империалистским войнам. Констатируя прежде всего, что войны являются необходимой составной частью капиталистического строя и что рабочий класс является естественным врагом всяких войн, резолюция заявляет:

«Конгресс считает поэтому обязанностью трудящегося класса, в особенности же его представителей в парламенте, указывая на классовый характер буржуазного общества и побудительные причины, заставляющие поддерживать национальную рознь, бороться всеми силами против морских и сухопутных вооружений, отказывать в ассигновках на вооружение, а также содействовать тому, чтобы молодежь из среды рабочего класса воспитывалась в духе братства народов и социализма и проникалась классовым самосознанием».

Резолюция заканчивалась следующими словами:

«Когда грозит война, рабочие классы соответствующих стран и их представители в парламенте должны при поддержке Интернационального Социалистического Бюро сделать все возможное, чтобы помешать войне такими средствами, которые они сочтут наиболее действительными и которые естественно изменяются в зависимости от обострения классовой борьбы и общей политической ситуации. В случае, если война все же разразится, они должны активно выступить за скорейшее окончание ее и стремиться всеми средствами к тому, чтобы использовать вызванный войной экономический и политический кризис для возбуждения народных масс и ускорить падение капиталистического классового господства».

По поводу этой резолюции, предложенной в комиссии Бебелем, Ленин писал:

«Резолюция Бебеля страдала именно тем недостатком, что не содержала в себе никакого указания на активные задачи пролетариата (бороться «наиболее действительными средствами»). Это давало возможность читать ортодоксальные положения Бебеля через оппортунистические очки. Фольмар немедленно превратил эту возможность в действительность.

Поэтому Роза Люксембург и русские делегаты с.-д. внесли свои поправки к резолюции Бебеля. В этих поправках: 1) говорилось, что милитаризм есть главное оружие классового угнетения; 2) указывалась задача агитации среди молодежи; 3) подчеркивалась задача соц.-дем. не только бороться против возникновения войн или за скорейшее уничтожение начавшихся уже войн, но и за то, чтобы использовать создаваемый войной кризис для ускорения падения буржуазии» (т. VIII, стр. 503).

В Штуттгарте Ленин и Роза Люксембург сделали попытку созвать фракционное совещание революционных марксистов. Это была первая попытка образования левого крыла в Интернационале.

[7]) *Вандервельде, Эмиль* (род. в 1866 г.) — бельгийский правый социалист, один из вождей II Интернационала. Во время войны был одним из наиболее крайних социал-шовинистов. Ярый противник Советской России, Вандервельде специально приехал в 1922 г. в Москву, чтобы выступить защитником в процессе правых эсеров.

[8]) *Аксельрод, П. Б.* (род. в 1850 г.) — один из руководителей русских меньшевиков. К революционному движению примкнул еще в начале 70-х годов, работая в народнических кружках Киева. Осенью 1874 г. Аксельрод эмигрирует за-границу. Вернувшись нелегально в Россию, он в 1878—1879 г.г. принимает энергичное участие в восстановлении деятельности «Южнорусского рабочего Союза». После раскола партии «Земля и Воля» на «Народную Волю» и «Черный передел» Аксельрод примыкает к чернопередельцам. В 1883 г. вместе с Плехановым, Засулич, Дейчем и Игнатовым основывает первую русскую социал-демократическую организацию, группу «Освобождение Труда». С этого времени начинается его обширная работа по пропаганде социал-демократических идей в России. С 1900 г. Аксельрод становится одним из редакторов первых русских социал-демократических газет «Искра» и «Заря» и принимает активное участие в подготовительных работах по созыву II съезда РСДРП. На II съезде партии в 1903 г. Аксельрод примыкает к меньшевикам и в ряде статей в новой «Искре» дает принципиальное обоснование меньшевизма. В годы революции (1905—1907) Аксельрод выдвигает оппортунистическую идею созыва «рабочего съезда» и организации широкой рабочей партии. С наступлением реакции он возглавляет «ликвидаторское течение» в социал-демократической партии. Во время мировой войны Аксельрод занял оборонческую позицию, хотя формально и принимал участие в Циммервальдской конференции. Октябрьскую революцию Аксельрод встретил с нескрываемой враждебностью. Вновь эмигрировав за-границу, он поднимает кампанию против Советской России и диктатуры пролетариата.

В августе 1925 г. в Берлине был торжественно отпразднован меньшевиками 75-летний юбилей Аксельрода.

[9]) *Гапон, Г.* — родился в 1870 г. в Полтавской губернии, в семье казака. Учился в полтавской духовной семинарии, по окончании которой некоторое время служил земским статистиком. По настоянию жены принял священнический сан, затем вскоре поступил в петербургскую духовную академию, а по окончании последней получил место в петербургской пересыльной тюрьме. Еще будучи слушателем академии, он связался с рабочими и сблизился с начальником московского охранного отделения Зубатовым и др. высшим чинами полиции, на службе у которой и находился во все время своей деятельности в рабочих организациях. В том же году Гапон основал в Петербурге «Общество фабричных и заводских рабочих» по типу зубатовских организаций и был его председателем. В начале 1904 г. Гапоном был организован кружок рабочих полиграфического дела, который к концу года насчитывал до 70—80 человек. Кружок открыл на Ва-

сильевском острове чайную, в которой устраивал беседы. Упоминая о своих связях с полицией, Гапон объяснял их тем, что они необходимы для выполнения задач его организации. Мечтая об устройстве клубов по всей России для объединения всех рабочих, Гапон предполагал при общей экономической вспышке предъявить политические требования. Во время своих бесед Гапон развивал и некоторые положения своей будущей петиции. К декабрю 1904 г. гапоновское общество фабрично-заводских рабочих имело уже районные организации по всему Петербургу. Несмотря на недоверие сознательных рабочих и предостережения социал-демократических организаций, Гапону удалось объединить в своих организациях большое количество рабочих. Забастовки первых чисел января 1905 г. и натиск рабочей массы вынудили гапоновское общество принять на себя руководство движением. Вместо революционной борьбы стихийное движение масс было направлено Гапоном на путь ходатайства перед царем. Он лично выступал в последние дни перед 9 января на всех собраниях районов, произнося везде зажигательные речи. Во время шествия к Зимнему дворцу Гапон был ранен, но спасен своими друзьями. При помощи эсера, инженера Рутенберга, он бежал за-границу.

В Париже Гапон пробовал было сойтись с революционными организациями, несколько раз встречался с Плехановым, но обнаружил полное невежество в политических вопросах, честолюбие и властолюбие. Позднее он совершенно отошел от революционных организаций, не без основания подозревавших его в связи с охранкой.

После октябрьской амнистии политических деятелей Гапон возвратился в Россию, вновь завел связь с охранкой, получил от нее задание — восстановить разрушенное общество фабричных и заводских рабочих, получил деньги, намеревался даже издавать свою газету, но 28 марта 1906 г. на даче под Петербургом, в Озерках, был убит тем же Рутенбергом.

[10]) *Клемансо* — крупнейший политический деятель буржуазной Франции. Выдвинулся как радикал еще в эпоху Парижской Коммуны. В 90-е годы Клемансо стал популярным, благодаря участию в деле Дрейфуса, на защиту которого выступил одновременно с писателем Золя и др. Один из виднейших членов парламента, Клемансо своими энергичными выступлениями против правительства неоднократно вызывал падение кабинета, в связи с чем получил прозвище «низвергателя министерств». С 1902 г. Клемансо участвует в кабинетах то в качестве премьера, то в качестве министра. В бытность свою премьером в 1917—1920 г.г. Клемансо прославился в качестве «организатора победы» и главного руководителя Версальской конференции. В эти же годы Клемансо был вдохновителем интервенции в России.

[11]) *1793 годом* — начинается второй период Великой Французской Революции, характеризующийся диктатурой мелкой буржуазии, поддержанной трудящимися массами столицы.

Отрешенный от престола, король Людовик сделался центром всех контр-революционных движений в стране; он подкупает членов законодательного собрания, вступает в связь с европейскими дворами и готовит военный поход на революционную страну. Робеспьер и Марат, вожди левого крыла якобинской коалиции, правильно оценивают роль короля в создании

европейской коалиции против революционной Франции. «Прежде чем напасть на иноземных тиранов, надо покончить со своим собственным тираном», говорит Робеспьер. «Прежде чем иметь дело с королями вне Франции, покончим с королем Франции», говорит Марат.

21 января 1793 г. король был казнен.

1 февраля 1793 г. к европейской коалиции примкнула Англия. Революционная армия, одерживавшая до тех пор победы, в феврале уступает одну завоеванную территорию за другой. Конвент, в котором господствуют жирондисты, рассылает комиссаров в департаменты для набора трехсот тысяч человек. По предложению Дантона (см. о нем прим. 13), Конвент учреждает 10 марта чрезвычайный уголовный суд против посягательств на «свободу, равенство и самодержавие народа».

В стране свирепствует голод, рекрутские наборы разоряют крестьянство, в Вандее вспыхивает контр-революционный мятеж. В Конвенте идет борьба между Горой и Жирондой. Будут ли уничтожены без выкупа все феодальные повинности, будет ли введен закон о максимуме, т.-е. такса на хлеб и другие предметы первой необходимости, — от решения этих двух вопросов зависела судьба двух наиболее революционных классов — крестьянства и мелкой буржуазии городов. Коммуна Парижа постановляет взыскать с богатых единовременный налог в 12 миллионов ливров на военные нужды. Конвент учреждает Комитет Двенадцати для расследования действий Коммуны.

31 мая Коммуна объявляет восстание. Гора предает суду 29 депутатов-жирондистов.

13 июля Шарлотта Кордэ убивает Марата.

27 июля Дантон — представитель буржуазной интеллигенции, пытающийся примирить жирондистов с монтаньярами,— отстраняется от власти. Во главе правительства становится Робеспьер. Террор поражает врагов революции.

31 октября арестованные жирондисты казнены. Конвент принимает проект новой конституции, вводящей всеобщее избирательное право, безвозмездно отменяет все феодальные повинности, возвращает крестьянам общинные земли, издает закон о максимумах, о прогрессивно-подоходном налоге и целый ряд других мероприятий социально-экономического характера.

1793 год — кульминационный год в развитии революции. После него революция идет на убыль.

1830 г. — Период 1815—1830 г.г. характеризуется сильным развитием капитализма во Франции и соответственным ростом промышленной буржуазии. Однако лишь наиболее крупные промышленники и финансисты привлекались к управлению государством, власть в котором принадлежала дворянам и крупным буржуазным землевладельцам. В их интересах вводились высокие хлебные пошлины, удорожавшие цену на хлеб и, стало быть, невыгодные для промышленной буржуазии. Дворянская реакция все больше и больше закрепляла свои позиции; правительство решило наградить эмигрантов миллиардом франков за утерянные ими земли, уничтожить суд присяжных, изгнать оппозиционеров с государственной службы. Политическими представителями буржуазии являлись либералы, которые

вместе с депутатами других оппозиционных групп насчитывали в парламенте 270 голосов из 430. Тогда указом 26 июля король распустил парламент. Ответом была июльская революция 1830 года. В продолжение трех дней рабочие Парижа сражались на баррикадах, солдаты отказались выступать против народа. Либеральная буржуазия испугалась революции. Вождь ее, Тьер, будущий палач Парижской Коммуны, обратился к народу с воззванием, в котором предлагал передать корону избраннику французского народа.

Результаты июльской революции — замена одного короля другим, переход власти к финансовой буржуазии от крупных землевладельцев. «С этого времени будут господствовать банкиры», сказал либеральный банкир Лафит, провожая в ратушу нового короля Луи-Филиппа Орлеанского. «Лафит, — говорит Маркс, — выдал тайну революции».

1848 год. — Во Франции этого периода противостояли друг другу два класса — пролетариат и буржуазия, но в борьбе с общим врагом, с господствующей финансовой кликой, они вступили во временное соглашение для ликвидации июльской монархии. Два мировых экономических события ускорили революционный взрыв 1848 г. — болезнь картофеля и неурожай 1845 и 1846 г.г. и общий торговый и промышленный кризис в Англии. Зимой 1847 г. в Париже приходилось оказывать помощь более чем трети населения города. Ряд банкетов послужил началом движения, в котором вначале принимала участие самая умереная группировка буржуазии. Она требовала понижения избирательного ценза. К умеренной буржуазии, так называемой династической левой, присоединились республиканцы. После запрещения правительством банкета в XII округе движение вылилось на улицу. Дело, начатое буржуазией, было завершено революционным движением трудящихся масс. 24 февраля, после трехдневного боя на баррикадах, июльская монархия была свергнута. Было образовано временное правительство, в состав которого вошло двое представителей от рабочих: Луи Блан (см. прим. 131) и Альбер. Под давлением парижского пролетариата временное правительство провозгласило республику, в правительстве которой представители рабочих выдвинули требование: «организация труда, создание особого министерства труда». Пролетарское министерство труда, существующее рядом с буржуазными министерствами финансов, торговли, общественных работ, которое является не чем иным, как буржуазным министерством труда, неизбежно должно было превратиться «в министерство бессилия, в министерство благих пожеланий, в социалистическую синагогу». Парижский пролетариат заставил республику сделать ему эту уступку. Были организованы национальные мастерские, в которых к концу мая число рабочих достигло 100 тысяч, с ежедневным расходом на них до 70 тысяч ливров.

Однако «право на труд» не могло разрешить основных вопросов, стоящих перед страной. Финансовый вопрос был разрешен правительством путем введения нового налога в 45 сантимов на крестьянское хозяйство,— это озлобило крестьян против революции.

Второй вопрос — о сроке созыва Учредительного Собрания. Буржуазия пыталась ускорить созыв Собрания. Республиканцы и социалисты старались отсрочить выборы в Собрание, дабы иметь возможность органи-

зовать революцию, воспитать массы в доверии к революционной власти. Они добились отсрочки с 9-го на 23-е апреля.

Большинство членов созванного Учредительного Собрания состояло из умеренных республиканцев, из рабочих представителей прошли только Луи Блан и Альбер. Выборы означали победу буржуазии над пролетариатом, города над деревней. Почувствовав свою силу, правительство буржуазии 24 мая издало приказ о закрытии национальных мастерских и удалении занятых в них рабочих из Парижа. 21 июня приказ начал проводиться в жизнь. Ответом было июньское восстание, потопленное в крови парижских рабочих. Количество убитых насчитывают до 50 тысяч, арестованных — до 25 тысяч. 28 июня восстание было подавлено, 30 июня было объявлено об отмене декрета, ограничивающего продолжительность рабочего дня. Реакция восторжествовала.

Дальнейшие этапы развития революции таковы: 10 декабря 1848 г. были назначены выборы президента республики. Избранным оказался Луи-Наполеон Бонапарт, получивший $5^1/_2$ миллионов голосов из $7^1/_2$. «10 декабря 1848 года, — говорит Маркс, — было днем восстания крестьян. Республика возвестила о себе этому классу сборщиком податей, он возвестил о себе республике императором». 2 декабря 1851 г. президент республики разогнал законодательное национальное собрание и провозгласил себя императором. Луи-Наполеон царствовал до 1871 г.

1871 г.—Речь идет о Парижской Коммуне. (См. т. XII, прим. 28.)

[12]) *Мильеран, Александр* (род. в 1859 г.) — бывший президент французской республики. В молодости был социалистом, но в 1899 году изменил социализму, вступив в буржуазное министерство Вальдека — Руссо, Мильеран «открыл» эру «мильеранизма» и «министериализма» (т.-е. соучастия социалистов в буржуазных министерствах). Этот поступок был предметом страстных дебатов на Амстердамском конгрессе II Интернационала в 1904 г., и «мильеранизм» стал нарицательным именем оппортунизма и министериализма в социализме. Эволюционируя вправо, Мильеран стал вождем французской реакции. В 1924 г. вынужден был покинуть пост президента республики. (См. подробн. т. XII, примечание 55.)

[13]) *Мирабо (Габриэль-Онорэ, граф де-Рикетти)* (1749—1791) — один из видных деятелей Великой Французской Революции. До революции за свои конституционные убеждения неоднократно подвергался преследованиям и несколько раз был вынужден эмигрировать за-границу. При выборах в генеральные штаты Мирабо прошел депутатом от третьего сословия. Мирабо всю жизнь оставался конституционным монархистом, и в королевском дворце были обнаружены документы, доказывавшие его связь с королевским двором. Превосходный оратор и публицист, Мирабо пользовался большим влиянием среди либеральных депутатов Национального Собрания.

Дантон, Жорж-Жак (1759—1794) — политический деятель эпохи Великой Французской Революции. Адвокат по профессии, он выдвинулся как блестящий народный трибун с первых же дней революции. В 1790 г. вместе с Маратом, Демуленом, Шометтом и др. основывает революционный клуб «Кордельеров». После организации Революционной Парижской Коммуны Дантон был назначен помощником прокурора. В 1792 г. Дантон был

избран в Национальный Конвент, который послал его в Бельгию для организации управления этой страной. После восстания 10 августа 1792 г., повлекшего за собой падение королевской власти, законодательное собрание назначает Дантона министром юстиции. При первом известии о приближении неприятельских войск Дантон берется за организацию и руководство обороной революционной Франции. В 1793 г. по инициативе Дантона был создан революционный трибунал, ставший на путь террора. В декабре 1793 г., считая, что достижения революции уже достаточно закреплены, Дантон стал высказываться за необходимость прекращения террора. «Я предлагаю, — говорил он, — не верить тем, кто хотел бы повести народ за пределы революции и стал бы предлагать ультра-революционные меры». С этого времени Дантон открыто и решительно выступает против сторонников террора, представителей наиболее демократических слоев, Шометта и Гебера, и помогает Робеспьеру расправиться с ними. Но сам он возбуждает подозрения Робеспьера, который находит линию дантонистов недостаточно революционной. Под давлением Робеспьера Дантон и его сторонники 31 марта 1794 г. были арестованы и обвинены в сношениях с жирондистами, в присвоении казенных денег и пр. Судебный процесс закончился вынесением смертного приговора, и 5 апреля 1794 г. Дантон со своими ближайшими единомышленниками был гильотинирован.

[14]) *Дело Дрейфуса* — стояло в центре политической жизни Франции в 90-х годах. Оно возникло в результате ложного обвинения еврея, капитана Дрейфуса. в шпионаже. По существу же оно было лишь поводом для наступления монархических элементов против республики. Контр-революция и здесь оперировала с подложными документами. Ответную кампанию за Дрейфуса, подняли все лево-республиканские круги во главе с Жоресом и известным писателем Золя. В конце концов Дрейфус был оправдан.

[15]) *Золя, Эмиль* (1840—1902) — знаменитый французский романист, глава натуралистической школы и автор теории экспериментального романа. В деле капитана Дрейфуса (см. прим. 14) одним из первых выступил в защиту невинно осужденного офицера. Его статья «Я обвиняю» («J'accuse») (в 1898 г.), изобличавшая перед лицом всей страны генеральный штаб и военных министров во лжи, клевете и подлогах, допущенных в деле Дрейфуса, послужила началом широкой общественной кампании за пересмотр дела и привела к освобождению осужденного.

[16]) *Международный конгресс II Интернационала в Амстердаме* — состоялся в августе 1904 г. На повестке дня конгресса стояли следующие вопросы: 1) реформизм, 2) колониальный вопрос, 3) эмиграция и иммиграция, 4) всеобщая стачка, 5) социальная политика, страхование рабочих и 8-часовой рабочий день, 6) тресты и безработица. На конгрессе были представлены 23 страны, в том числе и Россия (в составе 45 делегатов). Главным предметом обсуждения был вопрос о реформизме. Поводом для его постановки было вступление социалиста Мильерана в состав буржуазного министерства. (См. прим. 12.) После горячих прений большинством голосов была принята так называемая «дрезденская резолюция» германской с.-д., решительно осуждающая оппортунистическую политику. Приводим выдержки из этой резолюции:

«Конгресс самым решительным образом осуждает ревизионистские стремления изменить нашу испытанную и увенчанную успехом тактику, обоснованную на классовой борьбе, в таком направлении, чтобы вместо завоевания политической власти путем победы над нашими противниками — обратиться к политике уступок существующему порядку вещей».

«1) Что партия слагает с себя всякую ответственность за политические и экономические условия, проистекающие из капиталистического способа производства, и что поэтому она не может оправдывать таких средств, которые обусловлены поддержанием господствующего класса у власти; 2) что социал-демократия, согласно резолюции Каутского на Международном конгрессе 1900 г. в Париже, не может *стремиться к участию* в правительственной власти в пределах буржуазного общества».

Эта резолюция, направленная против ревизионизма и министериализма, означала победу революционно-марксистского крыла во II Интернационале. По колониальному вопросу конгресс принял резолюцию, призывающую социал-демократическую партию каждой страны бороться с грабительской колониальной политикой своего правительства. По вопросу о всеобщей стачке конгресс высказался в том смысле, что всеобщая стачка является практически невыполнимой, ибо она «делает невозможным всякое существование, а следовательно, и существование пролетариата». Поэтому конгресс постановил, что «стачка... может служить лишь самым крайним средством для достижения значительных общественных изменений». По другим вопросам повестки дня: о социальной политике, трестах и безработице конгресс вынес резолюции, требующие установления законодательства о страховании рабочих и усиления экономической организации пролетариата в противовес усиливающимся капиталистическим объединениям. В заключение Амстердамский конгресс принял приветственную резолюцию российскому пролетариату, в которой отмечает, что

«рабочие всего мира с живейшим участием следят за его борьбой против абсолютизма, и что пролетариат российский, борясь за свое собственное освобождение, тем самым борется за освобождение пролетариата всего мира».

[17]) *Ренодель, Пьер* (род. в 1871 г.) — руководитель французской социалистической партии после убийства Жореса. С 1914 г. состоит членом палаты депутатов. Во время мировой войны занимал оборонческую позицию. В 1920 г., после раскола французской социалистической партии на Турском конгрессе, остался во главе меньшинства, отказавшегося вступить в компартию. В настоящее время возглавляет правое крыло партии, стоящее за объединение с радикал-социалистами.

[18]) *Раппопорт, Шарль* — французский социалист, родился в 1865 г. в России, в 1887 г. эмигрировал во Францию. Журналист и писатель, автор ряда работ («Социальная философия Лаврова», «Материализм и идеализм у Канта» и др.). Написал биографию Жореса. После Турского конгресса 1920 г. вступил во французскую коммунистическую партию и вскоре был

выбран в ее ЦК. В 1923 г. на тов. Раппопорт было сделано покушение русскими белогвардейцами.

[19]) *Аустерлиц* — город в Австрии, на р. Литтаве. Здесь Наполеон в 1805 г. одержал блестящую победу над союзной русско-австрийской армией («битва трех императоров»).

Ватерлоо — деревня в Брабанте (Бельгия). В бою 18 июня 1815 г. под Ватерлоо войска Наполена были на-голову разбиты англо-голландской армией Веллингтона. Поражение Наполеона привело к окончательному его низложению (после «ста дней»).

Аустерлиц и Ватерлоо — синонимы крупных побед и крупных поражений.

[20]) *Тома, Альбер* (род. в 1878 г.) — депутат французского парламента, один из лидеров правого крыла французской социалистической партии и II Интернационала. С наступлением мировой войны Альбер Тома становится одним из наиболее ярых социал-империалистов. 22 мая 1915 г. он входит в состав правительства Клемансо в качестве министра военного снабжения. В 1916 г. приезжал в Россию представляться царю. В 1917 г. Альбер Тома вторично приезжал, вместе с другими представителями II Интернационала, Гендерсоном и Вандервельде, в Петроград, с целью оказать давление на тогдашний эсеро-меньшевистский Совет в сторону продолжения войны до победоносного конца. В настоящее время Тома заведует Международным Бюро Труда при Лиге Наций, целью которого является мирным и безболезненным путем разрешать конфликты между трудом и капиталом, не допуская стачек, вооруженных столкновений и пр.

По поводу приезда Тома в Россию, в 1916 г., Л. Д. Троцкий написал басню «Министр, ландыш и запах».

Самба, Марсель (1862—1922) — до войны один из самых видных парламентариев французской социалистической партии. Талантливый публицист и оратор. В 1904 г. выдвинулся как один из руководителей объединенной социалистической партии. Самба уделял особое внимание профдвижению и рабочему законодательству. С начала войны стал социал-патриотом. С 1914 по 1918 г. входил в правительство в качестве министра труда. Во французской социалистической партии последних лет Самба стоял на правом фланге. Умер 5 сентября 1922 г.

Гед и Ренодель — см. примечания 4 и 17.

[21]) *Дортмундский съезд* — несмотря на тщательные поиски, редакции не удалось найти никаких данных о съезде. Материалы, имеющиеся в московских книгохранилищах, касаются имперских съездов германской с.-д. и почти ничего не говорят об областных. Просмотр газетных материалов потребовал бы большой затраты времени и задержал бы выход тома.

[22]) *Пернерсторфер* (1850—1918) — австрийский политический деятель. До 1883 г. Пернерсторфер был преподавателем торговой академии и нескольких женских учебных заведений. В начале своей политической деятельности был членом немецкой национальной партии (партии Шенерера), но потом выступил в качестве радикального «социального политика». В 1881 г. основал журнал «Deutsche Warte», который редактировал до 1904 г. В 1885 г. Пернерсторфер выбирается в рейхсрат, где колеблется между немецкой либеральной партией и рабочей партией. В 1896 г. фор-

мально примыкает к австрийской социал-демократической партии, а с 1897 г. выбирается членом ее центрального комитета. В 1909 и 1912 г.г. Пернерсторфер занимал пост одного из товарищей председателя рейхстага, что послужило поводом к полемике среди австрийских социал-демократов о допустимости для членов с.-д. фракции занимать этот пост. Вплоть до самой смерти Пернерсторфер состоял редактором интернационального отдела центрального органа австрийской социал-демократии «Wiener Arbeiterzeitung».

[23]) *Реннер*, *Карл* (род. в 1870 г.) — один из вождей австрийской социал-демократии, во время войны усердный социал-патриот. После ноябрьской революции 1918 г. занял пост канцлера первого после-революционного австрийского правительства. (См. подробн. т. XII, прим. 47.)

Адлер, *Макс* — один из теоретиков австрийской социал-демократии.

Гильфердинг, *Рудольф* (род. в 1878 г.) — немецкий с.-д., видный теоретик-экономист, единомышленник Карла Каутского. В 1922 г. после слияния независимых с шейдемановцами, Гильфердинг становится лидером объединенной партии. Эволюционируя все время вправо, в 1923 г. вошел в кабинет Штреземана в качестве министра финансов. Автор известного труда «Финансовый капитал». (См. подробн. т. XII, прим. 121.)

Бауэр, *Отто* (род. в 1882 г.) — вождь австрийской социал-демократии и II Интернационала. Русская революция застала его в России, где он находился как военнопленный. В 1918 г. он занял пост министра иностранных дел в правительстве с.-д. Реннера. В 1920 г., выйдя в отставку, работал вместе с Адлером над созданием $2^1/_2$ Интернационала. (См. подробн. т. XII, прим. 37.)

Густав Экштейн и Фриц Адлер — см. в настоящем томе статьи под этими же названиями.

[24]) *Циммервальдская конференция* — происходила 5—8 сентября 1915 г. Конференция, которая ставила себе целью объединить все революционные элементы социалистического движения, оказалась далеко не однородной по своему составу. Вокруг русской делегации большевиков, руководимой тов. Лениным, сгруппировались наиболее радикальные элементы (так называемая «циммервальдская левая»), поведшие упорную борьбу с представителями более умеренных течений. После долгих прений конференция сошлась на средней линии и выпустила манифест (см. приложение № 2) с призывом начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов. Затем была образована постоянная интернациональная социалистическая комиссия с временным секретариатом в Берне. Впоследствии к Циммервальдскому союзу примкнуло более двадцати партий и партийных меньшинств, что навлекло на них бешеную травлю со стороны социал-патриотов II Интернационала. Циммервальдское объединение просуществовало вплоть до I Конгресса Коминтерна в 1919 г., на котором оно объявило себя распущенным. Несмотря на умеренность своих лозунгов, Циммервальдская конференция сыграла большую роль в деле разоблачения предательства «большинства» социалистических партий и выработки взглядов последовательного революционного интернационализма, подготовив тем самым, через циммервальдскую левую, создание Коммунистического Интернационала.

[25]) *«Начало»* — социал-демократическая газета, выходившая в 1905 г. в Петербурге. После выхода 16 номеров (первый номер вышел 13 ноября) газета была закрыта (2 декабря). Главными сотрудниками «Начала» были видные меньшевистские деятели того времени: Мартов, Потресов, Дан, Мартынов, Иорданский и стоявшие вне фракций Парвус, Троцкий и др.

Об истории возникновения газеты «Начало» тов. Троцкий рассказывает следующее:

> «Редакция организована была на «коалиционных» началах. Мы с Парвусом вошли в редакцию «Начала» на том условии, что каждая наша статья за подписью должна быть напечатана; в меньшевистскую организацию мы не вошли; одновременно мы поставили совершенно самостоятельно, без меньшевиков, массовую «Русскую Газету». Мартов и Дан прислали туда под конец две-три статьи на правах обычных сотрудников».

[26]) *«Наше Слово»* — интернационалистская русская газета, издававшаяся в 1915—1916 г. г. в Париже. В этой газете вначале были представлены разные течения, от Мартова до бывших впередовцев и большевиков-примиренцев. После ухода Мартова газета стала вести более последовательную линию. В 1916 г. газета была закрыта, для чего был использован провокаторский прием: к русскому солдату, убившему полковника, была подброшена газета «Наше Слово», чем был дан материал для обвинения «Нашего Слова» в разложении армии.

[27]) *Бернштейн, Эдуард* (род. в 1850 г.) — один из деятелей германской социал-демократии, основатель так называемого «ревизионизма». Подвергнув в своей первой книге (в середине 90-х годов) ревизии теоретические основы марксова учения, Бернштейн в дальнейшей своей эволюции в конце концов докатился до самого правого фланга германского социализма. В настоящее время крупной роли в рабочем движении не играет. (См. подробн. т. XII, прим. 70.)

[28]) *Бланки, Луи-Огюст* (1805—1881) — французский революционер-заговорщик, развивался под сильным влиянием Буонаротти, товарища Бабефа по «заговору равных» (см. прим. 35). Бланки не возлагал никаких надежд на всеобщее избирательное право и считал, что для достижения социалистического строя необходимо установить «диктатуру сознательного меньшинства нации». Путь к этой диктатуре — организация заговора и восстание.

Во время франко-прусской войны Бланки издавал газету «La patrie en danger» («Отечество в опасности»), в которой он вместе с своими ближайшими друзьями Вальяном и Густавом Тридоном (см. прим. 32) отстаивал необходимость борьбы с пруссаками и национальной обороны Парижа. «Пруссак — вот враг», писал он тогда.

«Патриотизм» Бланки ничего общего не имеет с патриотизмом германских с.-д. или французских социалистов в войне 1914—1918 г. г. Он проистекал из глубокого убеждения, что Франция — единственная в Европе страна, хранящая традиции Великой Французской Революции, что ее военный разгром означал бы победу монархии и поражение революции. По существу Бланки всю жизнь оставался убежденнейшим революционером,

непримиримым врагом буржуазии. Бланки неоднократно приговаривался к смертной казни и провел в тюрьмах около 30 лет.

[29]) *Лонге, Жан* (род. в 1876 г.) — один из вождей французской социалистической партии. Во время войны вел половинчатую и соглашательскую политику. С 1919 г., когда ФСП раскололась в связи с вопросом об отношении к III Интернационалу, Лонге возглавлял правое меньшинство партии, ведя систематическую борьбу с французской коммунистической партией, возникшей из большинства ФСП. (См. подробн. т. XII, прим. 38.)

[30]) *Жуо* — генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации Труда. До войны был анти-парламентаристом и противником всякого соглашательства с буржуазией. После объявления войны Жуо становится ярым патриотом и ведет предательскую политику по отношению к рабочему классу. Заклятый враг Советской власти. В настоящее время он один из вождей желтого Амстердамского Интернационала профсоюзов.

[31]) *Эрве, Густав* — бывший французский анархист, до войны возглавлявший левое крыло социалистической партии. Во время войны превратился в откровенного шовиниста, а затем и в ярого монархиста.

[32]) *Тридон, Густав* (1841—1871). — французский революционер, горячий приверженец и последователь Огюста Бланки. В 1864 г. выпустил брошюру «Гебертисты», в которой восторженно прославлял этих представителей крайнего течения в Великой Французской Революции. После окончания франко-прусской войны 1870 г., во время заключения Франкфуртского мирного договора (см. прим. 34), по которому Франция теряла Эльзас и Лотарингию, Тридон, бывший в то время депутатом Национального Собрания, решительно выступил против заключения мира, ввиду его унизительных для Франции условий. Тридон был одним из активных участников Парижской Коммуны и членом ее Исполнительной Комиссии. После поражения Коммуны ему удалось бежать за-границу, где в августе 1871 г. он умер от чахотки.

[33]) *Малан, Бенуа* (1841 — 1893) — французский социалист и публицист, член I Интернационала. В. 1870 г. Малан был членом центрального комитета обороны гор. Бордо; в 1871 г. был одним из членов Парижской Коммуны и после ее разгрома бежал в Швейцарию, откуда был выслан за пропаганду социализма. В Швейцарии Малан примкнул к Бакунину. Вернувшись в 1880 г. по амнистии во Францию, Малан основал журнал «Revue socialiste». В 1899 г. он становится главным редактором социалистической газеты «Egalité». Вместе с Гедом и Лафаргом Малан был одним из основателей федерации партии рабочих социалистов. Позднее Малан примкнул к поссибилистам и вместе с Бруссом вышел из социалистической партии, основав французскую социал-революционную партию. В 1883 г. Малан порывает связи с Бруссом и целиком отдается литературной работе. Малан считается одним из основателей так называемого интегрального социализма—попытки эклектического объединения марксизма с целым рядом других социалистических учений.

[34]) *Франкфуртский договор*, — заключенный в результате франко-прусской войны 1870 — 1871 г.г. в Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 г., был подписан со стороны Германии Бисмарком и гр. Арнимом, со стороны Франции — Жюль Фавром, Пуйе-Кертье и Гуларом. Этим договором пред-

усматривались присоединение Эльзаса и Лотарингии к Германии и уплата Францией контрибуции в 5 миллиардов франков, из которых 500 миллионов должны быть уплачены через 30 дней после ратификации мира, 1 миллиард в текущем (1871) году, 500 миллионов в 1872 г. и остальные 3 миллиарда не позднее 1874 г. Кроме этих важнейших условий в мирном договоре были указаны также сроки эвакуации германских войск, разрешен вопрос об архивах и пр.

Франкфуртский мирный договор был ратифицирован 20 мая 1871 г.

[35]) *Бабеф, Франсуа-Ноэль* (1760—1797) — французский коммунист. Бабеф и его сторонники впервые в истории сделали попытку установить путем революционного переворота диктатуру трудящихся («заговор равных»). Заговор был раскрыт, и участники его казнены в 1797 г.

[36]) *Гарди, Кейр* (1856—1915) — видный деятель английского рабочего движения. Сын горнорабочего; с 8 лет работал в угольных шахтах. В 1879 г. Гарди получает место организатора в своем тред-юнионе. Будучи сначала последователем Генри Джорджа, Кейр Гарди впоследствии становится социалистом и начинает сотрудничать в социалистической прессе. В 1889 г. Гарди основывает шотландскую рабочую партию. В 1892 г. Гарди избирается в парламент. В 1893 г. Гарди принял ближайшее участие в основании английской независимой рабочей партии. Гарди был сторонником вовлечения тред-юнионов в политическую борьбу. Эту же точку зрения он защищал в рабочей партии, отстаивая «братский союз» между социалистическим и профессиональным движением. После образования объединенной рабочей партии Гарди стоял за полное ее слияние с независимой. В начале войны Гарди совместно с Гендерсоном выпустил воззвание, в котором приглашал правительство и народ сохранять нейтралитет.

[37]) *Компер-Морель* (род. в 1872 г.) — французский социал-реформист. Член французского парламента с 1909 г. по настоящее время. Во время мировой войны занимал промежуточную позицию между оборонцами и шовинистами. В последнее время Компер-Морель, вследствие общего полевения рабочих масс, проявляет более сочувственное отношение к коммунизму и Советской власти.

[38]) *Ренодель, Пьер* — см. прим. 17.

[39]) *Группа «Рабочее Дело»*. В конце 90-х и в начале 900-х годов, в связи с чрезвычайно сильным ростом стачечной борьбы рабочего класса, в русской социал-демократии развивается течение «экономизм», ограничивающее задачи рабочего движения исключительно борьбой пролетариата за свои экономические интересы. С марта 1899 г. «Заграничный Союз Русских Социал-Демократов», в котором к этому времени преобладали экономисты, начинает издавать журнал «Рабочее Дело» под редакцией Б. Кричевского и А. Мартынова. «Рабочее Дело» не считало себя органом чисто «экономистским», оно в принципе не возражало и против политической борьбы, но находило, что в условиях настоящего момента агитация среди пролетарских масс должна носить исключительно экономический характер. Журнал «Рабочее Дело» продолжал выходить до 1902 г. Против «рабочедельцев», как разновидности экономизма, решительно выступили Плеханов и Ленин. (См. Плеханов, «Vademecum (Путеводитель) для рабочего дела», «Задачи социали-

стов в борьбе с голодом», «Еще раз социализм и политическая борьба». Ленин, «Что делать?».)

Акимов (Махновец), В. П. (1875—1921) — руководитель экономизма в русской социал-демократии. Революционная деятельность Акимова началась еще в 1895—1897 г.г., когда он работал в народовольческих кружках. Позднее Акимов примкнул к социал-демократам и участвовал в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Будучи арестован за участие в Союзе и выслан из Петербурга, Акимов эмигрирует за-границу и здесь примыкает к заграничному союзу русских социал-демократов, став лидером его правого крыла. На II съезде РС-ДРП Акимов отстаивает точку зрения экономизма. В 1905 г. Акимов вернулся в Россию, занялся изучением истории социал-демократической партии, кооперативной деятельностью и т. д. и с этого времени активного участия в политической жизни не принимает.

Мартынов (Пиккер), А. — старый работник российской социал-демократии, начал свою политическую деятельность народовольцем. В конце 90-х годов Мартынов был одним из руководителей «экономизма». После раскола партии в 1903 г. Мартынов примыкает к меньшевикам и с этого времени становится одним из видных вождей меньшевистского крыла партии. В годы войны и после-февральские дни Мартынов вместе с Мартовым защищает «централистскую» позицию. В последние годы Мартынов эволюционировал влево и XII съездом РКП был принят в ряды нашей партии.

[40]) *«Бунд»* — или «Всеобщий еврейский рабочий союз в России и Польше». Образован в 1897 г., вошел в РС-ДРП в 1898 г. на первом ее съезде в качестве автономной организации. В 1903 г., когда в партии был введен принцип централизма, Бунд вышел из состава партии и вторично вошел в нее лишь в 1906 г. на объединительном съезде в Стокгольме. По своей тактике приближался к меньшевикам. После Октябрьской революции Бунд сумел преодолеть свою меньшевистскую закваску и в 1921 г., на конференции в Минске, постановил войти в РКП. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 336.)

Либер (Гольдман), М. (род. в 1880 г.) — один из главных руководителей Бунда. За свою революционную деятельность неоднократно подвергался репрессиям. В 1910 г. Либер был избран членом ЦК Бунда. Во время войны занял оборонческую позицию. После Февральской революции был членом ЦИК 1-го созыва. Октябрьскую революцию встретил крайне враждебно.

[41]) *Цюрихский Международный конгресс 1893 г. II Интернационала* — был созван по инициативе ряда швейцарских рабочих организаций. На конгресс, открывшийся 6 августа, съехалось около 440 делегатов со всех концов света. С первого же заседания конгресса анархисты сделали попытку сорвать его работу. Но когда, по предложению Бебеля, конгресс принял резолюцию о характере политической борьбы рабочего класса, осуждающую индивидуальный террор анархистов, последние демонстративно удалились. Одним из первых результатов работ конгресса было постановление о необходимости немедленно начать борьбу путем агитации и пропаганды за 8-часовой рабочий день. По вопросу о поведении социал-демократов в случае

войны, конгресс, в результате долгих прений, принял резолюцию Вильгельма Либкнехта, гласящую:

> «Отношение рабочих к войне ясно определено заключением Брюссельского конгресса по вопросу о милитаризме. Интернациональная революционная социал-демократия всех стран должна противопоставлять все свои силы шовинистским домогательствам господствующего класса, все крепче должна связывать рабочих всех стран узами солидарности и неуклонно итти к уничтожению капитализма, разделившего человечество на два враждебных друг другу военных лагеря и натравливающего народы друг на друга. С уничтожением классового господства исчезнет и война. Падение капитализма будет началом всеобщего мира».

Эта резолюция, принятая большинством против 14 голосов при 5 воздержавшихся, была дополнена следующей поправкой бельгийской делегации:

> «Представителям рабочих в парламенте вменяется в обязанность голосовать против военного бюджета, высказываясь за всеобщее разоружение».

Интересно сравнить эту революционную резолюцию с памятным поведением лидеров международной социал-демократии в начале мировой войны. По вопросу о необходимости политической борьбы, как пути к завоеванию политических предпосылок для освобождения рабочего класса, резолюция конгресса, между прочим, говорит;

> «Политическая деятельность ни в коем случае не должна служить поводом для компромиссов и союзов, могущих повредить нашим организациям и нашей солидарности...».«...В тех странах, где партии пролетариата вполне развиты, всякий компромисс означает измену делу рабочих».

Последнее заседание конгресса происходило 12 августа под почетным председательством Фридриха Энгельса.

[42]) «*Земля и Воля*» (1876—1879) — русская революционная партия, возникшая из группы народников, уцелевших после разгрома народников-пропагандистов первой половины 70-х годов. Партия ставила основной задачей работу среди народных масс для подготовки восстания. Внутри партии «Земли и Воли» образовалось два течения: землевольцев-«деревенщиков» и землевольцев-«горожан». Первые работали среди крестьянства, подготавливая почву для будущей революционной деятельности в деревне, вторые же собирались в городах, обращая свое внимание на рабочих, как на самый революционный слой населения. Пока первые прививали социалистические идеи крестьянству, вторые (особенно группа крайних революционеров: В. Осинский, Н. Морозов), принявши название «Исполнительного Комитета», намечали новый путь революционного движения — путь систематического террора, как средство самозащиты от произвола правительства и орудие для завоевания политической свободы. Неизбежные недоразумения, возникавшие между двумя направлениями, вскоре сделали невозможной совместную идейную и практическую работу. Это было признано обеими

фракциями, и после Воронежского съезда (1879 г.) «Земля и Воля» прекратила свое существование, уступив место двум новым партиям — «Народной Воле» и «Черному Переделу». Партия «Земля и Воля» выпустила 5 номеров газеты того же названия.

[43]) *«Черный Передел»* — одна из двух социально-революционных организаций, на которые распалась «Земля и Воля» вскоре после Воронежского съезда 1879 г. В состав ее вошли многие из прежних землевольцев (Г. Плеханов, В. Засулич, Л. Дейч, П. Аксельрод и др.). Чернопередельцы своей ближайшей задачей ставили организацию широкой народной боевой партии, но условия и обстановка революционной деятельности в России к концу 1879 г. настолько изменились, что выполнение этой задачи при данных политических условиях стало совершенно невозможным. Прежние землевольческие поселения в деревнях совершенно распались; попытки к их восстановлению потерпели неудачу, и всю свою деятельность чернопередельцам пришлось сосредоточить в городах на пропаганде народнических идей среди интеллигенции и рабочих. Но и тут они не имели успеха; призыв к деятельности в народе утратил к этому времени свое прежнее обаяние. Партийно-организационная работа «Черного Передела» шла также крайне неудачно. Среди лиц, вошедших в «Черный Передел» (в типографскую группу), был рабочий Жирнов, который оказался предателем и вскоре выдал всех членов группы. Организации был нанесен непоправимый удар. В начале 1880 г. главные члены «Черного Передела» — Плеханов, Засулич, Стефанович, Дейч — выехали за-границу и там образовали в 1883 г. с.-д. группу «Освобождение Труда».

[44]) *Группа «Освобождение Труда»* — первая русская революционная организация, ставшая на почву научного социализма. Возникла в 1883 г. в Женеве, по инициативе бывших народников-чернопередельцев: Плеханова, Дейча, Засулич и др. Группа вела идейную борьбу с народничеством. В 1895 г. группа основывает «Союз русских с.-д.», но в 1898 г. расходится с большинством членов Союза, вставших на путь «экономизма». В конце 1901 г. «Освобождение Труда» слилось с «Зарей» и «Искрой». Группа вела активно работу по подготовке II съезда РС-ДРП, на котором и заявила о своей ликвидации. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 267.)

[45]) *Чернов, Виктор* — один из основателей и виднейший вождь партии эсеров. Во время войны стоял на циммервальдской платформе. После Февральской революции входит министром земледелия в правительство Керенского. В последние годы Чернов возглавлял «центр» в эсеровской партии. (См. подробн. т. III, ч. 1-я, прим. 33.)

[46]) *Алексинский, Г. А.* (род. в 1879 г.) — бывший революционер. За участие в студенческом движении в 1899 и 1902 г. г. был исключен из Московского университета. Позднее стал активно работать в московской социал-демократической организации, примкнув к большевикам. Высланный осенью 1906 г. из Москвы, Алексинский переселился в Петербург и здесь Комитетом РС-ДРП был проведен по рабочей курии во II Государственную Думу. В думской социал-демократической фракции Алексинский возглавлял большевистское крыло. После роспуска II Государственной Думы и ареста ее с.-д. фракции Алексинский, вопреки постановлению фракции, скрылся от суда. В 1907—1908 г.г. Алексинский расходится с большевиками и

пытается создать «левое» крыло большевиков, выдвигая точку зрения «бойкотизма» и «ультиматизма» по отношению к III Государственной Думе. Позднее вместе с Богдановым, Луначарским и др. Алексинский издавал «лево-большевистский» журнал «Вперед». Как только началась мировая война, Алексинский немедленно порывает с партией и становится одним из наиболее оголтелых русских социал-шовинистов. Вместе с Плехановым, Аргуновым и др. он издает в Париже социал-патриотический журнал «Призыв» и сотрудничает в «Русской Воле», газете, издававшейся в 1916 г. октябристом Протопоповым. После Февральской революции Алексинский возвращается в Россию, примыкает к плехановской группе «Единство» и ведет систематическую агитацию против большевиков. Во время июльского выступления 1917 г. Алексинский соглашается, по просьбе контрразведки, дать свою подпись на подложных документах, определяющих Ленина и др. как немецких агентов. В 1918 г. Алексинский был арестован ВЧК, но, отпущенный на поруки, поступил на советскую службу и пробрался в Эстонию. За-границей он окончательно опустился, превратившись в политического лакея белогвардейщины.

Выразительное заглавие статьи направлено по адресу Алексинского и вызвано следующими обстоятельствами:

В августе 1916 г. против председателя синдиката иностранной прессы в Париже, кадета Дмитриева, было возбуждено сотрудниками «Нового Времени» и «Русских Ведомостей» дело по обвинению его в сочувствии к немцам, мотивированное тем, что до войны Дмитриев издавал газету «Парижский Вестник» на немецкие деньги. Для того чтобы придать этому явно клеветническому делу более формальный характер, была назначена особая комиссия для расследования этого дела, в состав которой вошел и Алексинский. Состоявшееся по этому поводу собрание иностранных парламентских журналистов, комитет синдиката иностранной прессы и общество русских журналистов в Париже единогласно заклеймили клеветников, заявив, что «Алексинский сыграл в этом деле самую неблаговидную роль и что «его позорное поведение», выразившееся в поставке «политического навета и ложного доноса», заслуживает самого резкого осуждения.

[47]) *Партийная политика 4 августа.* — 4 августа 1914 г. открылось первое заседание германского рейхстага, в котором имперский канцлер Бетман-Гольвег обрисовал положение, создавшееся в связи с объявлением войны. Второе заседание, открывшееся через час, началось дебатами о специальных военных кредитах. Единственным оратором от имени социал-демократической фракции выступил председатель партии Гуго Гаазе, который прочитал следующую декларацию (приводим ее полностью):

> «Мы находимся перед роковым часом. Последствия империалистической политики, благодаря которой наступила эра вооруженного соперничества и обострилась рознь между народами, бурным потоком обрушились на Европу. Ответственность за это падает на руководителей этой политики, мы отклоняем ее от себя. Социал-демократия боролась всеми силами с этим роковым устремлением и еще в последние часы своими заявлениями во всех странах, в полном

согласии с французскими товарищами, работала для сохранения мира. Ее усилия остались напрасными.

Теперь мы стоим пред железным фактом войны. Нам грозят ужасы враждебных нашествий. Мы должны теперь голосовать не за войну или против нее, а решать вопрос об отпуске средств, необходимых для защиты страны.

Здесь нам приходится вспомнить о миллионах товарищей, которые без всякой вины вовлечены в это роковое дело. Их сильнее всего коснется опустошительное действие войны. Наши горячие пожелания сопровождают наших призванных под знамена братьев без различия их партийной принадлежности.

Мы вспоминаем о матерях, которые должны отдать своих сыновей, о женах и детях, которые лишаются своих кормильцев и у которых к страху за своих любимых примешивается ужас грозящего голода. К ним скоро присоединятся десятки тысяч раненых и искалеченных воинов. И мы считаем своей настоятельной задачей быть с ними, облегчить их участь, ослабить их невыразимую нужду.

Для нашего народа и его свободной будущности очень многое поставлено на карту в случае победы русского деспотизма, который запятнал себя кровью лучших сынов своего народа. Необходимо предотвратить эту опасность, обеспечить культуру и независимость нашего собственного отечества. Поступим же так, как мы всегда заявляли: мы не оставим отечества без помощи в час опасности. Мы сознаем себя действующими солидарно с Интернационалом, всегда признававшим право каждого народа на национальную самостоятельность и самозащиту, и точно так же в согласии с ним мы осуждаем всякую завоевательную войну.

Мы требуем, чтобы войне был положен конец, как только будет достигнута цель защиты и противник будет склонен к миру, и будущий мир должен обеспечить возможность дружеского сожительства всех народов. Мы требуем этого не только в интересах постоянно отстаивавшейся нами международной солидарности, но также и в интересах германского народа.

Мы надеемся, что жестокая школа страданий войны пробудит в миллионах новых людей отвращение к войне и обратит их к идеалу социализма и всеобщего мира.

Руководясь этими положениями, мы будем голосовать за требуемые кредиты».

С. Грумбах (Homo) в статье «Поразительный эпизод», помещенной в «Humanité» от 24 декабря 1915 г., рассказывает, что декларация до прочтения ее в рейхстаге была представлена на просмотр Бетман-Гольвегу, который потребовал уничтожения имевшейся в ней фразы: «С того момента как война станет завоевательной, мы восстанем против нее всеми самыми решительными мерами». Партия согласилась выкинуть эту фразу. Слова, которые являлись как бы последней искрой социалистического сознания, были устранены без особых затруднений, по первому приказу Бетман-Гольвега.

Напомним читателю, что партийная политика 4 августа находилась в кричащем противоречии со всем духом Интернационала, постановлениями его конгрессов (постановления международных конгрессов по вопросу о войне — см. примечания 6, 16, 41), с речами и статьями самих вождей германской социал-демократии.

[48]) *Зюдекум, Альберт* — один из руководителей немецкой социал-демократии. Выдвинулся до войны как парламентский деятель и уже тогда открыто защищал социал-империалистическую точку зрения по колониальному вопросу. Во время войны Зюдекум снискал себе печальную славу одного из усерднейших социал-милитаристов.

Шейдеман, Филипп (род. в 1865 г.) — один из вождей германской социал-демократической партии. Законченный оппортунист и социал-соглашатель. После ноябрьской революции 1918 г. стоял некоторое время во главе германского правительства, ознаменовав свою деятельность карательными экспедициями и массовыми убийствами рабочих. В настоящее время занимает пост обер-бургомистра в провинциальном городе Касселе. (См. подробн. т. III, ч. 1-я, прим. 79.)

[49]) *Цеткин, Клара* (род. в 1856 г.) — одна из старейших деятельниц немецкого и международного рабочего движения, руководительница женского рабочего движения. Блестящая публицистка. Секретарь международного женского секретариата и член Исполкома Коминтерна. (См. подробн. т. III, ч. 2-я, прим. 197.)

[50]) *Гримм, Роберт* (род. в 1881 г.) — секретарь швейцарской социалистической партии. В годы мировой войны Гримм занимал интернационалистскую позицию, участвовал в Циммервальдской и Кинтальской конференциях. После Февральской революции приехал в Россию с целью содействия заключению мира между Россией и Германией. По этому поводу буржуазная печать потребовала немедленной высылки Гримма за-границу и подняла бешеную травлю против всех интернационалистов, обвиняя их в немецком шпионаже. В настоящее время Роберт Гримм является одним из руководителей II Интернационала.

[51]) *Моргари* — итальянский социалист. Один из инициаторов созыва Циммервальдской конференции.

[52]) *Коларов, Василь* — родился в 1877 г. В 1897 г. вступил в болгарскую социал-демократическую партию. При расколе с.-д. партии в 1903 г. примкнул к ее революционному крылу, «теснякам». (См. примечание 54.) С 1905 г. Коларов член ЦК партии. Избирался делегатом от своей партии на Международные социалистические конгрессы в Штуттгарте и Копенгагене. С первого же дня мировой войны Коларов занял непримиримую интернационалистскую позицию. Он участвовал в Циммервальдской конференции и вел непрерывную анти-военную агитацию, за что был обвинен в государственной измене, но по окончании войны амнистирован. Коларов был одним из основателей Коммунистического Интернационала. С 1922 г. он член Президиума Исполкома Коминтерна, а с 1923 г. — генеральный секретарь Исполкома. В сентябре 1923 г. Коларов принимал участие в руководстве вооруженным восстанием в Болгарии, за что был заочно приговорен к пятнадцати годам каторги.

[53]) *Радославов, Василь* (1858—1923) — основатель болгарской либеральной партии. По профессии адвокат. С 1884 г. несколько раз был министром, в 1913 г. — премьер-министр. Будучи крайним германофилом, Радославов содействовал вступлению Болгарии в войну на стороне Германии и Австрии. В 1918 г. после поражения Германии бежал из Болгарии.

[54]) *«Тесняки» и «широкие».* — Организованная еще в 90-х годах прошлого столетия социал-демократическая партия Болгарии включала в себя, главным образом, мелкобуржуазные элементы страны, что и наложило на нее характерную оппортунистическую печать. В 1903 г., в связи с ростом и укреплением влияния рабочего класса, в с.-д. партии Болгарии произошел раскол. Партия разделилась на две новые самостоятельные партии: «Тесную» и «Широкую».

«Тесняки» — состояли преимущественно из представителей промышленного пролетариата. В своей политической деятельности партия «тесняков» неуклонно проводила строго выдержанную марксистскую линию. В 1910 г. на Международном социалистическом конгрессе в Копенгагене «тесняки» потребовали исключения «широких» из Интернационала за их оппортунистическую политику. В 1912 г. «тесняки» выступили решительными противниками балканской войны. Во время мировой войны «тесняки» остаются верны принципам интернационализма; они голосуют против военных кредитов, ведут антимилитаристскую агитацию, участвуют в Циммервальдской и Кинтальской конференциях интернационалистов и, наконец, принимают активное участие в создании III Интернационала. В мае 1919 г. на своем съезде «тесняки» принимают постановление о переименовании партии в «Болгарскую коммунистическую партию (тесные социалисты)». Популярность партии в рабочих массах чрезвычайно велика. К середине 1923 г. она насчитывала в своих рядах около 40 тыс. чел. и являлась второй по величине партией в стране. После неудачного восстания в сентябре 1923 г. партия подверглась неслыханному террору, была загнана в подполье и в настоящее время собирается с силами после жестокого удара.

«Широкая» социалистическая партия — в отличие от тесняков насчитывает в своих рядах много мелкобуржуазных оппортунистических элементов. В рабочих массах «широкие социалисты» никогда не имели большого влияния. В 1912 г. «широкие» поддерживали болгарскую буржуазию, ведшую завоевательную балканскую войну. Во время мировой войны «широкие» занимают социал-патриотическую позицию. После окончания мировой войны они входят в состав правительства в лице трех министров — Пастухова, Заказова и Джидрова. В сентябре 1920 г. от «широкой» партии откололись ее левые, революционные элементы, перешедшие в ряды «тесняков». Под давлением масс, «широкие» вышли после войны из II Интернационала и пытались было вступить в $2^1/_2$ Интернационал, но не были приняты. В настоящее время ни в какой Интернационал не входят.

[55]) *Общебалканская конференция 1915 года* — С наступлением мировой войны левые социал-демократические группы румынской, болгарской и др. партий на Балканах решительно выступили против империалистской бойни и военной политики II Интернационала. В июне 1915 г. в Бухаресте представители румынской с.-д. партии совместно с представителями болгарской с.-д. партии «тесняков» (см. прим. 54) созвали совещание, на котором был

поставлен вопрос о необходимости скорейшего созыва общебалканской социал-демократической антимилитаристской конференции. Такая конференция и была открыта в Бухаресте летом 1915 г. На конференцию явились представители румынской социалистической партии, болгарской социалистической партии «тесняков» и греческой с.-д. партии. Представители левого крыла сербской с.-д. партии, не имея возможности лично участвовать в работах конференции, послали последней телеграмму, в которой заявляли о своей полной солидарности со всеми решениями и резолюциями конференции. На конференции была основана «Балканская революционная рабочая социал-демократическая федерация», основною целью которой явилась борьба против империалистской войны за интернационализм, за революционную классовую войну. Решение об основании этой федерации и явилось одним из главных итогов конференции.

[56]) *Туцович, Дмитрий* — сербский социал-демократ, талантливый публицист, редактор центрального органа сербской социал-демократии «Радницке Новине». Погиб в империалистической войне.

[57]) *Бурное восстание румынских крестьян.* — Угнетенное боярами и помещиками румынское крестьянство не раз восставало против своих классовых врагов. Одним из наиболее крупных в истории Румынии крестьянских восстаний нужно считать восстание 1907 г. Первым толчком к нему послужило выставленное крестьянами поместья Ферманзи требование о более справедливых формах аренды, о прекращении злоупотреблений и пр. Начавшиеся здесь волнения перекинулись в другие местности и быстро охватили всю страну. Движение, все больше разрастаясь и углубляясь, вскоре приняло характер чисто классовой революционной борьбы. Крестьяне, вооруженные чем попало, нападали на помещичьи усадьбы, жгли, грабили помещичье имущество и т. д. Находившееся в то время у власти консервативное правительство Румынии перед лицом надвигающейся опасности поспешило уйти в отставку и передать власть либеральному министерству. Новое правительство в лице своего военного министра, либерала Арабеску, тотчас же принялось за вооруженное подавление разраставшегося аграрного восстания. Были мобилизованы все военные силы страны; против крестьян были двинуты войска в полном боевом снаряжении, вскоре и подавившие восстание с необычайной свирепостью и жестокостью. По официальным сведениям, число убитых и расстрелянных крестьян достигло 15 тыс. человек.

[58]) *Эберт, Фридрих* (1871—1925) — бывший шорник, впоследствии президент германской буржуазной республики. Во время войны был вместе с Шейдеманом главным вдохновителем социал-патриотизма. В 1923 г. берлинские рабочие потребовали его исключения из партии и профсоюза, как врага рабочего класса. (См. подробн. т. XIII, прим. 10.)

[59]) *Революция 9 ноября 1918 г. в Германии* — поражение германской армии и тяжелое экономическое положение страны вызвали мощное революционное движение среди рабочих и солдат. Непосредственным толчком к событиям 9 ноября 1918 г. послужило восстание матросов в Киле, начавшееся 2 ноября. Восставшие матросы отказались принимать участие в атаке на британский флот и организовали свой совет. Восстание быстро распространилось по всей стране. Во всех городах стали стихийно возникать Советы Рабочих и Солдатских Депутатов. Особенно крупного размаха

движение достигло в Берлине, где с 5 ноября начинается и быстро разрастается забастовка рабочих. 9 ноября бастовал уже весь берлинский пролетариат. В этот день рабочими была послана делегация во главе с Эбертом к Вильгельму II, который, видя, что армия присоединилась к рабочим, отрекся от престола. На место низложенного гогенцоллернского правительства был образован «Совет Народных Уполномоченных», в состав которого вошло 6 человек: 3 социал-демократа — Эберт, Шейдеман и Ландсберг и 3 независимых — Гаазе, Дитман и Барт. Карл Либкнехт отказался войти в состав Совета Народных Уполномоченных, мотивируя свой отказ нежеланием сотрудничать с реформистами. Совет Народных Уполномоченных был облечен всей полнотой государственной власти впредь до созыва I Всегерманского съезда Советов, который был признан высшим законодательным органом Германии.

Гогенцоллернская монархия была свергнута восставшими рабочими, но предательская политика германской социал-демократии помешала пролетариату Германии использовать ноябрьскую революцию для овладения государственной властью.

[60]) *Постыдное банкротство II Интернационала в августе 1914 года.*

II Интернационал, за 25 лет своего существования (1889—1914), неоднократно обсуждал на своих конгрессах вопрос о войне и об отношении к ней пролетариата. Рост сухопутных и морских вооружений делал очевидной для каждого неизбежность грядущей войны между великими державами Европы. Резолюции международных конгрессов говорят, что в случае, если буржуазные правительства обрушат на головы народов бедствия войны, Интернационал и его секции призовут рабочих всего мира бороться всеми находящимися в их распоряжении средствами против войны.

Вопрос о войне разбирался на Цюрихском и Штуттгартском конгрессах (см. прим. 41 и 6). Незадолго до начала мировой войны Базельский конгресс (24—25 ноября 1912 г.) в принятом им манифесте говорит:

> «Конгресс поручает Международному Социалистическому Бюро с тщательным вниманием следить за событиями и при всяких условиях поддерживать сообщения и связь между пролетарскими партиями всех стран. Пролетариат сознает, что от него именно зависит в данный момент все будущее человечества, и он употребит всю свою энергию для того, чтобы помешать истреблению лучшего цвета всех народов, которым угрожают все ужасы бесчисленных кровопролитий, голода и болезней. Конгресс обращается к вам, пролетарии и социалисты всех стран, чтобы в этот решительный час вы не оставались безгласны. Высказывайте вашу волю повсюду и всеми способами. Выражайте всеми силами ваш протест в парламентах, объединяйтесь в манифестациях и массовых выступлениях, *используйте все средства, которые* предоставляет вам организация и мощь пролетариата, так, чтобы правительства постоянно видели перед собой волю внимательного и деятельного рабочего класса, решительно настаивающего на сохранении мира».

Жорес в своей речи на конгрессе сказал «что если наш манифест не предусматривает специального образа действий для всех возможных в буду-

щем обстоятельств, то он вместе с тем ни одного из них и не исключает». Вальян добавил, что «в манифесте сохранены мысль и решимость прибегнуть к всеобщей забастовке и восстанию, как крайним мерам борьбы против войны». В том же духе говорили на конгрессе Гаазе, Кейр Гарди, Адлер и другие.

Еще 30 июля 1914 года, за несколько дней до начала войны, интернациональное социалистическое бюро постановило обязать пролетариат всех заинтересованных народов усилить их демонстрации против войны. «Немецкие и французские пролетарии — читаем мы в этом постановлении — окажут на их правительства более энергичное давление, чем когда-либо... Пролетарии Великобритании и Италии, с своей стороны, окажут поддержку этим усилиям, поскольку они могут. Конгресс, экстренно созываемый в Париже (конгресс предположено было созвать в Париже 9 августа для обсуждения вопроса — «Война и пролетариат») явится мощным выражением этой воли мирового пролетариата, направленной на сохранение мира».

Германская социал-демократия, одна из основных партий II Итернационала, в воззвании, опубликованном 25 июля 1914 г., призывала рабочих к протесту против войны. Воззвание кончалось следующими словами: «отовсюду должен доноситься до ушей властителей крик: мы не хотим войны, долой войну. Да здравствует международное братство народов! «Vorvärts» — центральный орган германской социал-демократии — в номере от 25/VII, грозил, что «если дело дойдет до великого европейского сражения, то могут произойти весьма неожиданные вещи, которые могут затронуть то, что также в Германии причисляется «к священнейшим благам».

31 июля, в день объявления военного положения и стало быть, фактического начала военных действий, Комитет партии призывает рабочих «терпеливо ждать до конца», а 3/VIII, накануне созыва рейхстага, социал-демократическая фракция собралась на совещание и вынесла постановление:

> «Голосовать за требуемые правительством кредиты и мотивировать свое постановление прочтением декларации».
>
> 4 августа эту декларацию прочитал в рейхстаге Гаазе (см. прим. 47).

9 августа, «Arbeiter-Zeitung» (Рабочая газета) — центральный орган австрийской социал-демократии—напечатала декларацию Гаазе под заголовком «За самостоятельность своей страны и мир народов» и добавила, что «декларация вполне соответствует духу и настроению немецкой социал-демократии в Австрии».

Французская социалистическая партия, в передовой статье, помещенной в «Humanité» от 4/VIII, заявила:

> «Палаты завтра или послезавтра должны будут произнести свои решения, вотируя те кредиты, которых от них потребует правительство. *Эти кредиты будут вотированы единогласно*».

В заседании бельгийской палаты депутатов, происходившем 4 августа, после тронной речи короля Альберта, Вандервельде сделал от имени социалистической фракции палаты следующее заявление:

«Наступил момент, когда социалисты выполнят свой долг без всяких колебаний. Мы будем голосовать за все кредиты, которых потребует правительство для защиты нации».

Несколько позже отозвалась британская социалистическая партия. В статье «Война, тайная дипломатия и социал-демократия», напечатанной в «Justice», 13 августа 1914 г., говорилось:

«Самое большее, что можем сделать мы, как социал-демократы и как англичане, это употребить все наше влияние к установлению возможно скорее разумного мира, не стесняя при этом усилий правительства, направленных к одержанию быстрой победы энергичными действиями на суше и на море».

Единственной партией, оставшейся верной заветам Интернационала была РС-ДРП (б). В заседании Думы, в котором обсуждался вопрос о доверии правительству и кредитах на войну, член Думы Хаустов от имени партии и думской фракции прочел декларацию, в которой говорилось, что настоящая война порождена политикой захватов, является войной, ответственность за которую несут правящие всех воюющих теперь стран. После прочтения декларации, фракция покинула зал заседания и участия в голосовании кредитов не принимала. Вместе с фракцией покинули заседание и депутаты-трудовики.

Меньшевики и эсеры стали на позицию большинства социал-демократии Западной Европы. Наиболее ярким документом, рисующим позицию наших социал-демократов, должен считатья «манифест» Плеханова (см. приложение № 2).

Все секции II Интернационала по вопросу о войне отказались от точки зрения классовой борьбы и стали на позицию единства интересов наций и обороны государства. Это означало банкротство II Интернационала, как международной организации рабочих.

[61]) *Суворин, А. С.* — реакционный журналист, редактор «Нового Времени», влиятельного в свое время органа консервативных дворянско-бюрократических кругов. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 76.)

[62]) Александр III (1845—1894) — вступил на престол после убийства Александра II в 1881 г. Царствование Александра III ознаменовалось решительным переходом на путь самой беспросветной реакции. Тупой, ограниченный, малообразованный, Александр III окружил себя отъявленными реакционерами. Совершенно не разбираясь в вопросах политики, Александр III был прекрасным знатоком и специалистом по сыску и жандармским делам. Он сам лично принимал деятельное участие в работе III (Охранного) Отделения. За годы царствования Александра III в России развивается революционное движение пролетариата.

Александр III умер от запоя в 1894 г.

[63]) *Горемыкин, И. Л.* — видный деятель царского режима. Занимал разные должности в министерстве иностранных дел еще в 80—90-х годах. В 1891 г. Горемыкин — товарищ министра юстиции, а в 1895 г.— министр внутренних дел. На посту министра Горемыкин во всем продолжал политику прежних министров периода реакции Александра III. В конце 1899 г. он уходит в отставку и назначается членом государственного совета. Слова

возвращается к власти в апреле 1906 г., заменив Витте на посту председателя совета министров. Новое министерство Горемыкина немедленно вступило на путь реакции. Одновременно с роспуском I Думы получил отставку и Горемыкин, уступив свое место Столыпину. В третий раз пришел к власти, правда не надолго, в 1915 г., как председатель совета министров.

[64]) *Гурьев* — литературный секретарь Витте. В 1905 г. был назначен редактором правительственной газеты «Русское Государство». Позже Гурьев был одним из соредакторов столыпинской «России». Гурьев помогал Витте в составлении нескольких литературных работ.

[65]) *Мещерский, В. П.* (1839—1914) — известный реакционер-черносотенец. Редактор-издатель монархической газеты «Гражданин». Играл значительную роль в кругах, близких к правительству. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 274.)

[66]) *Плеве* (1846—1904) — наиболее яркий представитель полицейско-бюрократического режима в эпоху Александра III и Николая II. Был назначен министром внутренних дел после убийства Сипягина. Борьба с «крамолой» во всех ее видах составляла главное содержание его деятельности. Своими гонениями на студенчество и земцев вызвал особенную ненависть к себе во всех слоях общества. Убит эсером Сазоновым в 1904 г. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 27.)

[67]) *«Освобождение»* — либеральный журнал, издававшийся с 1902 г. в Штуттгарте под редакцией бывшего с.-д. и марксиста П. Б. Струве. После 17 октября 1905 г. журнал прекратился. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 42.)

[68]) *Святополк-Мирский, П. Д.* — генерал. После убийства Плеве был назначен министром внутренних дел (26 августа 1904 г.). За время его управления репрессии несколько смягчились, политические аресты стали реже. 18 января 1905 г. получил отставку. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 28.)

[69]) *Портсмут* — город в Америке, где в 1905 г. был заключен мир с Японией. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 217.)

[70]) В книге Л. Г. «С. Ю. Витте и падение русского государственного кредита» (С. Петербург, изд. Ал. Арабидзе 1907 г.) о покровительстве, какое царское правительство оказывало крупной буржуазии, говорится (стр. 61—62):

> «Крупная торговая и промышленная буржуазия начала объединяться в политические союзы с явно оппозиционной окраской, и одна из этих организаций (контора железо-заводчиков) в 2 часа ночи с 18-го на 19-е октября 1905 г. (т.-е. в день опубликования знаменитого манифеста) заявила гр. Витте: «Мы не верим словам и поверим только делу. Дайте нам дело». «Дело» было им дано, и промышленность перешла в Союз 17 октября и в еще более правые партии...» «...Учет опять резко поднялся — за ноябрь и декабрь 1905 г. в 138,5 миллиона рублей против 83,1 в 1904 г., и еще более увеличилось кредитование частных банков: на 1-е декабря 148,2 миллиона рублей против 39,6 миллиона рублей на 1 декабря 1904 г. и на 1 января 1906 г. — 196,2 миллиона рублей против 37,8 миллиона рублей на 1 января 1905 г. Резко увеличились выдачи и по осталь-

ным операциям, хотя в общем 1905 г. остался позади 1904 г. почти по всей линии, кроме ссуд под процентные бумаги, причем особенно развивалась носящая несомненно спекулятивный характер и доступная главным образом для банков и наиболее крупных предприятий операция ссуд по специальным текущим счетам, обеспеченным процентными бумагами, по которым выдано в течение года 368,2 миллиона рублей (в 1904 г. — 192,2 миллиона рублей), и на 1 января 1906 г. образовался колоссальный балансовый остаток в 229,4 миллиона рублей (на 1 января 1905 г. — 80,6 миллиона рублей)».

[71]) *Рузвельт, Теодор* (1858—1919) — президент Северо-Американских Соединенных Штатов с 1901 по 1909 г. Ярый американский империалист и патриот. Во внутренней политике — сторонник либеральных подачек рабочим. Принадлежал к республиканской партии. В 1905 г. Рузвельт взял на себя посредничество в деле заключения мира между Японией и Россией. Во время мировой войны занял сначала пацифистскую позицию, но вскоре изменил ее и сделался одним из самых горячих сторонников войны.

[72]) *Гершуни* (1870—1908) — один из основателей «боевой организации» партии социалистов-революционеров. В начале 1902 г. под его руководством были совершены убийства министра внутренних дел Сипягина и уфимского губернатора Богдановича и покушение на убийство харьковского губернатора Оболенского. В мае 1903 г. в Киеве, где в то время находились главные силы «боевой организации», Гершуни был арестован. В феврале 1904 г. петербургским военным судом был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Переведенный в декабре 1905 г. из Шлиссельбурга в Сибирь, Гершуни осенью 1906 г. бежал из каторги за-границу. Умер в 1908 г.

[73]) *Саратовское письмо.* — Осенью 1907 г. ЦК партии эсеров получил из Саратова от местных эсеровских работников письмо, разоблачающее провокаторскую роль Азефа. Ввиду важности письма, приводим его дословно:

«Из источника компетентного нам сообщили следующее: в августе 1905 г. один из виднейших членов партии с.-р. состоял в сношениях с департаментом полиции, получая от департамента определенное жалованье. Лицо это то самое, которое приезжало в Саратов для участия в бывших здесь совещаниях некоторых крупных партийных работников. О том, что эти совещания должны состояться в Саратове, местное охранное отделение знало заблаговременно и даже получило сообщение, что на совещаниях должен обсуждаться вопрос об организации крестьянских дружин и братств. Имена участников также были охранному отделению известны, а потому за всеми участниками совещания была учреждена слежка. Последнею руководил, ввиду особо важного значения, которое приписывалось охраной совещаниям, специально командированный департаментом ветеран-сыщик, статский советник Медников. Этот субъект хотя и достиг высокого чина, однако остался во всех своих привычках простым филером и свободное время проводил не с офицерами, а со старшим агентом местной

охраны и с письмоводителем. Им-то Медников и сообщил, что среди приехавших в Саратов на съезд соц.-революционеров находится лицо, состоящее у департамента полиции на жалованьи — получает 600 рублей в месяц. Охранники сильно заинтересовались получателем такого большого жалованья и ходили смотреть его в сад Очкина (увеселительное место). Он оказался очень солидным человеком, прекрасно одетым, с видом богатого коммерсанта или вообще человека больших средств.

Стоял он в Северной гостинице (угол Московской и Александровской, дом О-ва взаимного кредита) и был прописан под именем Сергея Мелитоновича (фамилия была нам «источником» сообщена, но мы ее, к сожалению, забыли).

Сергей Мелитонович, как лицо, «дающее сведения», был окружен особым надзором для контроля правильности его показаний: в Саратов его провожали из Нижнего через Москву два особых агента, звавших его в своих дневниках кличкой «Филипповский».

Предполагался ли арест участников совещания или нет, неизвестно; но только участники были предупреждены, что за ними следят, и они тотчас же разъехались. Выехал из Саратова и Филипповский (назовем и мы его этой кличкой). Выехал он по железной дороге 19 августа в 5 часов дня. Охрана не знала об отъезде революционеров и продолжала следить. 21 августа ночью (11 часов) в охрану была прислана из департамента телеграмма с приказом прекратить наблюдение за съездом. Телеграмма указывала, что участники съезда предупреждены были писарями охранного отделения. Такого рода уведомление могло быть сделано только на основании сведений, полученных от кого-либо из участников съезда, и заставило предполагать, что сведения эти дал департаменту Филипповский, уехавший из Саратова в 5 или 6 часов вечера 19 августа и успевший доехать до Петербурга ночью 21-го.

Незадолго до открытия I Думы, т.-е. в апреле 1906 г., в Саратов возвратился из Петербурга начальник саратовского охранного отделения Федоров (убитый позднее при взрыве на Аптекарском о-ве) и рассказывал, что в момент его отъезда из Петербурга тамошнюю охрану опечаливал прискорбный факт: благодаря антагонизму между агентами департамента полиции и агентами петербургской охраны был арестован Филипповский, имевший, по словам Федорова, значение не меньшее чем некогда Дегаев. Филипповский участвовал вместе с другими террористами в слежке, организованной революционерами за высокопоставленными лицами. Агенты петербургской охраны получили распоряжение арестовать террористов, занятых слежкой, и хотя они отлично знали, что Филипповский не подлежит аресту, но в пику агентам департамента прикинулись незнающими об этом и арестовали Филипповского, ухитрившись при этом привлечь к участию в аресте и наружную полицию. Последнее было сделано, чтобы затруднить освобождение Филипповского, так как раз в его аресте участвует наружная полиция, т.-е. ведомство, постороннее охране, вообще лишние люди, то уж трудно покончить дело

келейно, не обнаружив истинной роли Филипповского. Когда Федоров выезжал из Петербурга, то еще не был придуман способ выпустить Филипповского, не возбудив у революционеров подозрения. Федоров сообщил при этом, что в этот раз едва не был арестован хорошо известный саратовским филерам Z, также участвовавший в слежке, переодетый извозчиком. Он и еще одно лицо успели скрыться».

Это письмо было оглашено на заседании эсеровского ЦК. Несмотря на произведенное им сильное впечатление, оно осталось без реальных последствий, потому что большинство членов ЦК считало Азефа стоящим выше всяких подозрений. Только Гершуни поручил одному саратовскому эсеру расследовать все дело, но вскоре этот эсер был арестован. После смерти Гершуни дело с саратовским письмом совершенно заглохло. О нем вспомнили только во время разоблачения Азефа.

[74]) *Лопухин* — одно время эстляндский губернатор, затем директор департамента полиции. Думая, что «государственные преступления» провокатора Азефа могут окончиться печально для высших сановных лиц, Лопухин разоблачил его перед ЦК партии эсеров, для чего специально ездил в Лондон. За разоблачение перед «преступным сообщничеством» действий Азефа Лопухин в январе 1909 г. был арестован, судим и сослан на поселение в Сибирь.

[75]) *Рачковский* — заведующий русской тайной полицией в Париже; был назначен на этот пост Александром III. После назначения Плеве министром внутренних дел Рачковский был уволен; после убийства Плеве был назначен начальником департамента полиции. Рачковский был одним из активнейших организаторов еврейских погромов. После издания манифеста 17 октября 1905 г. он выпускал погромные воззвания, которые перепечатывались жандармскими офицерами на станке, отобранном у одного революционного кружка.

Ратаев, Л. А. — бывший начальник особого отдела департамента полиции. В ноябре 1902 г. Ратаев был назначен, по представлению Плеве, на должность заведующего заграничной агентурой. В руки Ратаева было целиком передано наблюдение за всеми русскими революционными и оппозиционными организациями за-границей. Под его наблюдением находились все агенты заграничной охранки, в том числе и Евно Азеф. В должности заведующего заграничной агентурой Ратаев пробыл до 1 августа 1905 г. После своей отставки он получил пособие в размере 15 тыс. франков и поселился в Париже под фамилией Рихтера.

Гартинг, Аркадий Михайлович (Аркашка, Ландезен, Абрам Гекельман) — провокатор, заведующий берлинской агентурой. Разоблачен Бурцевым. (См. о нем в этом томе статью «Гартинг и Меньщиков».)

[76]) *«Титаник»* — грандиозный английский пароход, принадлежавший богатейшей английской кампании «White Star»; совершал регулярные рейсы между Ливерпулем и Нью-Йорком. В начале апреля 1912 г. «Титаник», совершая свой очередной рейс, натолкнулся на ледяную глыбу и пошел ко дну. Погибло 1 600 человек.

[77]) *Олар* (род. в 1849 г.) — известный французский историк. Радикал-социалист, деятель левого блока. Автор многочисленных трудов по истории Великой Французской Революции.

Сорель Альбер (род. в 1842 г.) — французский историк, член французской академии. Некоторые его работы переведены на русский язык.

[78]) *«Россия»* — газета, издававшаяся с ноября 1905 г. под редакцией Животовского. В 1906 г. Столыпиным была превращена в официозный орган министерства внутренних дел.

[79]) *Эренталь* — австрийский министр иностранных дел и председатель совета министров с 1906 по 1912 г.

[80]) *Петля 3 июня 1907 года.* — В этот день был издан высочайший манифест о роспуске II Думы. Поводом для роспуска послужило обвинение с.-д. фракции в «заговоре» против государственной власти. (См. прим. 85.) Одновременно с манифестом было опубликовано новое «положение о выборах в III Думу». Новый избирательный закон прежде всего понизил общее количество думских депутатов, сократив его с 524 до 442. Далее, он очень сильно урезал избирательные права окраин; так, число депутатов Польши было понижено с 37 до 14, Кавказа — с 29 до 10, Сибири с 21 до 15. Некоторые области и города были совершенно лишены избирательных прав. Классовая подоплека закона 3 июня особенно ярко выразилась в изменениях, коснувшихся порядка выборов по землевладельческой и крестьянской куриям. Новым законом было значительно увеличено количество депутатских мест по землевладельческой курии и больше чем вдвое сокращено по крестьянской. Таким образом преобладающее место в Думе было обеспечено за крупным дворянством. Городская курия была разделена на два разряда, причем 1-му разряду, в который входили крупные собственники, было предоставлено почти на 200 мест больше, чем 2-му.

Третье-июньским переворотом царское правительство добилось своей цели: сохранив видимость конституционного строя, оно превратило Думу в послушное орудие своей реакционной политики. 3 июня 1907 г. начинается период жесточайшей реакции, известный в России под названием «третье-июньского режима».

[81]) *Ротмистр Трещенков* — руководитель расстрела рабочих в апреле 1912 г. на Ленских приисках. Трещенков с 1900 г. служил в жандармерии. В 1905 г. он «отличился» бомбардировкой вокзала в Нижнем Новгороде, где засела дружина революционеров в пять человек, и карательными экспедициями в Сормове. Затем, замешанный в каких-то денежных делах, он был переведен в Житомир, а оттуда в Москву. В марте 1912 г. он прибыл во главе отряда войск на Ленские прииски во время возникшей там забастовки. С прибытием Трещенкова начинаются аресты рабочих, в том числе выборных. Трещенков натравливает солдат на рабочих, посылает в центр телеграммы об «агитаторах-бунтовщиках» и, наконец, отдает приказ солдатам стрелять в мирную манифестацию рабочих. Благодаря провокационным действиям Трещенкова забастовка, до его приезда протекавшая мирно, оканчивается расстрелом сотен рабочих. В июле 1912 г. Трещенков был временно отстранен от службы, а затем переведен в петербургское жандармское управление. Следствие, назначенное над ним, окончилось через два года. Не найдя состава преступления, совет министра внутренних дел предложил

Трещенкову вступить в действующую армию, «чтобы искупить свою невольную ошибку». Трещенков попал на фронт и в мае 1915 г. был убит.

[82]) *Бобриков* — финляндский генерал-губернатор, проводивший насильственную руссификаторскую политику. В 1898 г. издал манифест, урезывающий права финляндского сейма. Широкую известность получил изданный Бобриковым закон о воинской повинности, которым уничтожалась самостоятельная финляндская армия. Бобриковский режим возбудил против себя все население страны. 3 июня 1904 г. Бобриков был убит. (См. подробн. т. IV, прим. 136.)

[83]) *Абаза, А. М.*— видный царский сановник. В 1901 г.— контр-адмирал, в 1903 г.— один из руководителей особого комитета по дальне-восточным делам. Через этот комитет Абаза руководил всей агрессивной политикой царского правительства на Дальнем Востоке, фактически играя в этой области роль министра иностранных дел. Русско-японская война была в значительной степени вызвана результатом авантюристской политикой придворной клики, во главе которой стояли Абаза, статс-секретарь Безобразов и адмирал Алексеев. После поражения в русско-японской войне комитет по делам Дальнего Востока был упразднен. Абаза перешел в морское ведомство.

Безобразов, А. М. — статс-секретарь. Сторонник агрессивной царской политики на Дальнем Востоке. В 1896 г. Безобразов представил правительству записку, в которой, доказывая неизбежность войны между Россией и Японией, развивал план приобретения царским правительством концессии на р. Ялу, в Корее, в качестве заслона против Японии. Вскоре после этого царским правительством было образовано во главе с Безобразовым Русское лесо-экспортное товарищество с капиталом в 9 миллионов рублей. В области проведения политики захватов на Дальнем Востоке Безобразов встретил противодействие со стороны Витте, министра иностранных дел Ландсдорфа и др., но зато Плеве был целиком на его стороне, и именно благодаря его содействию были образованы комитет по делам Дальнего Востока и наместничество на Дальнем Востоке, во главе которого был поставлен адмирал Алексеев. Вместе с прекращением активной царской политики на Дальнем Востоке прекратил свою деятельность и Безобразов.

Алексеев — царский адмирал, был главным начальником и командующим войсками Квантунской области и морскими силами Тихого океана. С 1903 г. — царский наместник на Дальнем Востоке. В этой должности проявил крайнюю враждебность к Японии, поддерживая стремление русских промышленников в Корею и подготовляя разрыв с японским правительством. 28 января 1904 г. назначается главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. Целый ряд крупных поражений русской армии заставил правительство отозвать Алексеева с занимаемой им должности главнокомандующего. 12 октября 1904 г., после поражения на р. Шахэ, он уступил место главнокомандующего Куропаткину.

[84]) *Дубровин* — известный черносотенец, один из основателей «Союза русского народа» и редактор черносотенно-антисемитской газеты «Русское Знамя». Был избран почетным председателем «Союза русского народа» и председателем совета этого Союза. Один из наиболее усердных организаторов еврейских погромов. Резко нападал на Витте и даже Столыпина

называл врагом самодержавия. В 1909 г. в «Союзе русского народа» произошел раскол, разделивший Союз на сторонников Дубровина и его противников — Пуришкевича, Маркова и др., образовавших «Союз Михаила Архангела».

Пуришкевич — вышел из среды бессарабских помещиков, наиболее черносотенной части дворянства, давшей целую плеяду лидеров монархического движения. В эпоху царизма Пуришкевич был одним из руководителей и главных организаторов монархического блока в Государственной Думе. С трибуны последней он не раз призывал к беспощадной расправе с революционерами и евреями. При его активном участии создавались погромные организации вроде «Союза русского народа». Либеральная пресса сделала Пуришкевича главной мишенью для своих насмешек и нападок. В эпоху керенщины и первых месяцев Советской власти не раз арестовывался за свою контр-революционную деятельность. (См. характеристику Пуришкевича, данную Л. Д. Троцким, в статье «Слабость как источник силы».)

Марков 2-й — один из главарей черной реакции, курский дворянин-землевладелец. Организатор курской черной сотни в 1905 г. Во II Думе Марков вместе с Пуришкевичем был лидером крайне правого крыла и с думской трибуны неистово травил революционеров, евреев, интеллигенцию. Марков был членом Центрального Комитета «Союза русского народа», из которого вышел в 1909 г., разойдясь с Дубровиным, и в том же году примкнул к «Союзу Михаила Архангела». Все время состоял гласным курского земства и на получаемые от земства субсидии издавал газету «Курская Быль» — орган местных черносотенцев. Сейчас Марков продолжает свою «деятельность» за-границей.

[85]) *Дело социал-демократических депутатов II Думы.* — Члены с.-д. фракции II Думы обвинялись в том, «что в 1907 г. в г. С.-Петербурге под именем социал-демократической думской фракции образовали преступное сообщество, которое составило заговор для насильственного ниспровержения посредством народного восстания установленного основными законами образа правления, лишения государя императора верховной власти и учреждения демократической республики». Так на чиновничьем языке были мотивированы арест депутатов социал-демократов и разгон II Думы. На самом же деле вопрос об аресте социал-демократов был уже заранее предрешен правительством, агентами которого был разработан и план несуществующего «заговора». 1 июня 1907 г. министр юстиции предложил председателю Государственной Думы выдать ему 16 «наиболее виновных» членов фракции. В состав этих 16-ти входили: Церетели, Кириенко, Джапаридзе, Митров, Алексинский, Озоль, Салтыков, Комарь, Белоусов, Аникин, Герце, Ломтатидзе, Анисимов, Серов, Виноградов и Лопаткин. Голосами левых и долго колебавшихся кадетов немедленная выдача 16-ти была отвергнута. Вопрос был передан в комиссию. На завтра, в ночь с 2-го на 3 июня, все находившиеся в Петербурге члены с.-д. фракции были арестованы. Всего было арестовано в эту ночь 37 человек.

Кроме этих 37 человек на суде фигурировали члены «преступного сообщества», именующего себя военной организацией Петербургского Комитета РСДРП, с которой будто бы думская фракция вела переговоры

о восстании. Первое заседание суда открылось 22 ноября 1907 г. Так как дело слушалось при закрытых дверях, все обвиняемые члены с.-д. фракции демонстративно покинули зал суда. Вслед за обвиняемыми вышли и защитники. В этот же день состоялась большая демонстрация питерского пролетариата с протестом против суда над рабочими депутатами. 1 декабря был вынесен приговор. Члены фракции были приговорены к каторжным работам на различные сроки и к ссылке на поселение.

Позднее были арестованы в разных городах и остальные члены с.-д. фракции II Думы и приговорены к каторжным работам на разные сроки.

[86]) *Политические претензии земского и городского съездов.* — 7 сентября 1915 г. в Москве состоялось заседание съезда земского союза. Съезд вынес большинством голосов резолюцию, в которой говорилось о «роковых препятствиях на пути к конечной победе, старых пороках нашей государственности, безответственности власти, ее оторванности от страны». Съездом была избрана особая делегация в составе Львова, Каменского и Маслова, которая совместно с делегацией съезда городского союза в лице Челнокова, Рябушинского и Астрова должна была довести до сведения Николая II о «тревогах» и «чаяниях», волнующих страну. Тогдашний министр внутренних дел кн. Щербатов отказал делегации в приеме, сославшись на «невозможность принять депутацию по вопросам, не входящим в прямые задачи земского и городского союзов».

[87]) *Поприщин* — гоголевский персонаж, от лица которого написаны «Записки сумасшедшего».

[88]) *Расплюев* — действующее лицо в комедиях Сухово-Кобылина: «Свадьба Кречинского» и «Смерть Тарелкина». Беззастенчивый лгун, мошенник и шулер.

[89]) *«Русское Знамя»* — монархическая газета; еженедельный, а позднее ежедневный орган «Союза русского народа», выходивший с декабря 1905 г. в Петербурге. Издателем газеты был известный черносотенец А. И. Дубровин, редакторами: — И. С. Дурново и С. Булацель.

[90]) *Мясоедов* — полковник генерального штаба в начале мировой войны, друг министра Сухомлинова. Передавал планы и секретные документы немцам, за что был в 1915 году повешен по приговору военного суда.

Статья, названная в тексте «Мы готовы» была напечатана в № 14027 «Биржевых Ведомостей» от 27 февраля 1914 г. под заголовком «Россия хочет мира, но готова к войне». Приводим ее целиком:

> «Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие сомнений, что *Россия*, по воле своего верховного вождя поднявшая боевую мощь армии, *не думает о войне, но готова ко всяким случайностям.*
>
> С гордостью мы можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Русское общественное мнение, с благоразумным спокойствием отнесшееся к поднятому за последние дни за границей воинственному шуму, было право: у нас нет причин волноваться.
>
> *Россия готова!*

За последние пять лет в печати всего мира время от времени появлялись отрывочные сведения о различного рода мероприятиях военного ведомства в отношении боевой подготовки войск. И мы не сообщаем здесь ничего нового и неизвестного. В полном сознании великодержавной мощи нашей родины, так нелепо оскорбляемой зарубежной печатью, *мы только группируем главнейшее из сделанного по указаниям монарха за это время.*

Всем известно, что на случай войны *наш план обыкновенно носил оборонительный характер.* За-границей, однако, теперь знают, что *идея обороны отложена, и русская армия будет активной.*

Не составляет также секрета, что *упраздняется целый ряд крепостей, служивших базой по прежним планам войны, но зато существуют оборонительные линии с весьма серьезным фортификационным значением.*

Оставшиеся крепости у России есть полная возможность усилить и довести их оборонительные средства до высшего предела. Некоторые крепости сохранены только для обеспечения известных стратегических и тактических пунктов Западного края.

Офицерский состав армии значительно возрос и стал однородным по образовательному цензу, весьма поднятому сравнительно с прежним. Нынешний офицер получает не только военные знания, но и военное воспитание. Законопроект о прапорщиках запаса решает вопрос о качестве запасных офицеров. Прапорщики запаса на практике исполняют обязанности и нижнего чина, и младшего офицера.

Русская полевая артиллерия снабжена прекрасными орудиями, не только не уступающими образцовым французским и немецким орудиям, но во многих отношениях их превосходящими.

Осадная артиллерия сорганизована иначе, чем прежде, и *имеется при каждой крупной боевой единице.*

Наша береговая и крепостная артиллерии снабжены орудиями в техническом отношении гораздо *более совершенными, чем во многих государствах Западной Европы.*

Уроки прошлого не прошли даром. В будущих боях русской артиллерии никогда не придется жаловаться на недостаток снарядов. *Артиллерия снабжена и большим комплектом, и обеспечена правильно организованным подвозом снарядов.*

Техника военного инженерного дела за последнее время сильно развилась, и кто же не знает, что *военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Военный телеграф стал достоянием всех родов оружия. У самой маленькой части есть телефонная связь. Русская армия в изобилии снабжена прожекторами. Офицеры и солдаты показали себя мастерами в железнодорожном деле* и могут обойтись без помощи обычного железнодорожного персонала.

Не забыто и воздухоплавание. *В русской армии,* как и в большинстве европейских, *наибольшее значение придается аэропланам,* а не дирижаблям, требующим весьма многого, в особенности в военное время. Тип аэропланов еще окончательно не решен, но *кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных*

дредноутов русской армии. Это именно дредноуты, а не маленькие разведчики.

Русская армия — мы имеем право на это надеяться — *явится,* если бы обстоятельства к этому привели, *не только громадной, но и хорошо обученной, хорошо вооруженной,* снабженной всем, что дала новая техника военного дела.

Русская армия, бывшая всегда победоносной, воевавшая обыкновенно на неприятельской территории, *совершенно забудет понятие «оборона»,* которое так упорно прививали ей в течение предпоследнего периода нашей государственной жизни. *Русская армия, уже в мирное время выросшая на одну треть,* состоящая из полков однородного состава, с улучшенным корпусом офицеров и нижних чинов, *является первой в мире и по количественному отношению состава кавалерии, и с пополненной материальной частью.*

Русскому общественному мнению важно сознание, что *наша родина готова ко всяким случайностям, но готова исключительно во имя желания мира, который провозвестил монарх — великодушный инициатор гаагской конференции.*

Конечно, если какая-нибудь держава питает агрессивные замыслы против России, то наша новая боевая мощь ей неприятна, *ибо никто уже не может теперь питать вожделений о какой бы то ни было части русской земли.*

«Si vis pacem—para bellum». «Если хочешь мира, — готовься к войне».

Россия, в полном единении со своим верховным вождем, хочет мира, но она готова!..»

[91]) *«Новый Мир»* — интернационалистская газета, издававшаяся русскими эмигрантами в годы войны в Нью-Йорке. Своей неутомимой пропагандой революционного социализма газета сыграла большую подготовительную роль в деле сплочения революционных элементов американского рабочего движения. В газете работали Бухарин, Володарский и др. По приезде в Америку Л. Д. Троцкий вошел в состав редакции «Нового Мира».

[92]) *«Выборг — Лондон».* Имеется в виду быстрая эволюция кадетов от Выборга до Лондона. В Выборге кадеты, после роспуска I Думы, опубликовали так называемое «Выборгское воззвание», призывавшее русский народ не давать ни одной копейки в царскую казну, ни одного солдата в царскую армию. Однако очень скоро после опубликования этого воззвания кадеты самым решительным образом отрекаются от него. Во II и III Думах кадеты уже решительно идут нога в ногу с правыми партиями, открыто поддерживая царское правительство. Во II Думе они голосуют за утверждение бюджета, за увеличение расходов на армию и т. д. После разгона III Думы кадеты вместе с октябристами и др. участвуют в поездке в Лондон. Во главе кадетской делегации стоял Милюков. На завтраке у лорд-мэра Милюков заявил: «Пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией его величества, а не его величеству». Это выражение Милюкова означало полный отказ от анти-правительственных выступлений и было встречено единодушным

одобрением и приветствиями со стороны всей реакционной и черносотенной печати в России. По этому поводу Ленин писал:

«Дослужились г.г. кадеты. «Вехи» вообще и Струве в частности одобрены Антонием Волынским, «владыкой» черносотенных изуверов; вождь партии Милюков одобрен полицейской продажной газеткой. Дослужились!». (Собр. соч., т. XI, ч. 1-я, стр. 271.)

[93]) *Барабанный бой «Вех»*. «Вехи» — сборник статей либеральной интеллигенции, вышедший в эпоху реакции, в 1909 г. Под покровом туманно-мистической фразеологии авторы сборника в сущности проповедывали самую откровенную реакционную идеологию. (См. подробн. т. IV, примечание 247).

[94]) *Родичев* — один из вождей кадетской партии, член всех четырех Государственных Дум. (См. подробн. т. II, ч. 1, примечание 111.)

[95]) *Хавронья Прыщова* — персонаж романа Тургенева «Новь». Паклин в разговоре, между прочим, замечает:

«Знавал же я одну барыню, Хавронью Прыщову по имени, которая вдруг с бухта-барахты сделалась легитимисткой и уверяла всех, что когда она умрет — то стоит только вскрыть ее тело—и на сердце ее найдут начертанным имя Генриха V... Это у Хавроньи Прыщовой-то!». (И. С. Тургенев, «Новь», гл. XXXVIII.)

[96]) *Гессен* — один из руководителей кадетской партии. Был постоянным активным сотрудником всех кадетских органов. В настоящее время Гессен находится за-границей и возглавляет правое крыло кадетов-эмигрантов. Под его руководством издается в Берлине газета «Руль».

Изгоев — псевдоним А. С. Ланде. В 90-х годах Изгоев был легальным марксистом. Позднее, вместе со Струве и К°, проделал длительную эволюцию от социал-демократии к октябристам. В годы реакции усердно травил революционеров и участвовал в пресловутом сборнике «Вехи». После Октябрьской революции Изгоев за противосоветские выходки был выслан за границу.

Левин — кадетский публицист.

[97]) *Асквит, Герберт Генри* (род. в 1852 г.) — лорд, граф Оксфордский, вождь английских либералов и руководитель «Вестминстер Гезетт». Противник англо-советского сближения. В 1916 г. уступил место премьер-министра Ллойд-Джорджу. В настоящее время Асквит — член палаты лордов.

Клемансо — (см. прим. 10).

Пуанкаре, Раймонд (род. в 1860 г.) — видный французский деятель, один из главных вдохновителей мировой войны. Вождь черносотенного «национального» блока (союз партий французской биржи и промышленных королей). Непримиримый враг Советской России. В 1924 г. уступил место премьер-министра радикальному буржуа — Эррио. (См. подробн. т. III, ч. 1-я прим. 2.)

[98]) *Кутлер* — видный специалист-финансист. В 1904 г. был назначен товарищем министра внутренних дел, а позднее—товарищем министра финансов. 28 октября 1905 г. занял пост главноуправляющего землеустройством и земледелием в кабинете Витте. В начале 1906 г. вошел в партию кадетов. После Октябрьской революции Кутлер активно работал в советских финансовых органах. Умер в 1923 г.

[99]) *Маклаков, В.*— либеральный адвокат. Один из руководителей кадетской фракции в Государственной Думе. В эпоху Керенского был назначен послом в Париж. (См. подробн. т. III, ч. 2-я, прим. 30.)

В 1912 г. Маклаков за большое вознаграждение выступил защитником на сенсационном процессе бакинского миллионера Тагиева, обвинявшегося в истязании. Этот поступок сильно уронил Маклакова в глазах либерального общества, в котором до того он пользовался большим авторитетом.

[100]) *Онорэ-Габриэль Рикетти,*—см. Мирабо, прим. 13.

[101]) *Кассо, Л. А.* (род. в 1865 г.) — министр народного просвещения царской России, богатый бессарабский помещик. Получив высшее образование за-границей, Кассо с 1892 г. состоял доцентом по кафедре церковного права в юрьевском университете. В 1895 г. — профессор харьковского университета по кафедре гражданского права, а с 1899 г. — ординарный профессор московского университета. В 1911 г. был назначен председателем совета министров Столыпиным на пост министра народного просвещения. Немедленно после своего назначения Кассо начинает проводить непримиримо-реакционную политическую линию. Во время студенческих волнений 1911 г. он целиком передал московский университет в руки полиции; в ответ на эту меру президиум университета (Мануилов, Мензбир и Минаков) подал в отставку. Тогда Кассо увольняет их от должностей профессоров. В виде протеста 125 профессоров и преподавателей московского университета в свою очередь подают в отставку. Расправившись с Москвой, Кассо принимается за другие города. Он увольняет отдельных неблагонадежных профессоров и преподавателей, заменяя их своими ставленниками, запрещает студенческие кружки и собрания, принимает самые крутые и беспощадные меры против оппозиционного студенчества, вплоть до поголовного увольнения всех слушательниц женского медицинского института в 1912 г. Не менее решительно действовал Кассо и в области средней и низшей школы. Наиболее важными из относящихся сюда мероприятий являются: усиление внешкольного надзора за учащимися, фактическая отмена родительских комитетов, ограничение инициативы учителей, детальная выработка школьных программ и пр. Грубо-полицейские приемы Кассо не раз вызывали резкие протесты даже со стороны реакционной IV Думы. На посту министра народного просвещения Кассо пробыл до 1914 г.

[102]) *Киевское выступление Гучкова с оппозиционной резолюцией.*— В сентябре 1913 г. в Киеве происходил очередной всероссийский съезд представителей городов и земств. Подавляющее большинство депутатов состояло из октябристов, остальная незначительная часть была представлена кадетами и прогрессистами. К концу съезда делегат А. И. Гучков (председатель «Союза 17 октября») предложил съезду принять резолюцию, в которой говорилось, что «дальнейшее промедление в осуществлении необходимых реформ и уклонение от начал, возвещенных в манифесте 17 октября, грозят стране тяжкими потрясениями и гибельными последствиями». Предложенная резолюция была встречена единодушным одобрением всего съезда. Присутствовавший на съезде представитель полиции запретил поставить резолюцию на голосование и немедленно закрыл съезд. Все либеральное общество с восторгом приветствовало оппозиционное выступление Гучкова.

[103]) *Гарт* — октябрист-литератор. Был постоянным сотрудником правых газет: «Русского Голоса», «Русского Дневника», «Национальной Руси», и пр. Написал несколько книжек реакционного содержания: «Революция и наши партии», «Почему зашаталась Россия» и пр.

[104]) *Коковцев* — видный бюрократ царского режима. Начал свою карьеру в министерстве юстиции, потом служил по тюремному ведомству. С 1890 г. переходит в государственную канцелярию, где занимает должность статс-секретаря по департаменту государственной экономики. В 1896 г., при содействии Витте, Коковцев был назначен товарищем министра финансов. В 1902 г. — государственный секретарь, а с 1904 г. — министр финансов и член государственного совета. В 1911 г., после убийства Столыпина, занял пост председателя совета министров. Сильная кампания, поднятая против него крайними правыми, заставила его в 1914 г. выйти в отставку.

Кассо — см. примечание 101.

Щегловитов, И. Г. — юрист, профессор училища правоведения, ярый реакционер. Был товарищем министра юстиции в первом конституционном кабинете Витте, а затем министром юстиции в кабинете Горемыкина и, позднее, Столыпина. В I и II Думах Щегловитов нередко выступал с разъяснениями на запросы по поводу тех или других правительственных действий.

[105]) *Герценштейн* (1859—1906) — видный экономист и специалист по финансовому и земельному вопросам. В 1905 г. был выбран гласным Московской городской думы, принимал активное участие на всех съездах земских и городских деятелей. После основания кадетской партии входит в ее состав и вскоре становится лидером ее правого крыла. В 1906 г. был выбран от Москвы в I Думу, где принимал живейшее участие в работах аграрной комиссии и с большим успехом выступал по аграрному вопросу. Своей думской деятельностью возбудил против себя ненависть крайних правых помещичьих элементов и 18 июля 1907 г. был убит в Финляндии черносотенцами. (См. подробн. т. IV, прим. 118.)

[106]) *Убийство Иоллоса.* — Член I Государственной Думы, видный политический деятель, кадет. Своими выступлениями в Думе по аграрному вопросу возбудил против себя бешеную ненависть черносотенцев и был убит в Москве 14 марта 1907 г. Убийство было организовано «Союзом русского народа». Фактическим убийцей был рабочий Федоров, которому представили деятельность Иоллоса в совершенно ложном свете. Впоследствии узнав, кто такой был Иоллос в действительности, Федоров убил «союзника» Казанцева, подстрекнувшего его на преступление.

[107]) *Хрусталев-Носарь* — юрист по образованию, в октябре 1905 г. был избран председателем Петербургского совета рабочих депутатов. Вначале беспартийный, он вскоре присоединился к с.-д. (меньшевикам). Приговоренный к ссылке, Хрусталев бежал за-границу, где мало-по-малу совершенно опустился и даже занимался одно время спекуляцией. Вернувшись после февраля 1917 г. в Россию, на Украину, сделался начальником гайдамацкой полиции. В 1918 г. расстрелян за контр-революционную деятельность. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 240.)

[108]) *Комиссия сенатора Шидловского* — была учреждена 29 января 1905 г. для выяснения причин недовольства рабочих Петербурга; фактически она ставила себе целью расколоть рабочих, объединенных революционными

событиями. В состав комиссии должны были входить представители ведомств, фабрикантов и рабочих. Но когда ряд требований, предъявленных рабочими правительству накануне выборов, был отвергнут, рабочие отказались выбирать своих представителей в комиссию. Эта политическая демонстрация произвела большое впечатление как в Петербурге, так и в провинции. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 107.)

[109]) *Крашенинников* — сенатор, бывший председатель петербургской судебной палаты, тайный советник. Председательствовал на процессе 1-го Петербургского совета рабочих депутатов.

[110]) *Чайковцы* — члены народнического кружка, организованного весной 1869 г. Чайковским. Кружок, имевший весьма неопределенную и расплывчатую программу, ограничивался исключительно самообразовательной и пропагандистской работой. В кружке чайковцев участвовали: Перовская, Натансон, Кравчинский, Лопатин, Кропоткин, Шишко, Тихомиров, Клеменц и др. Чайковцы пытались завязать связи с революционной молодежью провинции, распространяя среди нее книги Лаврова, Добролюбова, Лассаля, Писарева, Флеровского и т. д. Кружок издавал самостоятельно пропагандистскую литературу на гектографе и в своей собственной типографии, находившейся в Швейцарии. С осени 1873 г., когда начинается знаменитое «хождение в народ», кружок чайковцев теряет свое прежнее значение и окончательно распадается после процесса 193-х.

[111]) *Лавров, П.* (1823—1900) — один из видных вождей и теоретиков революционного народничества. Член I Интернационала. Участвовал в организации общества «Земля и Воля». Книга Лаврова «Парижская Коммуна» является одной из лучших работ по этому вопросу в мировой литературе. (См. подробн. т. XII, прим. 91.)

[112]) *Бакунин, М. А.* (1814—1876) — знаменитый русский революционер, основоположник и теоретик анархизма. Изгнанный из России, Бакунин принимает активное участие в революции 1848 г. во Франции, затем участвует в Пражском восстании. Организованный им анархический «Федеративный Союз» вскоре распался. (См. подробн. т. II, ч 1-я, прим. 132.)

[113]) *Маликовцы* — последователи А. К. Маликова (род. в 1839 г.), который был сначала революционером-народником, а затем, разочаровавшись в революционном движении, выступил в 70-х годах с проповедью новой религии. Маликов учил, что в душе каждого человека живет бог, что, только найдя в себе этого бога, люди смогут возродиться и перестроить мир на новых началах. Проповедь Маликова имела некоторый успех среди народнической интеллигенции того времени. Особенно увлекся идеями Маликова тогдашний видный революционный деятель Н. В. Чайковский, который вместе с Маликовым отправился в Америку, где они вместе основали общину в духе нового учения. Община эта быстро распалась, и все ее члены вернулись обратно в Россию.

[114]) *Джаншиев, Г. В.* (1851—1900) — известный либеральный публицист, сотрудник «Вестника Европы» и «Русской Мысли». Впоследствии был редактором «Русских Ведомостей». Написал известную книгу «Из эпохи великих реформ», пользовавшуюся большим успехом среди либеральной интеллигенции.

[115]) *«Голос Москвы»* — ежедневная газета, политическая, литературная и экономическая, издававшаяся в Москве в 1885—1886 г.г., под редакцией Н. В. Васильева, а затем И. И. Зарубина.

[116]) *Шингарев* — видный земский деятель, кадет. В Государственной Думе Шингарев играл крупную роль, возглавляя вместе с Милюковым и другими так называемый прогрессивный блок. Во Временном Правительстве второго состава Шингарев занимал пост министра финансов. В послеоктябрьские дни он был убит в больнице неизвестными лицами.

[117]) *Чернышевский, Н. Г.* (1828—1889) — русский писатель, публицист и социалист. Родился в Саратове в семье священника. Окончив саратовскую семинарию, он в 1846 г. поступает на филологический факультет петербургского университета. В университете Чернышевский увлекался утопическим социализмом Фурье. После непродолжительной преподавательской деятельности сначала в Саратове, а затем в Петербурге, Чернышевский целиком отдался публицистической и критической работе в передовых журналах того времени: «Отечественных Записках» и «Современнике». Наряду с литературной деятельностью Чернышевский вел и политическую работу, руководя нелегальными петербургскими кружками и активно участвуя в работе партии «Земля и Воля». 12 июня 1862 г. Чернышевский за составление прокламации к крестьянам был арестован и после двухлетнего заключения, во время которого им был написан знаменитый роман «Что делать», приговорен к 14 годам каторжных работ, сокращенным до 7 лет. После отбытия срока каторги Чернышевский в 1871 г. был отправлен в Вилюйск (Якутская область). В 1883 г. он получил разрешение поселиться в Астрахани, а в 1889 г. вернулся в Саратов, где в октябре того же года и умер.

Чернышевский много писал по вопросам философии, истории, политической экономии («Комментарии к Миллю») и литературы.

> «Главная его заслуга, — говорит Плеханов, — заключается в том, что его теоретическая мысль работала в том самом направлении, в каком совершалась главная работа *передовой* общественной мысли Запада. Правда, общая отсталость России и неблагоприятно осложнившиеся условия его собственной жизни привели к тому, что его мысль отставала в своем движении от передовой западно-европейской мысли. Он явился у нас проповедником философии Фейербаха в то время, когда на Западе логическое развитие этой философии уже привело к появлению *научного миросозерцания Маркса и Энгельса.* Но до тех пор, пока это миросозерцание оставалось неизвестным в России, взгляды Чернышевского являлись самым важным приобретением русской философской и общественной мысли. И поскольку эта мысль отказывалась от этого своего приобретения, как она сделала это в лице П. Лаврова и его последователей, постольку она шла назад в своем развитии. В настоящее время взгляды Чернышевского должны считаться «превзойденной ступенью». *Но его нельзя было превзойти иначе, как развивая дальше основные положения его собственного миросозерцания»* (том VI, стр. 337).

Белинский, В. Г. (1811—1848) — русский критик и публицист. Учился в пензенской гимназии. Студентом участвовал в кружке Станкевича, особенно увлекаясь в этот период немецкой философией Шеллинга. В 1831 г. Белинский написал трагедию «Дмитрий Калинин» в духе «Разбойников» Шиллера, в которой со всем пылом юношеского негодования бичевал крепостные порядки. Университетская администрация нашла трагедию «безнравственной», и в 1832 г. Белинский был исключен из московского университета за «неспособность». Начиная с 1834 г., он стал сотрудничать в «Молве» и др. журналах. Позднее Белинский стал помещать свои критические статьи в «Отечественных Записках». В зрелую пору своей литературной деятельности Белинский, порвав с чисто эстетической точкой зрения своих юношеских статей, стал подчеркивать тесную связь литературы и искусства с социальной действительностью. Критические статьи Белинского оказали большое влияние на молодое поколение революционной интеллигенции второй половины XIX века.

Добролюбов, Н. А. (1836—1861) — русский критик. Сын священника; учился в духовном училище. В 1853 г. поступил в педагогический институт в Петербурге. Еще будучи студентом, Добролюбов стал посылать свои критические статьи и заметки в передовые журналы того времени: «Современник» и «Отечественные Записки». По окончании института Добролюбов целиком отдается публицистической деятельности и становится одним из наиболее выдающихся сотрудников «Отечественных Записок». В своих статьях Добролюбов еще с большей определенностью, чем Белинский, выдвигал на первый план общественный момент в литературе и критике. С этой точки зрения Добролюбов приветствовал каждое новое произведение русской литературы, тесно связанное с общественной жизнью и написанное в реалистических тонах. Главнейшие критические статьи Добролюбова: «Когда же придет настоящий день», «Обломовщина», «Темное царство» и пр.

[118]) *Толстой, Д. А.*, граф (1823—1889) — министр просвещения и внутренних дел царской России. Начал свою служебную карьеру в департаменте духовных дел. В 1865 г. правительство Александра II назначает его обер-прокурором синода, а в 1866 г. — министром народного просвещения. На этом посту Толстой провел целый ряд реакционных мероприятий в области низшей и средней школы. Наиболее известными из них являются: усиление преподавания латинского и греческого языков, предоставление права поступления в университеты лишь лицам, окончившим классические гимназии, установление строгого надзора за начальными училищами и пр. В 1880 г. Толстой увольняется от должности министра просвещения, а спустя два года назначается правительством Александра III на пост министра внутренних дел и шефа жандармов. Им был издан целый ряд положений, увеличивших влияние администрации в местном самоуправлении, расширивших льготы дворянства и т. д. Не менее энергично боролся Толстой и с широко развивавшимся в то время революционным движением.

[119]) *Руссо, Жан-Жак* (1712—1778) — знаменитый французский мыслитель и писатель XVIII века. В 1750 г. Руссо выпустил свою первую книгу «Рассуждение о происхождении неравенства», в которой страстно нападал на прогресс, индустрию, городскую цивилизацию и призывал вернуться к первобытной жизни, к «естественному состоянию». В политической области

Руссо был горячим защитником самого широкого народовластия. В своем «Общественном договоре» он рисует идеал свободного человеческого союза, в котором власть принадлежит всему народу и царит полное равенство граждан. Свои педагогические идеи Руссо изложил в книге «Эмиль». Исходя из мысли, что человек от природы наделен склонностью к добру, Руссо считал, что основной задачей педагогики является развитие вложенных в человека природою добрых задатков. С этой точки зрения Руссо восставал против всяких насильственных приемов в деле воспитания и в особенности против загромождения детского ума ненужными знаниями.

Идеи Руссо произвели на его современников громадное впечатление и оказали сильнейшее влияние на руководящих деятелей Великой Французской Революции.

Песталоцци, Иоганн-Генрих (1776 — 1824) — знаменитый швейцарский педагог. Горячий сторонник и последователь учения Руссо, Песталоцци считал, что все народные бедствия проистекают из человеческого невежества и что поэтому соответствующим воспитанием подрастающего поколения можно достигнуть общего благоденствия. Свои взгляды Песталоцци изложил в книге «Лингард и Гертруда», в которой в сентиментальном тоне рассказывается история спасения от пьянства слабохарактерного Лингарда его женой Гертрудой.

Гердер, Иоганн-Готфрид (1744 — 1803) — известный немецкий историк и философ. Его наиболее крупным и важным произведением являются «Идеи по философии истории человечества».

[120]) *Радищев, А. Н.* (1749—1802)—русский писатель, по своим политическим убеждениям революционный республиканец. Сын небогатого помещика, получил образование в московском, а затем в лейпцигском университете. В 1775 г. он начал писать свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которую окончил в 1790 г. В этой книге он описывал бедственность крестьянского положения и разорение сельского хозяйства. В книге было напечатано стихотворение «К вольности», призывавшее народ к борьбе с «венчанным мучителем». Вскоре после издания книги Радищев был арестован и приговорен к смертной казни, замененной ему 10-летним заключением в Илимске. В 1796 г. Радищев вернулся из ссылки и поселился в Саратовской губ. В 1801 г. Александр I назначает его членом комиссии по законодательным установлениям под председательством гр. Завадовского. Радищев предложил такой радикальный проект законодательных установлений, что гр. Завадовский счел нужным напомнить ему о Сибири. В 1802 г. Радищев отравился.

> «В лице Радищева, — пишет Плеханов, — мы, может быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным русским революционером из интеллигенции». («14 декабря 1825 г.» изд. «Библиотеки для всех», Петербург).

Декабристы — члены тайных русских обществ первой четверти XIX в., ставивших себе целью преобразование политического строя России. Первое тайное общество было основано в 1816 г. в Петербурге под названием «Союз Спасения или Истинных и Верных Сынов Отечества». В принятом в 1817 г. уставе этого общества говорилось, что оно стремится к установле

нию конституционного строя в России и ограничению самодержавия. В 1817 г. «Союз Спасения» преобразуется в «Союз Благоденствия». В состав этого общества входили главным образом офицеры — участники наполеоновских войн, побывавшие во Франции, воспитанные на просветительной литературе XVIII века и приобщившиеся к традициям Великой Французской Революции. Основателями общества были: братья А. и Н. Муравьевы, кн. Трубецкой и П. Пестель. В феврале 1821 г. в Москве состоялся съезд «Союза Благоденствия», на котором был поставлен вопрос о вооруженном восстании. Для руководства делами общества были образованы так называемые думы в Петербурге, Москве, Смоленской губ. и в городе Тульчине. Тульчинский отдел, известный под названием «Южного Общества» и руководимый Пестелем, являлся решительным сторонником демократической республики, в отличие от Северного, Петербургского, стоявшего за конституционную монархию. Внешним поводом к вооруженному восстанию послужила смерть Александра I (в ноябре 1825 г.) и наступивший вслед за нею период междуцарствия. 14 декабря 1825 г., в день, когда новому царю Николаю Павловичу должна была быть принесена войсками присяга, декабристы вывели на Сенатскую площадь лейб-гвардейский Московский полк, лейб-гренадеров и моряков гвардейского экипажа. Восставшие части отказались присягать Николаю. Однако вследствие неумелости и нерешительности руководителей восстания оно было тут же подавлено правительственными войсками. Немедленно после ликвидации восстания начались аресты. По приговору суда пять главных руководителей декабристов (Пестель, Рылеев, С. Муравьев-Апостол, Каховский и Бестужев-Рюмин) были повешены; 123 человека были сосланы на каторгу. Основной причиной неудачи декабристского движения нужно считать полное отсутствие связей декабристов с народными массами и их боязнь перед народной революцией.

> «То сословие, — пишет Плеханов, — к которому принадлежали люди 14 декабря, было консервативным по самому положению своему. То дворянское меньшинство, которое сумело возвыситься над сословными предрассудками и сословными интересами, было слишком слабо для того, чтобы добиться осуществления своих идеалов».

Значение декабристов в истории русского освободительного движения Герцен охарактеризовал следующими словами: «Пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение».

[121]) *Лорис-Меликов* (1825—1888) — граф, могущественный бюрократ эпохи Александра II. В 1879 г. Лорис-Меликов назначается харьковским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями, в 1880 г. — председателем и руководителем верховной распорядительной комиссии для борьбы с крамолой, а вскоре вслед за тем и министром внутренних дел. На этом посту, параллельно с непосредственной борьбой против революционного движения, он подготовлял план либеральных реформ (понижение выкупных платежей, содействие крестьянам в покупке земли, облегчение условий переселения и т. д.). Эти планы, так называемая «Лорис-Меликовская конституция», никогда, впрочем, не были проведены в жизнь. В эпоху реакции (после убийства Александра II 1 марта 1881 г.) Лорис-Меликов, считавшийся в реакционных кругах либералом, быстро был смещен.

Святополк-Мирский — см. прим. 68.

Кони, Анатолий Федорович (род. в 1844 г.) — юрист и писатель, выдающийся оратор и общественный деятель, прокурор петербургского окружного суда. Будучи еще студентом (в 1865 г.), написал научную работу «О праве необходимой обороны», за которую цензурным ведомством едва не был привлечен к судебной ответственности за нарушение некоторых весьма серьезных статей действовавшего уголовного законодательства. В своей общественной деятельности Кони всегда отличался широким либерализмом. Автор многих произведений: «Судебные речи», «Отцы и дети судебной реформы», «Биография доктора Гааза» и др. 11 февраля 1924 г. был отпразднован его 80-летний юбилей.

Витте — см. в этом томе статью «С. Ю. Витте».

[122]) *Драгоманов, М. И.* (1841—1895) — известный историк, фольклорист и публицист. В молодости на него произвело сильное впечатление польское восстание 1863 г., под влиянием которого у него сложилось убеждение, что славянский вопрос может быть разрешен только на демократически-федералистской основе. В своих работах по украинскому и славянскому народному творчеству отстаивал самобытность национальных культур, в частности украинской культуры, защищая их от покушений русской великодержавности. Одно время Драгоманов сотрудничал в «Петербургских Ведомостях», но постоянные преследования заставили его в 1875 г. уехать за-границу. В 1887 г. Драгоманов получил кафедру всеобщей истории в Софийском университете. С конца 1882 г. он становится теоретиком земского движения и редактирует из-за-границы орган земского союза «Вольное Слово», легально издававшийся в России.

[123]) *Бертенсон, И. В.* (1833—1895) — русский врач, известный гигиенист. Получив медицинское образование за-границей, Бертенсон в течение долгого времени занимался практической врачебной деятельностью среди крестьян Калужской губернии. С 1866 г. работает по борьбе с заразными болезнями. Во время франко-прусской войны Бертенсон вместе с Пироговым отправился на фронт, откуда прислал целый ряд корреспонденций. Бертенсон был энергичным сторонником и проводником идей Пирогова.

[124]) *Прудон, Пьер-Жозеф* (1809—1865) — утопист-анархист, идеолог мелкой французской буржуазии. Отрицательно относился к стачкам и к участию рабочих в непосредственной политической борьбе. Взгляды Прудона были подвергнуты уничтожающей критике Карлом Марксом в его «Нищете философии» (ответ на книгу П. «Философия нищеты»). (См. подробн. т. XII, прим. 68.)

Марат, Жан-Поль (1743—1793) — деятель Великой Французской Революции, издавал газету «Друг Народа», отражавшую стремления и чаяния парижской бедноты. После якобинского восстания Марат повел энергичнейшую борьбу против жирондистов и пользовался большим влиянием на дела Коммуны, всюду отстаивая интересы неимущих классов. Под влиянием травли, поднятой против Марата жирондистами, экзальтированная девушка, Шарлотта Кордэ, убила Марата, думая, что она этим спасет Францию от злейшего врага. (См. подробн. т. II, ч. 1-я, прим. 303.)

[125]) «*Колокол*» — журнал, издававшийся А. И. Герценом в Лондоне с 1 июля 1857 г. В передовой статье первого номера «Колокола» Герцен писал:

«В отношении к России мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всею силою последнего верования, чтобы с нее спали, наконец, ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы считаем первым необходимым шагом:

Освобождение слова — от цензуры.
Освобождение крестьян — от помещиков.
Освобождение податного состояния — от побоев».

«Колокол», бывший первым русским нелегальным журналом, получил широкое распространение в оппозиционных кругах России. Тираж «Колокола» доходил до 3 тыс. — цифра для того времени небывалая. Ближайшими сотрудниками журнала были Огарев, И. С. Тургенев, Кавелин, Аксаков и др. В «Колоколе» регулярно печаталось множество различных корреспонденций из России, в которых рассказывалось о притеснениях, несправедливостях, незаконных действиях чиновников и т. д. После польского восстания 1863 г. «Колокол» принимает все более и более революционный тон, тем самым отталкивая от себя умеренных либералов. 1 июня 1867 г., спустя 10 лет после появления в свет первого номера, «Колокол» прекратил свое существование. Всего вышло в течение 10 лет 245 номеров этого журнала.

«Колокол» Герцена оказал большое революционизирующее влияние на молодое поколение 60-х годов.

[126]) *Гарибальди, Джузеппе* (1807—1882) — знаменитый итальянский революционер. Вступив в 1832 г. в организованное Маццини тайное общество «Молодая Италия», Гарибальди принимает виднейшее участие во всех революционных попытках, имевших целью объединение Италии. В 1848 г., когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди становится во главе революционных батальонов, начавших борьбу с Австрией за полную политическую и национальную независимость Италии. Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее популярных в Европе. После 1848 г. Гарибальди продолжал поддерживать своим оружием все революционные вспышки не только в Италии, но и за ее пределами. В 1870—1871 г.г. Гарибальди участвует во франко-прусской войне на стороне Франции и становится с этого времени кумиром республиканских кругов Франции. Имя Гарибальди сделалось синонимом революционной отваги и неустрашимости.

[127]) *Эпоха Толстого, Делянова, Боголепова.*

Толстой—см. прим. 118.

Делянов, И. Д. (1818—1897) — граф, министр народного просвещения царской России. Начал свою служебную карьеру с должности управляющего делами секретного комитета о раскольниках, затем был попечителем петербургского учебного округа, членом совета главного цензурного управления, членом главного совета женских учебных заведений и т. д. В 1882 г. назначается на пост министра народного просвещения. Деятельность Делянова была целиком проникнута общим реакционным духом эпохи Александра III. Наиболее существенными мероприятиями Делянова были: в области высшей школы — замена старого университетского устава 1864 г. новым реакционным уставом 1884 г., введение строгой процентной нормы при поступлении евреев в высшие и средние учебные заведения, закрытие

(в 1866 г.) высших женских курсов и т. д. Не менее «плодотворной» была деятельность Делянова и в средней школе; в 1887 г. им был издан циркуляр об ограничении приема в средние учебные заведения детей лиц «низшего звания» (циркуляр о «кухаркиных детях»). Делянов проводил также строжайшую руссификацию всех национальных и окраинных низших и средних школ. За свою многолетнюю реакционную деятельность Делянов получил в 1888 г. звание графа.

Боголепов (1846—1902) — преемник Делянова на посту министра народного просвещения. Деятельность Боголепова мало чем отличается от реакционной деятельности его предшественника. В 1899 г., в ответ на крупнейшие студенческие волнения, Боголепов издает так называемые «временные правила» об отдаче в солдаты студентов, принимавших участие в беспорядках. Эти правила вызвали новый взрыв студенческих волнений: зимой 1900—1901 г. во всех крупных университетских городах — Петербурге, Москве, Харькове и т. д.—прокатилась волна студенческих беспорядков, во время которых по распоряжению Боголепова и были применены временные правила о сдаче студентов в солдаты. 14 февраля 1901 г. на приеме в министерстве народного просвещения Боголепов был тяжело ранен в шею бывшим студентом московского и юрьевского университетов В. П. Карповичем. Спустя несколько дней Боголепов умер.

[128]) Цитата приведена автором из книги Герцена «Былое и думы». (Собр. соч. А. И. Герцена, изд. Павленкова, 1905, том III, «Былое и думы» глава XXXVIII, стр. 48.)

[129]) *Европейский Центральный Комитет.* — Полное название этого Комитета было: «Центральный Демократический Европейский Комитет единения партий без различия национальностей». Комитет был основан в Лондоне в 1849 г. политическими эмигрантами различных государств. Основной целью Комитета было освобождение угнетенных национальностей европейских стран. Руководителями Комитета были: Ледрю-Роллен (Франция), Мацցини (Италия), Ворцель (Польша), Руге (Германия), Братанио (Румыния). К участию в Комитете в качестве представителя от России был приглашен А. И. Герцен. Однако последний от участия отказался, мотивируя свой отказ нежеланием сотрудничать в организации, не имеющей твердо выраженной единой программы и плана действий. Деятельность международного Комитета выразилась главным образом в устной и письменной агитации среди различных народов, в призывах к революционной борьбе. Наиболее известным из опубликованных Комитетом воззваний было обращение к полякам с призывом к революционному выступлению (20 июля 1850 г.).

[130]) *Ворцель, Станислав* — видный польский социалист эпохи 30-х и 40-х годов прошлого столетия, член Европейского Центрального Комитета. (См. прим. 129.) В 1835 г. Ворцель принял ближайшее участие в создании революционной организации «Польский Народ».

[131]) *Блан, Луи* (1811—1882) — французский социалист-утопист, приобретший особенную популярность во время февральской революции 1848 г., когда он вошел от рабочих в состав временного правительства. По его настоянию была организована комиссия для улучшения положения трудящихся классов, пользовавшаяся большим авторитетом среди трудящихся, хотя

практические результаты работ комиссии были весьма невелики. Оценку комиссии и ее деятельности мы находим у Маркса:

«Неохотно и после длинных дебатов временное правительство назначило постоянную специальную комиссию, которой было поручено *изыскать* средства для улучшения положения трудящихся классов. Эта комиссия была образована из делегатов от ремесленных корпораций Парижа; председательствовали в ней Луи Блан и Альбер. Местом ее заседаний избрали люксембургский дворец. Таким образом, представителей рабочего класса изгнали из заседаний временного правительства, буржуазная часть последнего сосредоточила исключительно в своих руках действительную государственную власть и бразды правления; а подле министерства финансов, торговли, общественных работ, подле банка и биржи образовалась *социалистическая синагога*, на первосвященников которой, Луи Блана и Альбера, возложили задачу открыть путь в обетованную землю, возвестить новое евангелие и дать работу парижскому пролетариату. В отличие от всякого рода заурядной государственной власти, в их распоряжении не было ни бюджета, ни исполнительной власти. Головой должны были они сломать главные устои буржуазного общества» (том III, стр. 35).

Взгляды Луи Блана никогда не отличались особой революционностью. Он не только верил в возможность мирного осуществления социальных реформ, но и в солидарность интересов пролетариата и буржуазии. Свои взгляды Блан изложил в брошюре «Организация труда». После разгрома революции 1848 г. Луи Блан бежал в Англию, откуда вернулся лишь в 1870 г. К восстанию и диктатуре парижского пролетариата в 1871 г. (Парижская Коммуна) отнесся отрицательно.

Ледрю-Роллен, Александр-Огюст (1808—1875) — известный французский политический деятель, революционер и республиканец. Адвокат по профессии, Ледрю-Роллен еще с 1832 г. неоднократно выступал против правительства Луи-Филиппа. С 1841 г. был депутатом палаты, где представлял республиканско-демократическую группу. В 1845 г. издавал газету «Реформа». В революции 1848 г. Ледрю-Роллен принимал самое непосредственное и активное участие и вошел в состав революционного временного правительства в качестве министра внутренних дел. Его кандидатура была выставлена на выборах президента французской республики, но получила незначительное количество голосов (400 тыс.). После поражения революции 1848 г. Ледрю-Роллен бежал в Лондон, где продолжал свою революционную деятельность. В 1869 г. он по амнистии вернулся во Францию, а в 1871 г. был избран в Национальное Собрание, но вследствие болезни активной политической роли уже не играл.

Мацците, Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер. Был одним из организаторов союза «Молодая Италия», ставившего себе целью создание независимой итальянской республики. В революции 1848 г. Мацццини принимал активнейшее участие, энергично руководя революционными выступлениями. После падения революции участвовал в создании «Европейского Центрального Комитета». (См. прим. 129.) Вместе с Гарибальди

Маццини пытался вызвать революционные восстания: в Милане — в 1853 г. и в Генуе — в 1857 г.

[132]) *Фази, Джемс* (1796—1878) — швейцарский политический деятель и журналист. В молодости жил во Франции, где боролся с правительством реставрации. В 1817 г. принял участие в основании журнала «La France chretienne», немедленно закрытого цензурой. Подвергаясь неоднократным преследованиям за свою оппозиционную деятельность, Фази в 1833 г. вернулся в Женеву, где стал во главе конституционного движения. В 1842 г. ему удалось добиться частичного пересмотра женевской конституции. С 1843 по 1846 г. Фази был членом швейцарского Большого Совета. В 1846 г. Фази руководит восстанием против швейцарского правительства и становится во главе временной революционной власти. Выбранный, на основании новой конституции 1847 г., представителем Женевы в швейцарский сейм, он отстаивал в нем объединение Швейцарии в единое государство. С 1847 по 1861 г. Фази был постоянным членом правительственного совета и поочередно через год его председателем. В 1860 г. радикальная партия, лидером которой был Фази, раскололась на социалистов и умеренных либералов. Последние, во главе с Фази, объединились с частью консерваторов в партию «независимых». Вследствие этого Фази на выборах 1861 и 1863 г. г. потерпел поражение. В 1864 г., после неудачной попытки нового переворота, Фази бежал за-границу, но, выбранный в женевский Большой Совет, вскоре вернулся обратно. С 1873 по 1876 г. Фази был представителем Женевы в Национальном Совете Швейцарии. В последние годы своей жизни Фази был профессором женевского университета.

[133]) *Мишле, Жюль* (1798—1874) — французский историк, друг А. И. Герцена. Читал лекции по истории в высшей нормальной школе, а с 1833 г.— в Сорбонне. За демократический характер его лекций министр внутренних дел Гизо в 1835 г. лишил его кафедры в сорбоннском университете. Впоследствии, начиная с 1850 г., Мишле за свои радикальные выступления постепенно отстраняется от всех своих должностей. Мишле написал множество книг не только исторического содержания, но также и по вопросам философии, естествознания, права и др.

[134]) *Руге, Арнольд* (1802—1880) — немецкий писатель и политический деятель. В 1837 г. принял участие в основании радикального журнала «Hallische Jahrbücher für Kunst und Wissenschaft». Журнал был скоро закрыт, и Руге переехал в Дрезден, где стал издавать «Deutshe Jahrbücher», но правительственные преследования заставили его бежать и отсюда, и он переселился за-границу. Во время революции 1848 г. Руге вернулся на родину и основал сперва в Лейпциге, а затем в Берлине демократическую газету «Die Reform». Выбранный депутатом во франкфуртский парламент, он занял место среди крайних левых. В 1849 г. Руге был выслан из Берлина и в том же году принял участие в волнениях в Саксонии, после чего был вынужден бежать в Лондон. В Лондоне вместе с Ледрю-Ролленом, Маццини и др. основал Европейский Центральный Комитет. (См. прим. 129.) Руге был одним из видных членов I Интернационала и другом Маркса, с которым вел большую, ныне опубликованную переписку. В последний период своей жизни Руге значительно поправел и перед австро-прусской войной помещал в немецких газетах одобрительные статьи о политике Бисмарка.

[135]) *Гакстгаузен, Август* (1792—1866) — германский экономист. В 1843 г. получил разрешение от русского правительства на въезд в Россию с целью изучения русского аграрного строя. Объездив целый ряд городов и областей России и собрав огромное количество разнообразного материала, Гакстгаузен в 1847 г. выпустил «Этюды о внутренних отношениях народной жизни и в особенности о земельных порядках России». В этом сочинении Гакстгаузен особенно подробно останавливается на вопросе о крестьянской общине и высказывает убеждение, что русская крестьянская община (к которой он относился очень сочувственно) явится препятствием к образованию промышленного пролетариата в России. Между прочим, Гакстгаузен высказал взгляд, что для России был бы нежелателен немедленный переход от крепостного права к вольнонаемному, — что вызвало энергичную отповедь со стороны Герцена.

[136]) *Избирательная победа германской с.-д.* — В июне 1903 г. на очередных выборах в рейхстаг германская с.-д. партия одержала блестящую победу, о размерах которой говорят следующие цифры. Всего было подано 9.495.600 голосов, из них за социал-демократов — 3.010.771 гол., в то время как на предыдущих выборах, в 1898 г., с.-д. получили только 2.107.076 гол. Число с.-д. депутатов составляло в 1903 г. 81 чел. против 56 в 1898 г. Эта победа вызвала тактические разногласия на очередном дрезденском партейтаге, в связи с вопросом о том, должна ли парламентская фракция с.-д. выставить своего кандидата на пост вице-президента рейхстага. Большинством голосов была принята резолюция, признававшая допустимым выставление подобной кандидатуры.

[137]) *Дон-Гусман Бридуазон* — действующее лицо в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», тип тупого и ограниченного деревенского судьи.

[138]) *Лево-эсеровское восстание.* — Недовольство левых эсеров общей политикой большевиков и, главным образом, заключением Брестского мира вылилось в открытое восстание в Москве 6 июля 1918 г. Сигналом к восстанию послужило убийство германского посла графа Мирбаха, произведенное по постановлению ЦК партии эсеров членами ее: Я. Блюмкиным и Н. Андреевым.

[139]) *Муравьев* — подполковник, примкнувший к левым эсерам в эпоху керенщины. В первые дни Октября, будучи командующим войсками, оказал большие услуги Советской власти. В июле 1918 г. отдал изменнический приказ о снятии частей с Восточного фронта и отправлении их на Москву. Не поддержанный войсками, Муравьев застрелился. (См. подробн. т. III, ч. 2-я, прим. № 71.)

[140]) *«Рабочий и Солдат»* — вечерняя газета Петроградского Совета Р. и С. депутатов, выходила с 23 июля по 9 августа 1917 г. После выхода в свет 15 номеров газета была закрыта Временным Правительством.

[141]) *Раскольников, Ф. Ф.* (род. в 1892 г.) — революционную деятельность начал с участия в студенческих с.-д. организациях. Учился в петербургском политехническом институте, позднее—в гардемаринских классах. Член ВКП с 1910 г. В 1912—1913 г. г. был секретарем «Правды». Во время Февральской революции Раскольников был морским офицером Балтийского флота и вел среди матросов агитацию за переход власти в руки Советов. В этот же период он был одним из руководителей Кронштадтского Совета.

Раскольников принимал активное участие в руководстве Октябрьским переворотом. В 1918 г. Раскольников назначается заместителем народного к миссара по морским делам, а затем командующим Балтийским флотом. С 1921 по 1923 г. Раскольников был полномочным представителем РСФСР в Афганистане.

[142]) *Нариманов, Нариман* (1870—1925) — родился в Тифлисе в бедной тюркской семье. По окончании горийской учительской семинарии получил место учителя в селе Гизель-Аджал, Тифлисской губ., где близко соприкоснулся с тяжелой жизнью местного крестьянства. Позднее Нариманов становится учителем в частной прогимназии в Баку, где им была основана первая народная общедоступная библиотека-читальня, ставшая культурным центром всего Закавказья. В 1902 г., 32-х лет от роду, Нариманов поступает на медицинский факультет Новороссийского университета. В революции 1905—1907 г. г. Нариманов принимал активное участие, руководя студенческим движением в Одессе. Вернувшись в Баку, Нариманов руководит съездом тюркских учителей Закавказья; под его влиянием съезд принимает резолюцию о национальном самоопределении Закавказья. Нариманов не ограничивался деятельностью на одном Кавказе; он был одним из основателей персидской социал-демократической партии «Ишеюн-Ашеюн». За свою деятельность Нариманов был выслан на 5 лет в Астрахань. С самого начала Октябрьской революции Нариманов борется в первых рядах за утверждение Советской власти в Закавказьи. Он пишет свои известные письма, распространяющиеся в сотнях тысяч экземпляров, председателю Азербайджанской республики Усубекову, в которых доказывает, что только Советская власть может улучшить положение мусульманских масс. В 1920 г. он становится председателем азербайджанского ревкома, а затем и председателем Совнаркома Азербайджанской республики. В 1922 г. Нариманов избирается на пост председателя ЦИК СССР.

Нариманов был одним из первых деятелей молодой тюркской литературы. Он перевел на тюркский язык «Ревизора» Гоголя и написал целый ряд пьес и повестей. Наиболее известные из них: «Надир-Шах», «Бегадир и Сона», «Пир».

19 марта 1925 г. Нариманов умер от разрыва сердца.

[143]) *Хургин, И. Я.* (1887—1925) — в революционное движение вступил в 1905 г. Начал свою работу в еврейской национально-социалистической группировке «сионистов-социалистов». После Октябрьской революции вступает в ряды «Бунда» и вместе с ним входит в РКП. В 1918 г., во время господства Петлюры на Украине, Хургин состоял членом исполкома Киевского Совета и работал в подпольи. После изгнания Петлюры продолжал активно работать в Киевском Совете, в особенности в органах коммунального хозяйства. В 1920 г. Хургин был назначен представителем Украины в нашем полпредстве в Варшаве, а позднее—председателем правления акционерного Общества «Амторг». Вместе со Склянским 27 августа 1925 г. утонул в озере близ Нью-Йорка.

[144]) *Рудзутак, Я. Э.* — род. в 1887 г. в Курляндской деревне в семье батрака. До 15 лет был деревенским пастухом, 18-ти лет поступил на инструментальный завод, где познакомился с революционерами и вступил в рижскую организацию РСДРП (б). В 1906 г. избран делегатом на Лондонский

съезд; с этого года он переходит на нелегальное положение и становится профессиональным пропагандистом рижской организации. В 1907 г. был приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал сначала в рижской тюрьме, а затем был переведен в Москву в Бутырки, откуда его освободила Февральская революция. С 1917 г. активно работал во многих партийных, профессиональных и хозяйственных организациях. На XII съезде партии избирается секретарем ЦК. В настоящее время Рудзутак — народный комиссар путей сообщения и кандидат в члены Политбюро.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

5p.